



International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

.....

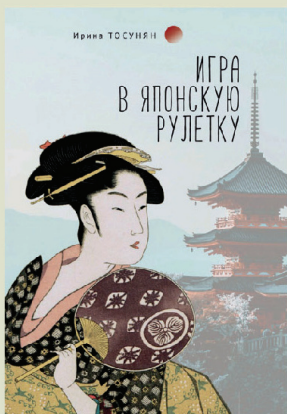
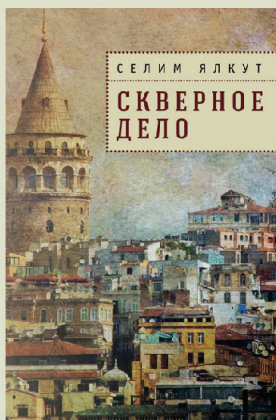
#88

KRESCHATIK

International Literary Magazine

#88

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 421-522-647-65

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Год издания двадцать третий

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Kornstr. 22

28201 Bremen, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

markovskiy@rambler.ru

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192029, Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2020 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Евгений Каминский / <i>СПб.</i> /	«Ничего, если честно, не весят...»	4
Михаил Синельников / <i>Москва</i> /	«Медлительность славянской речи...»	39
Тим Францисци / <i>Лиепая</i> /	«Текущая осень касается лба...»	94
Илья Бершадский / <i>Донецк</i> /	Выбор	122
Виктор Волков / <i>Муром</i> /	«Не страшно, что в грязи Ока...»	143
Александр Габриэль / <i>Бостон</i> /	70-е. Фрагмент с попугаем	203
Виталий Амурский / <i>Париж</i> /	«Проходит время, и давно не та...»	234
Сергей Слепухин / <i>Екатеринбург</i> /	«Того гляди, осыплется, как ты...»	272
Марк Харитонов / <i>Москва</i> /	Наброски	280
Геннадий Кацов / <i>Нью-Йорк</i> /	Стихи карантинного времени	289
Александр Радашкевич / <i>Париж</i> /	Разговор	328
Юрий Михайличенко / <i>Барселона</i> /	О метаморфозах жизни во времени	339

Проза

Рустам Мавлиханов / <i>Салават</i> /	Четыре тени на закате	10
Иван Гобзев / <i>Москва</i> /	Аполлон на отдыхе	42
Лёнька Сгинь / <i>Москва</i> /	Четверо просыпаются	99
Ольга Сульчинская / <i>Москва</i> /	Миллениум-блюз	124
Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	Заодно со светом	145
Марат Баскин / <i>Нью-Йорк</i> /	Птица, спустившаяся на прогулку	206
Анатолий Николин / <i>Мариуполь</i> /	Маленькая женщина. <i>Повесть</i>	236
Тамара Ветрова / <i>Париж</i> /	Часы над сквером	275
Елена Мордовина / <i>Киев</i> /	Реб Цвика. <i>Цикл коротких рассказов</i>	282

Переводы

Вислава Шымборска / <i>1923–2012</i> / <i>Перевод с польского Т. Яблонской</i>	Негатив. <i>Стихи</i>	307
---	-----------------------	-----

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Евгений Кержнер / <i>Регенсбург</i> /	1989-й: до и после	293
Евсей Цейтлин / <i>Чикаго</i> /	Кто-то в зеркале	311
Галина Бельская / <i>Братск</i> /	Что-то кончилось	331
Римма Запесоцкая / <i>Лейпциг</i> /	Игры детей на краю Холокоста	342
Игорь Савкин / <i>СПб.</i> /	Тройная формула человеческого бытия	349
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	На вручение премии...	351

Евгений КАМИНСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



* * *

Ничего, если честно, не весят,
даже если летят, как орда,
те стихи, покорившие веси
и забравшие в плен города.

Незаконного что в них такого,
чтоб за них отвечать головой?!
а предъявишь — и сунут в оковы
иль под молот пихнут паровой.

Ни за что в этой жизни в ответе,
ни к чему, если в частности братьь...
Разве волю народа вот эти
могут волей своею попать?!

Да плевать им на волю народа,
на порядков железо и жечь.
Им нужны только свет и свобода,
только вера с надеждой в них есть.

И порою единственно это
ты хватаешь как воздух, пока
им, бесправным, в глуши кабинета
прокуроры рисуют срока,

обещая в тюремном вагоне
увезти не в Надым, так в Тамбов
в общей клетке с ворами в законе.
Потому что порядок таков.

* * *

В роскошной бедности, в могучей нищете
свистит, как дворничиха, чайник на плите,
вдруг мент, как тать, в окно заглянет волком,
и ясно всё... И ничего уж толком.

Сколь крик души ни множь тут на слова —
стих тьмы черней и злей, чем татарва,
ровней черты, а надо — чтоб ранимем,
изломаннее черт лица и линий...

Зачем? Кому? Им всем?! Не надо, друг,
смотреть назад. Длань положив на плуг,
жми — целину отваливай по ходу,
режь до корней в любую непогоду.

В роскошной бедности, в могучей нищете —
покуда мент и дворник на щите
не вынесли на свет тебя, изгоя, —
ищи свой свет. Бессмысленно другое.

* * *

...И гнали меня отовсюду,
как в ад гонит, сбегать спеша,
огромный архангел Иуду
и общество «Труд» — алкаша.

Тычками, пинками, не скрою,
по Питерской гнали взашей,
как гонят пророка порою,
парши опасаясь и вшей,

свои защищая химеры
от слов неугодных и глаз...
И эти защитные меры
мне ранили душу не раз.

И вот оно — чистое поле,
где, право, хоть вывернись весь,
ты больше со всеми не в доле,
ты то, наконец, что ты есть.

Где сложное все уж не стоит
пред небом простым ни рубля,
где все, кроме неба, — пустое,
и ты не зачем-то, а — для...

Где ясно, зачем так пинали:
чтоб ты, оскорбленная статья,
предвидя, что будет в финале,
успел просто глиною стать.

* * *

Один издатель Юра
прислал мне в мейле как-то:
«Вы не поэт де-юре,
зато поэт де-факто.

Но лучше б вам — де-юре.
Не лириком, хоть кем-то...»
Такая вот структура
текущего момента.

Картина вот такая.
Ведь жить хотя б на крохи
нельзя, не потакая
хотениям эпохи.

Нельзя в себе сугубо
и лишь путем глагола,
а то она голуба
за чуб тебя, монгола,

потом тебя, героя,
за шкурку и — в колодки.
Для тех кто — прочь из строя,
как выстрел, век короткий.

Ни зрелищ им, ни хлеба
ни-ни, а в виде голом,
отсюда прямо в небо
дорога им, монголам.

Что нам де-факто наше?!
Когда нам без де-юре,
как пахарю без пашни,
как боцману без бури,

как брахману без трансa,
как плебсу без Мессии,
как музыке без Брамса
и бунту без России.

* * *

Уж если ты всё — для хорея,
то, будь хоть барон или граф,
а кончишь на свалке скорее,
чем всё в казино проиграв.

И будет всего тебе мало,
и будешь всегда невпопад,
нелепый средь шумного бала
влюбленный в себя психопат.

Ужели кому-то здесь важен
кимвалом гремящий пророк?!
Вот-вот. Скоро близкие даже
не пустят тебя на порог...

И что же потом? Как собаки,
хрипящие в спину менты,
мадам из Инты, буераки
да жизнь проклинаящий ты.

Хоть рви этой жизни гармошку,
блажи, задыхаясь от слез,
а если ты — не понарошку,
ответить придется всерьез:

зачем жизнь истратил на слово,
и что в этой жизни, чудака,
она тебе сделала злого,
чтоб ты ее *даром* вот так?

* * *

И мог бы заплакать от всех тех, *несбывшихся*... Но
слезами горючими вряд ли заставишь их сбыться.
Здесь всё, что я смог, было *там* до меня решено,
А что так хотел, но не смог — грезы, бред, небылица.

Судьбу, как и женщину, впрочем, ни в чем не виню.
И смотрит с любовью, но только ты в область Тверскую,
она тут же — в дверь — подложить тебе с кем-то свинью...
Винить не могу, а другой заменить не рискую.

Поскольку с другой я пропал бы, как пить, ни за грош.
А эта, с которой уже ни гроша здесь не стою,
сидит, как влитая. И я в ней — ни плох, ни хорош,
но тот, что лишь нужен. А все остальное — пустое.

* * *

Ничего, кроме пары блокнотов
и бутылки обычных чернил —
тем, кто понял здесь главное что-то
и тому себя сам подчинил.

Для кого, кроме слова, не надо
ничего ни в себе, ни вовне,
в ком душа, как насельница ада,
всё горит, не сгорая, в огне.

Кто живет на горении голом.
Потому что и здесь, и везде
тот, кто в жизни отведал глагола,
не притронется к прочей еде,

ничего для собеса не стоя
и любовью ничьей не храним.
Ибо всё для него здесь пустое
по сравненью с глаголом одним.

* * *

Смотрит старуха; в глазах то ли синь василька,
то ли застиранный ситец спецовки бзушной.
Дунь на старуху — и вмиг, простодушно-легка,
вдаль улетит, как какой-нибудь шарик воздушный.

Сколько в ней неба! И сколько уже облаков!
Что ей, такой-то, в хрущевке на Ржевке пылиться?!
Но вот сиди, дожидайся, порядок таков.
Мало ли что ты уже не старуха, а птица.

Сам посуди, воробьиный почти рацион:
манка да гречка. Ах да, еще сахар пилёный...
Что из того, что в матрасе зашит миллион?
Это ж старухин. А птичке зачем миллионы?!

Впрочем, в хрущевке старухиной нынче — весна.
Как только влезли в шесть метров с Гурзуфом Алупка?!
Слышишь, «Голубка» Шульженки звучит там без сна?
И сколько в дверь ни стучи — не умолкнет голубка...

Ждать-то чего?! Всем же видно: хоть завтра, легко!
Уж извелись с ней соседи — с таджиком узбечка...
Или для встречи еще не открыли «Клико»
те, что певунье на небе пригрели местечко?

Значит, заминка. Пока не оформлен транзит.
С глаз бы убрать до развязки финальной бедняжку:
слишком уж небо — лишь вежды откроет — сквозит.
Как бы и впрямь эту птичку не сдали на Пряжку.

* * *

От мечтаний ремнем отлучали,
не жалели в ученье чернил...
Ну да мало ли было печали,
чтоб ты радость любую ценил?!

Мать-и-мачехи первые солнца,
на крючке трепетанье леща,
рубль за груды тряпья у чухонца,
что в Разливе скрывал Ильича.

Мужиков, увлеченных как дети,
бесконечной игрой в домино,
и портвейн на троих «Тридцать третий»,
что индийского слаще кино.

И восторг, что зовется пороком:
ту гордячку, что пальцем не тронь,
возле школы прижать ненароком,
об ее обжигаясь огонь.

Чтоб, не пьющий еще, не курящий,
а какой-то светящийся весь,
ты открылся себе настоящий,
а не кем-то придуманный здесь.

Карауля потом каждый шорох
личных чувств, как пожар мировой,
только чтобы не вспыхнуть как порох
и не выдать себя с головой.

Рустам МАВЛИХАНОВ

/ г. Салават, Башкортостан /



ЧЕТЫРЕ ТЕНИ НА ЗАКАТЕ

Во светлой мрачности мерцающих путей
Явился тёмный свет из солнечных лучей.

Кн. Шаховской

Пролог

— Я решительно с вами не согласен, мой друг! — в сердцах заявил сидевший в плетёном кресле господин с округлым лицом, обрамлённым чёрной, по-морскому подстриженной курчавой бородой. На нём была белая, идеально отутюженная и накрахмаленная форма капитана флота Её Величества, но эмоциональность с головой выдавала его восточно-европейское происхождение.

И действительно, Юзеф Конрадович, уроженец Царства Польского, недавно принявший подданство Британской короны, хотя и стремился соответствовать статусу джентльмена с жёсткой верхней губой — курил самшитовую трубку, носил пробковый шлем и ротанговую трость и хранил невозмутимость и в центре урагана, и в доме нефритовых лун, — но то и дело в его жестах и порою в словах прорывались шляхетский гонор и упрямство. И упрямство же, а именно нежелание перевозить китайских кули в непригодных для людей трюмах, привело к тому, что его корабль застрял без груза в Мартабане, а сам он решил составить компанию в поисках удачи своему соотечественнику в предпринятом последним путешествии.

Попутчик же его являл собою некую, если так можно выразиться, одновременно противоположность и дополнение к образу своего визави: худощавый, в льняном костюме с совершенно не подходившим к нему карманным брегетом и еще менее подходившей соломенной шляпой, с большой, окладистой бородой огненно-рыжего цвета, из-за которой многие принимали его за ирландца (что доставляло немало неудобств при общении с высокомерными колониальными чиновниками), с французским, с горбинкой, носом на бледном

лице северянина — в общем, весь его вид был донельзя эклектичен, как эклектична была сама эпоха, перемешавшая в этих краях средневековые и прогресс.

Сын своего грюндерского времени¹, Андрей Павлович с удовольствием принял предложение Роберта Эммануиловича, одного из братьев Нобель, возглавить контору в Индии, где, с удивлением открыв для себя возможности, коих он был лишён даже в Баку, не говоря уж о родной Рязани, стал реализовывать их в меру своих способностей. Первым делом он перешёл на службу в Бирмано-Бомбейскую компанию, по делам которой и держал ныне путь в недавно покорённый Мандалай. Он сам не вполне отдавал себе отчёт в выгнавшем его с тёплого местечка духе авантюризма, коего было лишено большинство его соотечественников, предпочитавших далёким Трансваалям обломовское времяпрепровождение. Но так же, как и большинство из покинувших родину соотечественников, он был склонен испытывать неопределённое чувство вины перед своим народом, замешанное, с одной стороны, на пасторальной ностальгии, с другой — на гордости за державу, принёсшую себя в жертву татарам ради не оценившей её по достоинству Европы. И это чувство вины, ища своего разрешения, порождало в Андрее Павловиче и самобичевание, в котором он — для себя — выступал воплощением всего русского, и доходившее до ненависти раздражение к источнику своих терзаний — к тому же самому народу.

Собственно, именно эта коса, нашедшая на камень, и явилась причиной спора между приятелями.

— С чем же вы столь решительно не согласны? — спросил Андрей Павлович.

— Да хотя бы с вашим идеализмом! Ваши слова о бремени белого человека, которое я якобы олицетворяю, безусловно, глубоко польстили мне, но, право же, они совсем не соответствуют истине. Это работа, работа тяжкая, но приносящая приятные плоды, — он кивнул головой за спину, где мерно и старательно махала опахалом туземка. — И смотреть на труд как на бремя... в этом сквозит всё наше — вы ведь позволите прилагательно к данным обстоятельствам считать себя русским? — уточнил Юзеф Конрадович и, не ожидая положительного ответа, продолжил: — Вся наша барская, ордынская лень. Да, я тоже был идеалистом в своё время. Так же, как вы, на все лады нахваливал благожелательный к людям распорядок вещей в Европе — хоть бы то же отсутствие розог по поводу и без повода. Но я преодолел сии иллюзии, Андрей Палыч! Мы, моряки, народ суеверный, но не идеалистичный, смею вас уверить! И море отучило меня от этого ужасного русского «или — или»! Или ты Герцен, или Булгарин! Или «православие, самодержавие, народ-

¹ Грюндерское время — эпоха невиданного до того в истории экономического бума.

ность», или «социализм и анархия»! И всё это с невероятно диким отношением к своему народу, как к богоносцу и скоту одновременно! Вы меня ради бога простите, Андрей Палыч, но я перестал понимать сей парадокс. Отказываюсь, да!

— Да вы более русский, чем многие, Юзеф Конрадович! Я так и слышу жар в ваших словах! Жажду справедливости.

— Правосудия, Андрей Палыч, — выдохшись на пылкости предыдущей тирады, промолвил Юзеф Конрадович. — Европа зиждется на правосудии, на суде людей и для людей. А ваша справедливость столь абстрактна, что достичь её можно лишь такой же абстрактной, всеохватной казнью египетской. Пугачёвщиной. Но позвольте мне усомниться, что лично вы желаете воочию узреть якобинский террор мценского разлива.

— О, террор-то я как раз застал!

— Полноте, Андрей Палыч! — вновь вспыхивая, воскликнул собеседник. — Ваши бомбисты-социалисты — это детский лепет, ей богу! В Петербурге холера уносит больше жизней, чем их бомбы, — он впечатал трость в пол в знак непоколебимости своего мнения.

Служанка вздрогнула.

— Вам легко судить, *cher ami*¹. Вы натурализовались в свободной богатой стране, владеющей чуть ли не всем миром. Ваши анархисты сотрясают воздух не адскими машинками, а речами в Гайд-парке и хартиями в Парламент. Королева гарантирует вам, что ваше священное право частной собственности не будет по-рано. Ваше будущее безоблачно. Но мне, чтобы выехать из России, пришлось долго, с унижениями выправлять паспорт! — спокойным тоном начав, стал распляться Андрей Павлович. — И какой-то чинуша из департамента, обитающий в съёмной комнатухе где-то на Лиговском, мне, инженеру с доходом в тысячу рублей в год, «тыкал» — ведь я, увы, крестьянин по сословию! И останусь с этим клеймом, даже если стану купцом-миллионщиком! Вы скажете, что то моя личная обида, но вам ли не знать, что такое у нас сплошь и рядом. Это пошло и мерзко! Это холопство и барство в каждом нашем соотечественнике! И не говорите мне, что царь-освободитель что-либо изменил, — он лишь довел державу до грани революции, распада, анархии! Ну не могут, не могут в одном государстве ужиться земское самоуправление и монархическая власть!

— Вот! Что и требовалось доказать! Это мне, поляку, следовало бы ненавидеть Россию, но, читая газеты, я, как ни странно, испытываю чувство гордости за свою Родину. И не за сгинувшую глупо Речь Посполитую, а именно за Империю! Она действительно поднимается, возвращается в ряд великих держав. Новые фабрики,

¹ Дорогой друг (*фр.*).

чугунные дороги, усмирение Кавказа, возвращение Бессарабии, наконец, суда под Андреевским флагом — я их стал встречать даже у Явы — это ли не повод для гордости?

— Но какой ценой, Юзеф Конрадович, какой ценой?.. — как сквозь зубную боль протянул Андрей Павлович. — Выродившееся дворянство, наглые нувориши, швыряющие сотенные ассигнации цыганам в ресторанах, работницы, живущие как скот, по четырнадцать тел на комнату — и чуть что, их сразу в нагайки! Мироеды по деревням, крестьяне, брошенные на произвол судьбы после Манifesta... Раньше о них сколько-то помещики заботились — своё ведь! — а теперь они свободны: пусть хотя бы жёнами торгуют, но выкупные платежи и недоимки платят! А флот, — он пошамкал губами, будто пробуя слово на вкус, — ну что флот... Армия и флот — лучшие друзья Государя.

— Думаете, в старой доброй Англии жизнь — патока? — отмахнулся Юзеф Конрадович. — Думаете, у нас нет проституции? Да весь наш Парламент — сборище продажных горлопанов. Думаете, нас не утомила эта стабильность, когда Гладстон и Дизраэли смеяются друг друга, как день и ночь? Но мы, в отличие от вас, сплотились вокруг Короны — потому что, куда ни глянь, всюду нас окружают враги: безумная Франция, живущая от революции до революции, наступающая нам на пятки Германия — кто бы мог подумать, что эти глупые гансы за какие-нибудь четверть века вырвутся из своих философских грёз и создадут не просто промышленность, а передовую химическую индустрию! Да что там немцы, нам даже махдисты и буры вставляют палки в колёса, не говоря уж — хотя тут я даже рад, что кто-то способен уколоть моих сограждан, — о России, рвущейся к Индии, тщащейся поработить Европу и чуть было не захватившей Константинополь — в полном соответствии с «Завещанием Петра Великого»!

— Помилуйте, Юзеф Конрадович, неужели вы верите в эту фальшивку?! Может, вы и Дарвину верите?!

— Дарвину не верю. Не может быть, чтоб мы были одной крови с этими... — Юзеф Конрадович сделал широкий жест рукой, указывая на матросов-индусов в широких шароварах и их сикхских офицеров в имперской форме, но с вплетёнными в синие тюрбаны железными кольцами.

— Ну хоть в чём-то мы с вами пришли к согласию, — примирительно улыбнулся Андрей Павлович, обмахиваясь шляпой.

— Знаете, почему русские избегают друг друга, будучи за границей? — поддерживая приятеля, рассмеялся Юзеф Конрадович. — Потому что где соберутся двое, там между ними встанет вопрос: что делать и кого наказать? Как будто это в России двести лет тому назад случилась гражданская война, а не английские учёные третье столетие подряд ломают копыя вокруг личности Кромвеля: правильно ли его выкинули из могилы и вздёрнули на виселице, или не по-христиански было тревожить прах цареубийцы?

— И к чему пришли рыцари пера и фолианта? — из вежливости спросил Андрей Павлович, чувствуя, как зной окутывает мысли леностью.

— Одному господу известно. Полагаю, битвы вокруг национальной истории кончаются лишь с вымиранием нации, — негромко, почти бормоча, ответил Юзеф Конрадович, откинул крышку чашки и сказал: — Five o'clock¹. Не желаете ли выпить чаю, мой друг?

— С превеликим удовольствием-с!

— Well. Супи! — позвал капитан.

Туземка, задремавшая было под жёстко-шипящую речь господ, встрепенулась и словно пропела:

— Yea-ah, кхинбья?²

— Two. Tea³, — отрывисто бросил ей хозяин, поясняя приказ двумя поднятыми пальцами.

Девушка, кивнув, упорхнула куда-то вниз и в скором времени вернулась, неся поднос с высоким фаянсовым чайником и двумя фарфоровыми, другого сервиза, чашками.

— Sorry, кхинбья, no milk⁴, — чуть слышно, потупившись, говорила она.

Её миниатюрная фигурка в клетчатой тхами с непокрытыми иссиня-чёрными гладкими волосами выражала собой трепет перед ротанговой тростью и порок одновременно — так, что Андрей Павлович невольно залюбовался, удивляясь, как подобное могло не наложить печать на это миловидное личико с татарскими, даже киргизскими чертами, на котором огненно-влекуще выделялись большие миндалевидные глаза. Уловив вождельющий взгляд товарища, Юзеф Конрадович ухмыльнулся и сказал:

— Это тоже часть «бремени» белого человека. Что её ждало? Гарем какого-нибудь бенгальского наваба, сайгонский бордель или, того хуже, быть принесённой в жертву духам? А так — и к цивилизации приобщается, и мне облегчает бремя, — довольно, как кот, улыбнулся капитан.

— А вы в самом деле полагаете, что это — цивилизация? — раздался женский голос из-за спины.

Тень первая

Тягучая влажная духота, принесённая из океана муссоном, была бы ужасна, если б не слабый ветерок, создаваемый движением парохода по великой реке. Заставший ещё времена, когда в этих колониях безраздельно властвовала Ост-Индская компания,

¹ Время пить чай (англ.).

² Да, господин (бирманск.).

³ Два. Чай (англ.).

⁴ Простите, господин, молока нет (англо-бирманск.).

помнивший горны йоркширской лёгкой кавалерии и выстрелы пушек, разрывавших на части мятежных сипаев, он доживал последние годы сосланным на почтовую линию в Бирму. Клёпанный корпус, подрагивающий от работы паровой машины, с трудом закрывающиеся люки и комингсы с отслаивающейся пластами ржавчиной, надсадный гул и свист котлов, должно быть, невыносимый для обитателей отведённой туземцам нижней палубы, давно вышедший из строя кренометр — весь он служил примером небрежения индийской команды. Тем не менее, старые добрые механизмы Викерса исправно выдавали положенную мощность, и, хотя с усилиями и частыми остановками, пароход шёл восьмиузловым ходом встреч течению вспухающей от далёких ливней Иравади. На средней палубе располагались каюты первого и второго классов, но, поскольку жара за их тонкими, пусть и деревянными, стенами была поистине адской, их пассажиры предпочитали проводить время наверху, под покровом колоссального защищавшего от солнца и чадного дыма тента. Настил же верхней палубы являл собой летопись многочисленных ремонтов: среди чёрных досок морёного испанского дуба встречались и отливающие красным вставки махагона и палисандра, и светлые пятна ореха, и многое другое — в общем, всё многообразие экзотических пород дерева, которым море могло расплатиться со своим преданным тружеником.

По этой палубе, прикрываясь вышитым драконами парасолем от косых, падающих под полог маркизета лучей вечернего солнца, прогуливалась дама лет двадцати пяти — тридцати на вид, европейской наружности, но в азиатском платье, представлявшем собой лимонно-жёлтый саронг с белым шелковым жакетом. Её темнорусые волосы, убранные в шиньон, были изрядно высеребрены сединой, контрастируя с отсутствием морщин — за исключением пары мимических, пролеглих от переносицы к уголкам губ, — а несколько странные веки и высокие скулы на славянском в целом лице в сочетании с тонкостью шеи, крайней худобой фигуры и общей лёгкой смуглостью кожи заставляли окружающих теряться в догадках относительно её происхождения.

Так и наши приятели в первое мгновение растерялись, услышав за спиной сказанное по-французски: «*Pensez-vous vraiment que c'est la culture?*»¹ — и увидев обладательницу голоса, но тут же, как положено тем, кто считает себя джентльменами, взяли себя в руки и представились:

— Joseph Conrad, capitaine de la marine de Sa Majesté².

— André Paul, ingénieur. Ne refusez pas de boire du thé avec nous, mademoiselle³.

¹ Вы действительно думаете, что это культура? (фр.).

² Жозеф Конрад, капитан флота Её Величества (фр.).

³ Андре Поль, инженер. Не откажите выпить с нами чаю, мадемуазель (фр.).

— Je n'ose refuser¹, — приняла приглашение дама, присаживаясь за столик, и добавила: — ...себе в возможности слушать и говорить на родном языке, — чем снова вызвала у друзей удивление. — А вы было подумали, что я метиска, дочь какого-нибудь французского лейтенанта и камбоджийской... ученицы? — рассмеявшись, она бросила быстрый взгляд в сторону Супи.

— Нет-нет, что вы, у нас и в мыслях такого не было! — поспешил уверить её Юзеф Конрадович.

— Охотно верю, господи! Ах, что же я, совсем позабыла политьесь: Елизавета Дмитриевна, художник, — протянула она руку через столик.

Андрей Павлович коснулся губами её пальцев, поразившись, сколь они прохладны и тонки. Юзеф Конрадович ограничился глубоким кивком.

— Позвольте полюбопытствовать, что привело вас в эти...

— Дикарские земли? — заметив заминку, закончила Елизавета Дмитриевна. — Мой муж. Он служил врачом здесь, на Иравади. Позвольте, в свою очередь, узнать, что привело сюда вас, уважаемые господа? — встречным вопросом она отсекала дальнейшие расспросы.

— Я здесь по делам моего доверителя, планирую провести изыскания на предмет строительства железной дороги в Китай, — ответил Андрей Павлович.

— А я решил составить компанию соотечественнику. И посмотреть землю — может, после отставки разобью плантацию.

— Что ж, вы выбрали не самое простое место для приложения своих талантов, — заключила Елизавета Дмитриевна. — Чейцзу теньцзя², — сказала она служанке, принесшей третий прибор.

— Вы знаете местные наречия? — спросил Юзеф Конрадович, приказывая себе более ничему не удивляться.

— Да, я прожила тут много лет.

— Тогда вас послал нам сам Бог! — воскликнул Андрей Павлович. — Наверняка вы сможете подсказать, где лучше...

Энергичная беседа увлекла попутчиков, охватывая круг жизненно важных для каждого путешественника вопросов, как то: где удобнее остановиться в Мандалае и Мьичине, какую дорогу выбрать, чтобы добраться из одного пункта в иной, как на ней обстоит дело с мостами и переправами и проходима ли она вообще в это время года, какие вещи и какую провизию взять с собой необходимо, а от чего лучше отказаться, как настроены к белым аборигены в такой-то местности и как в другой, стоит пересекать сиамскую границу или разумнее сделать крюк, в каких местах категорически нельзя разбивать лагерь и каких зверей, гадов, болезней следует

¹ Не посмею отказаться (*фр.*).

² Спасибо (*бирманск.*).

особо опасаться — и прочая, прочая, прочая, о чём они даже не могли помыслить поинтересоваться. Елизавета Дмитриевна охотно делилась знаниями, как лично приобретёнными, так и полученными из третьих уст, не забывая предупреждать, рекомендовать иные пути и, конечно, скрашивать неприятные сведения улыбкой — эту привычку, как и многие другие, она также обрела здесь. Но чем дальше, тем больше в её улыбке участвовали только губы и всё меньше — глаза; всё больше она находила наивного в суждениях Андрея Павловича и меньше верила в успех его предприятия; всё более обнаруживала схожего с её собственной одиссеей и всё меньше — поводов для благополучного завершения чужой. Она слишком хорошо знала, как беспощадны джунгли и как быстро они стирают само имя человека — так же быстро, как его прах и его кости.

Тем не менее, понимая, что отговаривать друзей от задуманного бесполезно, она продолжала отвечать и, где нужно, советовать, и в её словах terra incognita переставала быть набором непрогнозируемых отметок на неточной карте, но обретала зримые черты и рельефность: древний торговый путь в Юньнань превращался в узкую тропу, вьющуюся по склонам ущелий вежливых и опасных качинов; Чинский хребет — в увитые вечным туманом горы, через которые, как тени, шли в набег мизорамцы на прекрасных боевых конях; синяя лента Салуина — в не самую большую, порожистую в сухую пору реку, а Эйявади...

А Иравади несла бурые, взбаламученные начинающимися дождями воды к морю, брызгая из-под колёс доживающего на её лоне свой век парохода, обдавая запахом цветущих тиковых лесов, наполненных грохотом древесных лягушек и воплями хулоков¹, огибая острова и заполняя заводи жёлтыми цветами опадающего падаука, открывая на очередном повороте огромный камышовый луг с одиноко ревушим, отбившимся от стада гаяром. В её мутные воды, бог весть как удерживая равновесие в лодках-долблёнках, закидывали сети полуобнажённые рыбаки в чёрных тюрбанах; по её широкой глади тут и там скользили сампанги, в которых поколениями, как морские цыгане, кочевали целые семьи и племена вместе со своими курами, свиньями, козами; по её глинистым берегам лепились на сваях деревни, окружённые кажущимися бесконечными из-за влажного, душного марева рисовыми полями — и где-то там, в дали, синели влекущие к себе таинственные горы. Казалось, само время застыло в этом льющемся с неба зное...

Но пароход подходил к пристани, и тут же его облепляла гомонящая, крикливая толпа. Кого и чего только тут не было: безусые бородатые пати² и рохинджа предлагали серебро и благово-

¹ Хулоки — род приматов.

² Пати — мусульмане (бирманск.).

ния, каренки с вытянутыми донельзя шеями — слоновую кость и шкуры дымчатых леопардов, моны в красных одеждах — мясо и хлеб. Тут же кто-то бесстыдно перевязывал лонжи¹, матери кормили грудью детей, бонза стучал в чашку для подаяний, цинский повар кидал в чадящее кунжутное масло какую-то шевелящуюся живность, старуха с чернёными, остро заточенными зубами бойко распродавала прямо с лодки скверно пахнущие плоды дуриана — и пассажиры третьего класса, несмотря на попытки команды воспрепятствовать, жадно тянули руки, крича что-то нечленораздельное на своём варварском языке.

— Дикость, — буркнул Юзеф Конрадович, раскуривая, чтобы перебить ужасные ароматы, трубку.

— Азиатчина, — согласился Андрей Павлович.

Елизавета Дмитриевна предпочла не комментировать и что-то сказала служанке на том же «варварском» бамарском наречии, прозвучавшем певуче в её устах. Музыкально, в тон ей ответив, Супьяламат — именно так звали девушку, а не глупым «Супи» — побежала в каюту, достала из медной шкатулки кусочек шанского чёрного лекарства и положила туда целое состояние — четыре золотых гиней, вручённых ей странной белой госпожой. Её юное сердце билось часто, предчувствуя, что боги готовят ей новый поворот.

Проданная родителями за три меры риса китайскому ростовщику, перепроданная торговцу живым товаром и в последний момент, из трюма джонки, выкупленная нынешним хозяином, Супьяламат давно перестала пытаться влиять на свою судьбу — лишь ночами, когда господин, утомлённый её вниманием, засыпал, она вглядывалась в залитые лунным светом берега Эйявади в надежде различить очертания родной деревушки и... услышать зовущие играть голоса сестрёнки и старших братьев. Нельзя сказать, что девушка была глубоко несчастна в роли одалиски чужестранца... конечно, не о таком она мечтала, наряжая соломенных кукол в разноцветные лоскутки, но... Но, видимо, так сложились частицы её дхармы, как говорил старый монах, которого Супьяламат называла дедушкой. Она часто вспоминала, как вместе с ним играла с монастырскими кошками, а он поучал: «Посмотри, моя маленькая королева, как эти мудрые создания ведают отведенное им место: ласковые чхадима живут рядом с человеком, дикие бенгалки охотятся под пологом леса, а мраморные кошки — в ветвях деревьев. И никто друг другу не мешает, все живут в мире и согласии». Потом монах вручал ей печенье округлой, замысловатой формы одной из букв алфавита и наказывал выучить к утру. Так она освоила грамоту.

¹ Лонжи — предмет одежды, юбка, которую носят жители Мьянмы, как мужчины, так и женщины.

Супьяламат не понимала, что в ней разглядел «дед», почему выделил из многих таких же, как она, детей и почему не спас от продажи в рабство: когда цинец усаживал её в повозку, старик лишь молча качал головой, улыбаясь ободряюще и печально. Она знала одно: пока её предназначение — быть домашней бирманской кошкой. Знала спокойно, находя утешение в самом ожидании того дня, когда боги выложат игральные кости в иной узор. И чем глубже было её смирение, тем сильнее было удивление чарующей дикостью, беспокойностью, мятежностью пришельцев, недавно, казалось, покинувших ад голодных духов: её хозяин, владелец громадного железного корабля, был сам будто сделан из железа — настолько упрям он был в своих привычках. Его книги и журналы — Супьяламат скоро освоила это жёсткое, угловатое, некрасивое письмо, от чего первоначальная страсть Юзефа Конрадовича, не успев превратиться в пресыщение, сменилась тщательно скрываемым — но ей-то заметным! — интересом, — были наполнены сотнями совершенно ненужных сведений, от чудовищ, обитающих в пучине океана, до родословных белых королей (и в предутренних кошмарах она видела, как эти железные короли изрыгают железных змей, ползущих по её стране, заползающих к ней на грудь и обвивающих, удушающих, губящих её тело).

И даже сейчас новый знакомый хозяина с огненной, делавшей его похожим на демона бородой и плотоядным взглядом удивлял своей глупостью — хотя бы тем, что сидел в сапогах для верховой езды, явно не боясь паршивой болезни, что скоро поразит его ступни; а эта странная женщина... Эта странная женщина, пытающаяся говорить с Супьяламат на её родном языке, смешно путающая тональности, формы вежливости и счётные слова, но, тем не менее, обращающаяся к ней «меинкалай, девушка» — что тоже странно — добрая, щедрая, своя и чужая (и это настораживало больше, чем предсказуемый гнев хозяина), была поражена демоном другого рода: он сидел у неё в груди, заставляя большие глаза цвета нефрита — через которые он, наверное, и проник — лихорадочно блестеть, заставляя горло судорожно сжиматься, чтобы удержать только что совершённый вдох, заставляя чужестранку кормить его, демона, чёрным лекарством шанов...

Супьяламат приготовила настой, поднялась на палубу и подавала его женщине. Та приняла чашку, на пару мгновений благодарно прикрыла глаза и, добавив: «Спасибо», — обратилась к спутникам:

— В устремлении к счастью. Любой ценой.

Тень вторая

Словно подталкиваемое громоздящимися на юго-востоке тучами, сулящими новый ливень начинающегося сезона дождей, майское солнце неспешно клонилось к закату. Его перламутровое пят-

но, укрытое белёсой мглой, не слепило, но изрядно жгло шею Юзефу Конрадовичу, прорываясь сквозь бесконечно влажное, бесконечно душное, бесконечно обволакивающее марево — то девственный лес, протянувшийся на сотни миль в стороны от реки, выдыхал умывшую его полуденную грозу. Откуда-то издалека доносились глухие, неправдоподобные раскаты грома.

Елизавета Дмитриевна приняла чашку из рук служанки и сказала:

— В движении к счастью едины цивилизованные люди и, как вы выразились, дикари.

Она мелкими глотками выпила настой и глубоко, с наслаждением, вдохнула. Лёгкое дежавю коснулось Юзефа Конрадовича, пока он смотрел, как испарина, обильно выступившая на лбу их прелестной визави, собралась в крупную каплю, покатилась вниз, обогнула бровь и устремилась по щеке к тонкому, хрупкому подбородку, так не вязавшемуся со смелостью этой женщины. Только сейчас он заметил крупный, неправильной формы шрам над её виском.

— Простите, господа, — Елизавета Дмитриевна открыла глаза. — Как понимаю, у вас скопилось много вопросов. Что ж... Попытаюсь на них ответить... Но начать придётся... Впрочем, вы скоро поймёте. В те благословенные времена... как они далеки... мы собирались кружком в салоне у Натальи Павловны Коненевской, хотя вряд ли это имя вам что-то скажет. Львицей бомонда она не была, но известностью в интеллектуальных кругах столицы пользовалась. Читали Гегеля, вели заочную полемику с Белинским и прочей нашей интеллигенцией, восхищались Фейербахом — помню, передавали его книгу из рук в руки и каждый раз спорили о том, является ли счастье осознанной необходимостью, или же так, игрою человеческой сущности, принуждающей его жить. А иногда попросту гуляли короткими летними ночами, полными медовым запахом лип, или наслаждались цветами белых акаций, или выстаивали всенощные на Пасху. Мы искренне любили друг друга сестринской и братской любовью, думали, что это — навсегда, что вот она, истина всех сердец. Боже, какими же мы были наивными, — её взгляд подёрнулся поволокой воспоминаний, и уголки губ печально сжались. — Как легко и непринуждённо мы дарили тепло, так же легко и непринуждённо отворачивались и не находили за собой вины — благо, все были философического склада ума и умели себя оправдать. Но я не о том, господа, простите.

В одну из таких встреч у Натальи Павловны я познакомилась с ним. Были ранние сумерки, он сидел в кресле, смотрел домашнюю постановку по первой пьесе Сухова-Кобылина — да-да, мы забавлялись и камерным театром, — а я стояла поодаль, смотрела на его испанский профиль и... боялась вздохнуть. Всё моё естество требовало прикосновения этих точёных музыкальных пальцев, заявляя:

«Он — мой», а ноги отказывались держать, утверждая: «Ты — его». Должно быть, вы удивитесь моей прямолинейности, но и она — плод многих лет на Востоке. После нас представили, мы покинули салон и бродили по улицам весь вечер, дошли даже до Новой Голландии. Помню, он внезапно замолчал, проходя Инженерный замок, хотя до того его голос звучал постоянно, отсекая крики извозчиков и шарканье ног толпы по мостовым. Не помню, о чём мы беседовали, но как сейчас слышу этот баритон, отражавшийся от стен переулков. На прощанье я подарила ему терракотовую статуэтку совы — в то время я увлеклась лепкой и лелеяла надежду поступить в Академию художеств.

По прошествии времени мы с Натальей Павловной, прознав о его болезни, нанесли ему визит. Он жил в доходном доме на Моховой, лестница парадной в котором была истёрта до покатоности, и он шутил, что именно тут после долгого застолья к Фёдору Михайловичу пришёл образ спускающегося юноши с топором. По комнате у него были разбросаны книги, звёздные карты, географические и анатомические атласы: после он сказал, что следует совету Александра Фёдоровича Миддендорфа, первопроходца Таймыра и своего кумира, что среди туземцев путешественник будет иметь тем больший успех, чем более преуспеет в искусстве врачевания. Да, наше появление вывело его из сплина, даже излечило, он заварил крепчайший чай, на сей раз сославшись на пример ирландского инсургента О'Коннела (вообще, у него к каждому действию была припасена какая-либо история, и становилось сложно понять, имеет ли она отношение к действительности, или же выдумана сию минуту), а потом мы поехали на Острова.

Он любил это место, где взгляд вырывался из каменной решетки столицы империи. Они с Натальей Павловной продолжили беседу о предопределении, свободе воли и теодицее — я бродила по изумительной зелёной лужайке, плела венки из одуванчиков и вслушивалась в интонации его негромкого голоса, произносящего ускользающее от понимания: «Бог и дьявол — как два полюса магнита, они устремлены друг к другу, но столкнуться им не даёт броуновское движение человеческих душ. О, когда мы станем не горячи и не холодны, когда наше отречение от сатаны станет таким же слабым, как наше богоборчество — тогда куски магнита столкнутся и раздавят нас. Но кто сможет свидетельствовать, что в сием событии случилось зло, если только мы способны его узнать и указать?»

Ересью ли были его слова? Не знаю. На следующее утро мы тайно венчались — грех ли то? Возможно. Но на Востоке понимаешь, что грех весьма относительно и текуч, как ручей в овраге: то он живителен, а то — полон губельных миазмов. И порою, убоявшись греха и не испив воды, обрекаешь себя на грех смерти. И наоборот.

— Но как же отличить одно от другого? — уловив паузу в рассказе, задал вопрос Андрей Павлович.

Елизавета Дмитриевна не заметила этой фразы, будучи погружена в воспоминания. Закашлявшись, она сделала ещё один глоток из чаши и продолжила:

— Не прошло и месяца, как он позвал: «Поедете со мною в Волчий Кут?» Я лишь спросила: «Далеко ли он?» — хотя заранее знала своё решение. «В Прикамье», — ответил он, но это уже не имело значения.

Углич, Калязин, Мышкин, Ярославль... Певучие имена проплыли за бортом парохода... Господа, а вы знаете, как на старинных магометанских картах назывались эти земли? Нет? Страны Мрака. Не знаю, почему им было дано такое имя, но смутное беспокойство, впрочем, присущее моему полу, не покидало меня. Не покидало ощущение, что мы из страны белых ночей должны совершить воуаге чрез это чрево тьмы, прорваться сквозь него, а там... я очень надеялась, что там — Свет. И там мы впервые познали — в библейском смысле — Зло.

Но пейзажи были, скажу вам, замечательные! За Нижним по правому берегу потянулись невысокие горы со сбегаящими по распадкам дубовыми лесами, по левому — бескрайние кержачьи чащобы и болота с редкими кондовыми корабельными соснами, а по большей части — с дремучими ельниками и чахлыми осинниками. По лету они по-своему прелестны: не столь скупы на краски, как наша Ингрия, разливаются то полем иван-чая, то морем васильков, по которому затейливо вьётся, огибая бог весть что, дорога. И по осени жёлтое с зелёным радует глаз, если только не зарядят дожди — тогда всё, на многие вёрсты, превращается в ржаво-серую марь.

Вот куда-то туда, на луговую сторону Волги, лежал наш путь.

Мы прибыли в волость, населённую то ли черемисами, то ли раскольниками — бывшими крепостными одного помещика, пропавшего на охоте много лет тому назад, представились уряднику и земскому начальству и начали врачебную практику. Я ассистировала, а он... Он обнаружил, что его знания мало применимы к местным хворям: глазная трахома не лечится пилюлями, а голодное опухание — скальпелем. Да и помимо того хватало всевозможных дифтерий, коклюшей и просто негодных, принесённых из города болезней вроде люэса¹.

В целом бодрый в разгар лета народ, шумно отмечающий Купалу, радующийся тёплой грозовой погоде, к зиме, по взыскании недоимок и выкупных платежей — тот помещик-то хоть и сгинул, но сынок его продолжал требовать с бывших рабов плату за свободу, — серел лицом, будто сгинулся долу и подслеповато, часто моргал белёсыми чухонскими глазами. И без того куцый, сам-4, сам-5²,

¹ Люэс — сифилис.

² Сам-4, сам-5 — мера урожая, выход четырёх единиц зерна с одной единицы посева.

урожай — рожь вперемешку со спорынёй — уменьшался в разы, мужики отходничали в город, а бабы бросали детей и шли побираться... И ладно если только бросали — месяца не проходило, как слышалось: то та молодка заспала ребёнка, то другая.

Но рожали много. От тех же снохачей, своих свёкров, и рожали. Как чюяли, что беда грядёт, так и начинали нестись одна за другой. И ведь жили, жили так годами, и нет бы им держаться вместе — завидовали до икоты, изводили друг друга, а кто изводу не поддавался, тех тихо ненавидели: старшин, землемеров... всех. Ненавидели и заискивали — «целуй руку, которую не можешь укусить», как говорят румыны.

А какая уж там воля, какой уж там царь... Один у них был царь — Голод. Ему поклонялись и ему молились. В обедню ставили свечи за упокой живых врагов и тут же освящали кладбищенскую землю. Звали соседей в гости и опаивали утиными головами. В моровое поветрие шли крестным ходом и — рубили надвое собаку. Но дикари ли они, наш с вами, господа, родной народ? И если дикари, то можем мы их осудить или хоть в какой-то мере оправдать?

Они жили, как умели, любили, как умели, стремились к какому-никакому счастью. А то, что, как и эти, кого вы называете дикарями тут, в Бирме, поклонялись злу... так то можно понять: добрый бог и так добр — злого нужно умилостивлять.

— Простите, что-то я разволновалась, — едва сдерживая кашель, произнесла Елизавета Дмитриевна, протёрла губы белым платком, сделала ещё глоток и прикрыла глаза. Перед её взором побежали картины такого недавнего и далёкого прошлого: домпятистенок на пригорке, большой, с резными утками и солнышками, посеревший, как вся деревня, от старости; лавка у высокого и плотного, доска к доске, забора — они любили коротать на ней летние, рдеющие расплавленным железом по тёмной воде вечера; обрыв, заросший черёмухой, и широкая спокойная река под ним, отражающая ели, высившиеся на том берегу; ночи при свете керосиновой лампы и взгляд, в котором она растворялась; оплывающие свечи — смущаясь, она касалась их, делая вид, что поправляет фитиль или снимает нагар; рассветы, льющиеся лёгкой дымкой сквозь цветущий яблоневый сад прямо в её душу...

Супьяламат видела, как то под усталыми веками Елизаветы Дмитриевны перекатывались глазные яблоки, то желтеющая пергаментность её щёк вспыхивала румянцем, когда она резко, отрывисто выкидывая слова, что-то доказывала на этом громящем, как железные шары на блюде, свистящем, шипящем языке — и было удивительно, как из этого чувственного, как сандаловое масло, рта могли рождаться и нежные звуки её, Супьяламат, родной речи. Нерастраченная, накопившаяся дочерняя любовь к умирающей белой госпоже разлилась раскалённой патокой в гру-

ди девушки, и она, немало страшась своей дерзости, прикоснулась ко лбу женщины. Лоб был горяч и в то же время холоден, как кожа змеи, гревшейся весь день на камне.

Юзеф Конрадович слегка ревниво наблюдал за сценой, покусывая самшитовый мундштук. Андрей Павлович нервно скучал, слушая доносящуюся снизу монотонную мелодию цимбал. Елизавета Дмитриевна ощутила тонкий запах куркумы и шафрана от пальцев Супьяламат, жаркое касание солнечных лучей, утоляющих её озноб, собралась с силами и продолжила:

— Мой доктор быстро завоевал авторитет среди крестьян. Ещё бы, он умел то, что было не под силу деревенским бабкам, — правильно срastить перелом, излечить язву на теле, хотя постепенно, ввиду истощения средств на приобретение лекарств, мы приближались к уровню знахарей: всё чаще в ход шла настойка ивовой коры вместо хинина и водка вместо эфира и карболовой кислоты. Тем не менее люди с ночи ждали в очереди за воротами, приходили за лечением сами и приводили своих коров и коз — их поток не иссякал, как, впрочем, не иссякали, а нарастали непонимание и страх. Впоследствии выяснилось, что прибыли мы наутро после моления местному божеству зла, а потому были приняты за его посланников. Забавно...

Как объяснял нам приходской священник, наше появление произвело первые после картофельных бунтов, случившихся ещё при царе Горохе, волнения и, соответственно, привлекло внимание Третьего отделения.

Да, славный он был, отец Симеон: тянул свою ляжку не один десяток лет, подметал церковь свежесорванной крапивой и жил себе деревенским Шопенгауэром. «Человек ведь как? — говорил он. — Приходит в мир сей, как дитё на ярмарку, а ряды-то полны сладостей, там пряники, сям — леденцы, и всё ему ново и вкусно, но только покуда батюшка с матушкой рядом. А как потеряется, так не нужны ему никакие леденцы, лишь бы мать да отец его были с ним. И плачет, пока не найдёт. Так и душа наша без Отца Небесного плачет». А ещё бывало, гуляем по берёзовой аллейке у брошенной усадьбы, муж выскажет в полемике какую, идущую вразрез с вероучением, мысль, а тот ему тут же приведёт схожую смыслом цитату из Священного Предания.

То ли дело становой пристав, истый служака, которого не смущал «Опыт политической экономии» Маркса. Как он говорил, «эдакий талмудище никто не осилит, а вот эти книжицы вводят в смущение» — и указывал на непереверждённые брошюры по гигиене парижского Общества народного здоровья. А уж записи, которые вёл муж, и вовсе вызывали подозрение в оскорблении основ порядка, нам даже было предписано всенепременно явиться в Особое присутствие при уголовной палате, будто мы Некрасов ка-

кой-то. Что поделывать, его тоже можно понять: выслужиться надо, и за неимением другой крамолы приходилось выискивать её в нашем доме.

Но не затягивающая, удушающая петля карательной цензуры¹ согнала нас с места — хотя, может, подспудно и проявилась удушьем телесного рода, — не утрата иллюзий в отношении народа-богоносца, который нужно лишь просветить, и он воспрянет к изначальной чистоте, не зависть и не страх окружающих, нет. Причина была вульгарна.

Однажды осенью мы возвращались из уезда в волость после очередного «выхода в свет». Дорога вилась бескрайними голыми полями: на водоразделах весь лес, вплоть до последнего кусточка, был сведён под пашню. Смутное ощущение терзало моё сердце: новости из столицы были всё тревожнее, взгляды провинциального бомонда — всё более косыми, да и тщетность наших усилий угнетала, а тут ещё — бесконечный, серый, мелкий дождь добавлял уныния и беспокойства. Я решилась высказаться, попросила мужа: «Будь осторожнее на публике, не рассуждай о политике. А лучше — давай уедем туда, где нас никто не знает». Разумеется, мы повздорили — в нём вызвали ярость любые ограничения свободы, кроме наложенных на себя самолично. А вечером я слегла с инфлюэнцой, промаялась три дня в беспамятстве, когда же отошла, он сказал: «Хорошо, мы уезжаем». Он так и не поделился, что в те дни послужило причиной перемены решения.

Собрались мы споро, даже не дождалась, пока встанет санный путь, раздали ненужные вещи крестьянам — они тут же, кажется, снесли их в своё потаённое капище — и с первым ноябрьским морозцем тронулись в путь. По сию пору помню тот розовый рассвет и обжигающий лёгкие воздух... Меня закутали, как дитё малое, отец Симеон взялся отвезти нас на станцию чугунки и, сажая на поезд, напутствовал: «Дионисий Ареопагит рек: превыше Божественного света есть Божественная тьма».

Тень третья

— Божественная тьма превыше света, — проронила Елизавета Дмитриевна, и ощущение дежавю жгутом ударило Юзефа Конрадovichа по нервам — он невольно поёжился от ожидания чего-то скверного. Солнце каплей расплавленного металла прожигало плотный сизый воздух и стекало к западу, словно расплывиваясь о

¹ Карательная цензура — в отличие от предварительной, разрешающей либо отклоняющей издание произведения, карательная цензура налагает репрессивные санкции постфактум. В России введена в 1865 году и воспринималась более опасным фактором издательского и писательского дела, чем предцензура.

неровную линию горизонта. Зной собирался спадать, но духота, будто остывающая смола, становилась тягучей, обволакивая каждый лист дерева, каждый предмет на корабле, каждую частицу кожи. Она собиралась в гроздь тяжёлых капель и ручейками скатывалась по спине, по рукам, по пологу, зависала на секунду на концах пальцев, расслабленно лежащих на подлокотнике, и срывалась вниз, гулко, как начинающийся дождь, ударяя о доски палубы. Визги обезьян и грохот дневных обитателей джунглей стихали; даже река, казалось, густела и превращалась в ртуть, которую бесильно старался вспахать колёсами пароход.

Юзеф Конрадович пробормотал под нос замысловатое морское ругательство, пытаясь раскурить отсыревший табак, и, сдавшись, попросил помощи у проходившего мимо матроса.

— Позаботьтесь о сбережении вещей от влаги, — посоветовала, заметив его мучения, Елизавета Дмитриевна. — Сырость и идущая следом за ней плесень — бич тропиков. Тем более, вам скоро предстоит вояж в Свободное Государство Конго¹.

— Простите? — не понял Юзеф Конрадович.

— Поверьте мне на слово, *cher ami*. Резиновая лоза — ведь вы, если не ошибаюсь, именно её ищете? — сама приведёт вас в царство короля Леопольда, — «пояснила» женщина.

«Да кем она себя возомнила? — возмутился про себя Андрей Павлович. — Шляется на краю света, рассказывает бог весть что бог весть о ком — к чему всё это?! Поливает грязью мою отчизну! — он словно вычеркнул из памяти, что каких-то пару-тройку часов назад так же хаял свою страну. — И надо бы ещё разузнать, куда делся её муж!»

Впрочем, будучи человеком отходчивым, Андрей Павлович понимал, что причина его раздражения кроется отнюдь не в неприязни русских, когда они оказываются за границей, друг к другу — подобной взаимной нелюбви иудеев к иудеям, — а в банальном невнимании к собственной персоне. Он спросил:

— Что же было далее, сударыня?

— А далее был путь на юг, — игнорируя неуместное обращение, ответила Елизавета Дмитриевна. — Был пыльный и ветреный Новороссийск, где в душе одновременно звучали и «Прощай, немытая Россия», и полонез Огинского; был сказочный в утренней дымке, плывущей над минаретами Святой Софии, Константинополь; были Суэцкий канал и Красное море, где он сказал: «Приглядись! Видишь, как у подножия вон той скалы блистают бронзой римские легионы? А вон там, за мысом, слышны крики финикий-

¹ Свободное Государство Конго (и далее — царство короля Леопольда) — личное владение бельгийского короля Леопольда II с жесточайшим, даже по колониальным меркам, режимом эксплуатации. Организовано в 1885 году, в 1908-м продано королём своему государству.

ских гребцов? Вся земля пропитана кровью и потом на многие сажени вглубь», — и глаза его при этом лихорадочно блестели, будто он вдыхал саму Историю, венчался с Клио... А я вдыхала морской воздух, и где-то там, в виду аравийских берегов, болезнь отступила. Вы не представляете, какое это наслаждение — дышать... Ради этого ощущения, ради лёгких дуновений, щекочущих горло, трахеи, бронхи, стоит родиться, — она попыталась наполнить грудь, закашлялась, Супьяламат кинулась было к ней, но замерла, будучи остановлена отстраняющим жестом Елизаветы Дмитриевны. — Простите ещё раз, — промолвила она, с сомнением отнимая платок от губ.

— Корабль был полон авантюристов всех кровей — прагматичные, а потому ленивые, французы, романтические немцы... Я открывала для себя целый мир, вся моя предыдущая жизнь казалась прозябанием в каком-то монастыре... Нет, мы не плыли в никуда, лишь бы на юг. Мужа ожидало в Кохинхине что-то связанное с пастеровскими изысканиями — я не вникала в подробности, да и сам он редко посвящал меня в свои планы. Конечно, это было обидно, но что поделать — женская доля.

Пробыв недолгое время в Сайгоне, получив финансирование и содействие французской администрации и отправив весточку отцу Симеону, мы двинулись вверх по Меконгу. Если вы полагаете, что путь был схож с волжским или нашим нынешним, то вы заблуждаетесь — он был подобен путешествию в сердце сказки: грандиозные водопады Кхона, храм тысячи Будд в пещере, Долина кувшинов — и их тоже там тысячи, — страна миллиона слонов и белого зонтика мало-помалу раскрывала нам свои чудеса. Слова отца Симеона давно забылись, лишь однажды муж нахмурился, увидев, как три невесть откуда взявшихся ворона летели с западного, сиамского, берега на восток.

Знаки были везде, в каждом вскрике журавля, в каждом повороте реки — казалось, Господь приготовил нам чудо в конце. И чудо было обретено. Но совсем не то, которого мы ожидали...

Мы достигли Луанг-Прабанга, были восторженно, чуть ли не как мессии, приняты королём Ункхамом, только начали строительство госпиталя близ его дворца, как случилось нападение чёрных хо, вьетских разбойников, и будущая больница сгорела вместе с городским предместьем. Это тоже было воспринято нами как знак — знак того, что время остановиться ещё не пришло, и так сильна была наша убеждённости в своей правоте, что престарелый король, хоть и с сожалением, отпустил нас. Пусть он и был как младенец, верил в то, что мы сможем создать невиданную доселе защиту от кхмерской чёрной магии, но разум сохранял ясным, эликсира бессмертия не требовал — напротив, помог нам присоединиться к каравану лансангских торговцев костью, направлявшемуся в Лан-на.

Ченграй, Менам... Мы бежали с Родины, но наше бегство напоминало инъекцию — простите мне это невольное перефразирование Александра Сергеевича... Были ли мы горячим уколом в объятую лихорадкой страну — или то лихорадка охватила нас, призванная стремиться к тому самому, полыхающему, как океанский закат, счастью? Надеюсь, Бог знает ответ и поделится с нами по окончании этой... оперетты.

Как бы то ни было, страну действительно лихорадило. Охваченные ужасом перед планируемыми Тибо, королём Мандалая, и его женой-сестрой преступлениями¹ — астрологи, обнаружив под стенами дворца пару кувшинов масла высохшими, посоветовали правителю, во избежание несчастий, принести в жертву по сотне мужчин, женщин, детей, солдат и иностранцев — люди замерли в своих хижинах или бежали прочь, и их штормовая волна, их *asqua alta*, остановила наш караван на одном из притоков Салуина, чьё имя вам ничего не скажет, но который я с полным основанием могу назвать и Летой, и Ахероном.

Помню, муж стоял на берегу, так же, как вы, Юзеф Конрадovich, грыз мундштук трубки и смотрел на западный берег: к нему сбегала широкая, вытопанная тысячами ног людей и животных, скользкая грязная дорога, и беженцев, несмотря на день, на ней становилось всё меньше. Там, где час назад шли десятки и сотни, сейчас проходили редкие одиночки или небольшие семьи. Это могло означать что угодно: как то, что мы наблюдаем последних вышедших в исход жителей столицы, так и то, что королевская охота совсем близка.

Мы решили не искушать судьбу, наняли небольшую лодку с командой, погрузили поклажу и двинулись вверх по течению, провожаемые неистовыми криками обезьян. Лишь после, прожив не одну луну и не один сезон дождей в джунглях, я осознала, что их вопли были необычны... не побоюсь сказать — они были перевозбуждены, и... знаете, я стала задумываться: если язычники правы и у человека действительно много душ, то несколько из них мы оставили там, на последнем берегу... а может — в поворотах и теснинах этой реки.

Мне бы хотелось рассказать, как она несла нас на своих волнах, но нет — путь был узок и напоминал, скорее, погружение в сердце ли самой Жизни, в глубины ли нашей тьмы. Нет, не подумайте, это нисколько не походило на сказки Гофмана или новеллы Эдгара По, что вы! Это больше чувствовалось как нечто тягучее, как вечерняя духота, сдержанное, как перламутр предзакатного солнца, неисправимое и неизбежное, как подступающая гроза, утопающее в чём-то ином — не человеческом, не Божьем, — сумереч-

¹ ...планируемыми Тибо, королём Мандалая, и его женой-сестрой преступлениями — события относятся к 1880 году. Король Тибо свергнут в 1885 году.

ное и внимательное к каждому нашему вздоху. Оно всматривалось в нас, всматривалось пристально, рисуя узорами прибрежных лиан скулы, глаза, губы — и всё при абсолютной, вязкой тишине, стекающей меж лопаток горячими каплями пота. Ночами оно касалось кожи, касалось спины, выбегая из-за стволов деревьев языками тьмы вослед опадающим языкам костра; днём — втягивалось куда-то в чашу, под сомкнутые, не пропускающие ни унции света кроны, и жило там в ожидании нового вечера, чтобы вновь проступить лицами в рисунках ветвей.

Можно бы патетично назвать его древним злом, но оно было отнюдь не злом — оно было иною, чуждой людей жизнью и, как всякая жизнь, стояло вне морали. И если мы пропитывались её тяжёлым густым запахом, если тем самым мы погубили себя и обрекли на некий ад — то нам ли кого винить? Нас выбрал этот путь, как выбрал он обитателей скрывавшихся в густом тумане редких селений, окружённых следами жестоких дьявольских культов, как заставил он два поистине неведомых племени сражаться на узком мосту: и лязг оружия, и капли крови висели моросью в теснине, окропляя, как святой водой, наши лица и будто помечая будущие жертвы; чад от выстрелов древних мушкетов и разлитого по воде пылающего масла удущал, обожжённые руки цеплялись за борта и кричали, заклинали о спасении, наши гребцы в страхе, касаясь своих амулетов, били по ним вёслами, топили — и всё, словно в одобрение, было залито спокойным карминовым светом.

Муж тогда промолвил единственное слово: «Сират»¹.

Он повторил его наутро, когда мы, потрясённые увиденным накануне, разбили, падая без сил, лагерь на изумрудной поляне, прижатой к реке стеною леса... О, если бы у меня были слова, если бы существовала такая гуашь, чтобы передать краски того Леса!..

Малахитовая зелень острой, как иззубренные лезвия, листья, сапфировое сияние огромных стрекоз, пурпур неведомых, не виданных нами ни до того, ни после цветов, рубиново-лимонные плети змей, сколопендры, скрывающиеся в поваленных бурями гигантских деревьях, и пауки, охраняющие гнёзда, — всё это, укрытое одеялом тяжёлого, мускусного, пряного, едкого запаха ядов, желания, гниения, плоти, стрекотало, шипело, взрыкивало, звенело на всех наречиях, охотилось, пожирало, продолжало себя и снова охотилось друг на друга и на убывавшую с каждым днём команду, и наши пропитанные ужасом сердца гулко бились за рёбрами ли, о рёбра ли в унисон с будто пылающим где-то в глубине гилеи багровым Сердцем самой жизни, жизни такой, какая она есть без прикрас, жизни желанной, беспощадной, восхитительной, жестокой. И мы сливались воедино с её категорическим догматом, с её амо-

¹ Сират (*мусульманск.*, ср. с *зороастр.* Чинват) — мост между мирами живых и мёртвых.

ральным императивом: «Живи во что бы то ни стало! Умри завтра, но живи сегодня!», и наша кожа была как натёрта кайенским перцем, наше нутро съедала жгучая страсть, заставляя меня танцевать до изнеможения, принуждая туземцев вгрызаться в джунгли, прорубать мачете короткие, не спасающие отсюда тропы и пропадать без вести — мы были словно охвачены священным безумием, пребывали в необъяснимом амоке, откуда однажды муж не вернулся в лагерь с воронным скорпионом на левой ладони и не приказал оставшимся в живых выдвигаться в путь.

Скорпион, отливая золотом, всю дорогу мирно дремал в плетёной корзине и лишь время от времени просыпался и указывал, покачивая жалом, на еле заметную, пробитую муравьями тропку — мы сворачивали на неё, расширяли и так, следуя своему жутковатому, прозванному одним из нас Истиной, проводнику, вышли из Леса.

Вокруг как будто были те же деревья, те же змеи, но что-то неуловимо изменилось; с глаз спала пелена, и всё случившееся можно было бы принять за умопомрачение, галлюцинацию, если бы не сгинувшие спутники и не шрамы, мелкой сеткой покрывшие голени, ступни, предплечья. Где-то на той размытой, как всё в Азии, границе между... мы набрали на ровную вымощенную площадку перед разрушенным, задавленным корнями исполинских деревьев храмом, должно быть, посвящённым нагам¹ — у входа лежал камень в виде головы королевской кобры, — и соорудили там шалаш.

На следующий день нас обнаружили. Охотник. Он осторожно, держась на расстоянии, обошёл наше убежище, увидел, откуда ведут наши следы, и стремглав бросился прочь. Мы стали ожидать развития событий. Совершенно истощённые, не в силах ни двигаться куда-либо, ни защищаться, мы сидели в полном молчании и без малейшего намёка на страх смотрели во тьму под пологом деревьев и в резкие узоры застенчивых крон², избегавших касаться друг друга ветвями, сквозь которые пытался прорваться свет. Спустя две ночи наше ожидание разрешилось: из тающих под первыми лучами прядей тумана разом, как по мановению руки, выступили препоясанные чёрными и красными повязками воины и наставили на нас лес копий с обожжёнными концами. Их жилистые руки, свитые в жгуты мышцы ног выражали решимость — в их глазах плескались тщательно скрываемый страх и отвга.

Из-за их спин вышел вождь. Он держал в поводу гаяра светлой масти с рыжеватыми подпалинами на боках и совсем юную девоч-

¹ Наги — змееподобные существа, символы мудрости в Восточной и Юго-Восточной Азии и Индии.

² Застенчивость крон — феномен, наблюдаемый в тропических лесах, заключается в том, что кроны деревьев не соприкасаются, формируя полог с каналами-пробелами.

ку — как позже выяснилось, свою младшую дочь, — выкрашенная в белое верёвка из пальмовых волокон тянулась к её шее и к медному кольцу в ноздрях быка. В вязкой тишине, в которой было слышно дыхание каждого из воинов, старик протянул мужу мачете — в том же напряжённом предгрозовом молчании муж взял его, прочёл что-то в сплетениях наполненных кровью сосудов в глазах вождя, в угольно-чёрной мольбе девочки, во взбешённом, но плачущем взгляде гаяра и нанёс первый удар.

За ним другой. Третий.

Мир наполнился рёвом, ворвавшимся, как цунами, в наши окутанные голодной глухотой уши — и если слух может охватить озноб, то это было именно так. Воины расступились, опасаясь быть затоптанными быком, огромные, страшные раны на загривке которого обнажали белые кости и прослойки жира, прежде чем быть залитыми багрово-красными потоками, пока с четвёртого или пятого удара он не пал, покоровшись судьбе, наземь и не был добит копьями и каменными топорами.

Вынырнувшие словно из ниоткуда женщины кинулись ловить треногими чашами хлещущую фонтанами ярко-алую кровь и собирать комочками хлопка кровь тёмную — она была повсюду: она оросила моё лицо и лица наших спутников, она стекала по жилистой шее вождя — он казался невозмутимым, если бы не подрагивающий кадык, — она с ног до головы покрывала его дочь — её колотила крупная дрожь, но за всё время выбора жертвы и её заклятия девочка ни на полшага не сошла с места... Её отец, этот первобытный Авраам и Соломон в одном лице, поставил любимое чадо на кон, проверяя, кто эти чужие, явившиеся из запретного Леса: Зло или нечто другое? И если Зло, то можно ли его задобрить, умиловить — или остаётся лишь безропотно подчиниться, подставив шею, как гаяр, под удар судьбы?

Так или иначе, но наш выбор — выбор существ, похожих на скитающихся во тьме джунглей духов предков, — снял камень с души вождя. Его напряжённое, как натянутая тетива, лицо расслабилось, и глубокие, жёсткие, как у статуи, морщины обрели человеческую мягкость.

Он отдал несколько отрывистых приказаний, и племя засуетилось: воины развели костры под чанами, женщины принесли фрукты и рис — и вскоре его золотистые горки с уложенными вокруг длинными полосами мяса и ломтями дуриана украсили алтарь, на котором когда-то, возможно, приносили в жертву людей.

Не скажу, что мы сразу стали кунаками с этим народом: за всем весельем, песнями, состязаниями мужчин, сдержанным ритмом каменных барабанов чувствовалась некая настороженность — особенно когда кто-то приближался к клетке с золотисто-воронным скорпионом. Как они не знали, чего ожидать от тех, кто хоть и выбрал мясо быка вместо человеческого, но вышел оттуда, куда толь-

ко уходят, так и мы в любую минуту могли ожидать иззубренных лезвий ножей, вскрывающих наши яремные вены — хотя бы для того, чтобы проверить, красна ли наша кровь и почему мы источаем такой резкий запах пчелиного яда.

К счастью, их страх победил нашу смерть.

Со временем, мало-помалу освоив местное наречие, мы встроились в окружающее бытие в качестве то ли опасных полубогов, то ли добрых пророков. Слух о нашем явлении из глубины Леса распространился по нагорью с быстротою пожара, и вождь — этот первобытный Одиссей — выдал одну из своих многочисленных дочерей замуж за моего супруга. Следом потянулись и предводители других племён, но старик обеспечил себе право быть первым среди равных в этой непонятной, но характерной для Индокитая, подобной мандале системе власти и почтения: годы на краю бездны окупались для него сторицей. Те же, кто по каким-либо причинам не смел претендовать на родство с нами — мужем и мной, — стремились породниться, дабы отвоевать себе уголок под солнцем, с нашими туземными спутниками.

Касаемо же сути смею с сожалением сказать: наше прибытие внесло хаос в жизнь аборигенов так же, как в своё время внесло сумятицу в вязкое существование насельников той поволжской воности.

Ревновала ли я? О, да! Безусловно. Ведь в муже оставалось ещё что-то человеческое, то, что я когда-то давно, будто в иной жизни, полюбила в нём. Хотя, возможно, я лишь убеждала себя в том, глядя на частые процессии с дарами, на вождей, стекающих к нам, словно к оракулам, за советом или благословением на ведение войны неизвестно с кем — вокруг разворачивался первобытный газават в языческом исполнении, и Тибо, этот неудачный наследник великого короля Миндона, был бессилён справиться с ним. Да, мы могли бы стать если не центром этой мандалы, то каким-то подобием белых раджей Саравака¹, ведь «образ и подобие» обязано нести справедливость, невзирая на наивные стенания над детскими слезинками, но мы выбрали милосердие: мы научили наших друзей выращивать опий и менять его через китайских купцов на необходимые лекарства и прочие плоды прогресса, при том строго-настрою, именем запретного Леса и змеев старого храма воспретив прямые сношения с внешним миром.

В общем, мы вернулись к лечебной практике и даже сумели добыть и передать прелюбопытные для Пастеровского института сведения касаемо летучих лисиц, таких милых, но опасных медиумов меж исконным миром инфекций и хрупким миром людей...

¹ Белые раджи Саравака — династия английских правителей области Саравак на севере Борнео (1841–1941 гг.).

Но всё то пустое, господа. Мы не пытались цивилизовать тех, кто жил своей, пусть примитивной, цивилизацией сотни, если не тысячи лет.

Парадоксально, но, врачую туземцев, мы лишь внесли большой ужас в их сердца, ибо хозяин жизни является и господином смерти. Хотя отнюдь не тот ужас, каковой внушает вашей, Юзеф Конрад-ович, одалиске ротанговая трость, а тот, из которого проистекает уважение и любовь. Потому как давайте оставим любовь небесную апостолу Павлу — богу богово, и возрастим свою из того, чем Творец, Податель жизни, наделил нас: из жажды, страха, смерти и устремлений.

Тень четвертая

Тяжёлая, жаждущая упокоения в земле первая капля дождя гулко ударила по палубе. За ней другая, третья — воздух быстро наполнился тем ароматом, что случается в благословенной средней полосе после скоротечной летней грозы. Где-то над головой сверкнула молния, раздался треск разрываемой ткани небес — и они разверзлись: воистину, казалось, что воды, отделённые в начале творения и помещённые в верхний океан, стремились слиться с океаном бездны и поставить точку в бесконечной книге бытия. Стена ливня грохочущим водопадом ударила в рыхлую от зноя пыль, в цветущие тиковые рощи, в бесконечные рисовые поля, на которые, праздная возвращение Будды ли, водного ли змея на иссушенную землю, высыпали дети, в волны великой реки, рухнула на пароход — и будто дрожь облегчения пробежала по его усталому телу, от жаркого сердца машины до источенных временем и верной службой обводов корпуса.

«Какая чудовищная мощь», — подумал Андрей Павлович. Ему вспоминались тихие ливни родины, те, что назывались «как из ведра», но в которых воздуха было поболее, чем воды. Этому же потоку с несчастными прожилками воздуха, своей силой создающему миниатюрные бури, он до сих пор, несмотря на далеко не первый год пребывания в тропиках, не мог подобрать сравнения. «Как нефть из расколовшегося танка», — пришло ему на ум, и Андрей Павлович, спеша поделиться открытием, обернулся к попучикам.

— Ревновала ли я? — услышал он, и его охватило мимолётное тревожное чувство дежавю. — Безусловно. Ведь я — человек. Хотя, по совести, не могу сказать, что меня угнетало более: само посягательство на принадлежащее мне тело или растущее расчеловечивание его душ. Нет, он любил меня, но его любовь...

Елизавета Дмитриевна замолчала, подозвала Супьяламат, объяснила ей что-то по-бирмански и протянула ключ от каюты.

Когда девушка, поклонившись, убежала, Юзеф Конрадович понял, что вот так, незаметно, потерял власть над наложницей и что теперь лучше будет отдать её за символическую плату соотечественнице. Та тем временем продолжила:

— К стыду, должна признать, что как мужское самолюбие тешит быть первым у девушки, так и самолюбие женщины утешает быть последней у своего мужчины. Как видите, господа, азиатский яд отмыл мою душу от европейского сиропа, — усмехнулась Елизавета Дмитриевна. — Однако я так и не решаюсь вслед за мужем признать у себя наличие множества душ, что, чувствую, равно признанию в собственном отсутствии. Потому как то, что дано мужчине — познавать мир через себя, — то не дано женщине, и напротив: взирая на этот удивительный и необъятный мир, на окружавшие меня события и людей, я познавала себя, единственную. Для женщины ценнее чувство, возбуждаемое в её естестве запахом розы, нежели роза сама в себе, и своё отражение в глазах мужчины — ибо отдаваясь его обладанию, она узнаёт, кто она есть. Но отречься от себя? Увольте!

Первый заряд дождя утих, команда парохода засуетилась, исправляя нанесённые порывом стихии раны, где-то в трюме закрипела ручная помпа. Лёгкий ветерок на мгновение приподнял полог маркизета, стряхнув с него град капель. Близкие холмы выдохнули пряди тумана.

Супьяламат вернулась к беседующим, неся чёрную лакированную шкатулку чамской работы в одной руке и всё своё богатство — несколько монет — в другой. Она твёрдо решила выкупиться и вернуться домой, к братьям и сестрёнке — подсказать богам, что пришла пора сложить кости её судьбы в иной узор.

— Вы столько говорите о муже, но ни разу не назвали его по имени, — прервал повисшее молчание Андрей Павлович. — Вы его вообще любили? — не удержался он от колкости.

— Его имя, теряя, по бирманскому обычаю, слог за слогом, превратилось в непроизносимый — и значит, немислимый — звук, — тень улыбки с лёгким налётом горечи пробежала по губам Елизаветы Дмитриевны, и, словно пытаясь расслышать неназванный звук, паровая машина сбавила обороты.

— Простите, — действительно испрашивая голосом извинения, обратился Юзеф Конрадович. — Но что случилось после?

— После... *Le premier père s'est sacrifié pour l'Arbre de Vie. Mon mari est entré et rejoignit son destin*¹. Возможно, пламя внутри, а возможно, попросту малярия приступ за приступом точили его силы. В дни облегчения он оперировал — я снова ему ассистировала, — чтобы затем слечь в лихорадке. Поначалу я исполняла роль

¹ Праотец принёс себя в жертву ради Древа Жизни. Мой муж вошёл и присоединился к его судьбе (*фр.*).

визиря — и то были самые жестокие месяцы для нагорья, но железом и кровью единство лишь рождается — не продолжается. И пусть каждый из людей — часть той силы, что вечно жаждет блага, но никому не ведомы последствия самых добрых его деяний. Так оные неведомы и мне.

А муж — и я не назову его иначе — метался в бреду и говорил, говорил, говорил. Он, насколько я понимала, видел время в образе великого луга, через травы которого бесцельно бредут тонкие, как тени, души ли наши, судьбы ли; знал, что об этом догадывались иудеи, сказавшие: «Не время проходит — мы проходим», — но они так и не осмыслили, что есть время преходящее, текущее минута за минутой, подобно мутной реке, несущей в себе всё — от ила и амёбиаза до отражений неба, и есть время свершённое, живое в своей завершённости, подобно имеющему форму, но вечно обновляющемуся водопаду. Говорил он и о том, что души наши порою пересекаются в этом поле и, обретая на краткий срок имя, обретают и осознание себя, и страх, и бог знает что ещё, и что испытанное вами, господа, не раз за сей день чувство дежавю есть свидетельство того, что либо нечто привело к вашей гибели в будущем — и Время даёт вам шанс пройти себя верной тропой, либо вы пересеклись с самими собой: вы вступили в то мгновение, в котором побывала одна — или все разом — из ваших душ.

Вы не понимаете? Я тоже не понимала, и вы можете представить моё отчаяние — нет, не от того, что я оставалась одна в чуждой стране среди так и не ставшего родным народа... Заметив моё состояние, муж прикоснулся к моей щеке — его рука была суха, как пергамент, и горяча, как жаровня с углями, — и в последний раз произнёс женщине во мне, в человеке: «Мы с тобою не стареем. Мы только седеем», — после чего утешил жестоким, бесчеловечным обращением к человеку во мне, в женщине...

Елизавета Дмитриевна, избегая сталкиваться с кем-либо взглядом, открыла шкатулку, достала слегка попорченные термитами бумаги и стала читать:

«Любое страдание можно пережить, если знать одно: оно конечно. Прикажи воину поднести руку к пламени свечи — его воля сильна, он это сделает. Но останови время — и его боль станет вечным адом, вечной смертью, ибо жизнь, как то ни пошло звучит, есть движение, прежде всего — движение времени.

Но чтобы чувствовать боль, необходимы две реалии: то, что причиняет боль, и тот, кто оную испытывает. Боль, равно как и счастье, — это искра, пробегающая между миром и человеком. Без человека рай и ад пусты и безвидны — как, прочем, и всё мироздание. И сомнительно, что в ад ведут такие мелкие преступления, как смертные грехи или нарушение заповедей — слишком уж они рациональны. Нет, ад и рай строятся из мгновений свершённого

времени, и даже мгновения счастья неизбежно ведут в ад, если человек остается быть. Почему? Потому что человек не только самоценность в собственных глазах, но и своего рода функция, динамомашин, вырабатывающая эти искры. И именно познание этого подобия электричества является целью и омегой бытия. А раз так, то имеет ли значение, посредством боли или наслаждения из человека это знание, суть формирующее время вечности, будет получено? Мы возводим ад и рай из одних и тех же кирпичей.

Но есть одно отличие, дающее нам слабый, как проблеск солнечного света под пологом джунглей, луч надежды: вечная жизнь, движение и полыхание самого сияющего времени во всем его совершенстве и совершенности, движение, подобное круговоротам облаков на небе. Ведь что есть наше время? Оно как свет, состоящий из частиц, как волокна, из которых состоит ткань. Но из каких частиц состоит тень? Преходящее время есть река, время совершенное — водопад, чье величие выражено в форме. И они двуедины, как всё в этом мире: добро и зло, мужчина и женщина, сияние тьмы и тьма света.

И в вечной жизни невозможно отделить пламя свечи от руки в пламени, камень от овивающего его корнями дерева, вообще что-либо от чего-либо, ибо тогда она обратится из жизни в вечную смерть, имеющую мало общего с той избавительницей, с которой знаком каждый. Нет, вечная жизнь — это всеединство всего сущего, в котором нет места тому, что способно сказать о себе «я», такое всеединство, что каждое живое существо, растворяясь в непостижимом, проживает разом все мгновения, сотворившие его: каждый миг славы звёзд, каждый триумф Александра Македонского, каждый сонет Шекспира, каждую боль каждой твари, каждое страдание и каждое счастье от альфы до омеги, — проживает в едином миге всех мгновений, не будучи собой, но будучи, возможно, уже телом Божьим».

Елизавета Дмитриевна сложила бумагу и закрыла шкатулку — оловянные отблески неба отражались в её серебряном канте. Сдерживаемый кашель более не душил её, и правая рука мирно покоилась под ладонью Супьяламат. Подумав, стоит ли это производить, она добавила:

— А потому наивна новомодная женственная вера в переселение своего драгоценнейшего «я» — вера глубоко трусливая и в то же время храбрая, ибо ради сохранения собственного «я» люди готовы сойти в ад... Муж догорел в конце сезона дождей. В тот день выдался такой же, как сегодня, карминовый закат, и растущая луна была оторочена пурпурно-лиловым. По забавному совпадению, в ту же ночь в Лансанге близ Нонгкая праздновалось возвращение то ли Будды, то ли змея Пхая Нага на небо — из Меконга вырываются светящиеся шары и устремляются вверх. Я надеюсь — и порою да-

же, пусть и скрепя сердце, молюсь, — что он, если заблуждался во всём, будет прощён. Если же он прав, то мы более никогда не увидимся. Ибо я не готова взглянуть в божественную тьму — ту, что превыше божественного света.

Эпилог

Омыв землю водами потопа, гроза ушла, и солнечные лучи, проникнув в щель между горизонтом и облаками, бросали прощальные золотые отсветы на Иравади. Пароход встал на ночь у Амарапур, города бессмертных, Юзеф Конрадович арендовал у капитана шлюпку, матросы выгрузили в неё нехитрый багаж Елизаветы Дмитриевны: сундук, погребальную урну и зелёную лампу из нефрита, — и узел с вещами Супьяламат, и мужчины взялись проводить женщин до берега. Сидя за вёслами, вслушиваясь в скрип уключин, Юзеф Конрадович думал о том, как нелепа жизнь в своих устремлениях и своих итогах и как отчаян подвиг каждого человека, горящего во тьме одинокой, безмолвной свечой, и что редко кому хватает решимости вымолвить жизни и Богу вердикт: «Ужас. Ужас».

Юзеф Конрадович ещё не знал, что его, как и любого, ждёт встреча с собственным сердцем тьмы, как не знал и Андрей Павлович, что много лет спустя он, щадя читателя и опуская множество подробностей, опишет для журнала «Вокруг света» эту встречу, потому что она так и не позволит забыть себя. Статью он завершит словами: «Золотая волна катилась от борта лодки. «Мой отец служил врачом на Иравади. Там и умер. У меня чашка в заключительной стадии — что уж мне терять, господа?» — подытожила «таинственная незнакомка». Ах, Восток! Ты так тонок, так глубок!» — оставит рукопись у зеркала и, перечитав поутру, подумает: «Господи! Какая пошлость!» — и уйдёт работать в сад. К тому времени Андрей Павлович вернётся в Россию, выкупит на Озерках дом с участком в полдесятины — вишни, немного роз и малины, мята, смородина — и, возделывая его, будет думать о том, что Бог — это садовник, а люди — безмолвные растения и что садовник может лишь догадываться по цветению возвращаемого им о плодах трудов своих, что если какая яблоня обильно усыпана яблоками, то Бог доволен, а какая зачахнет — то и для Создателя скорбь. А посеми, чтобы не расстраивать Господа, Андрей Павлович женится на простой трудолюбивой мещанке со скромным приданым, и жить они будут долго, растить детей и нянчить внуков.

Никто из мужчин не догадывался о своём будущем — мужчинам и не положено знать подобное. Елизавета Дмитриевна чувствовала, а потому молчала, сплетя пальцы с доверившейся ей — или новому повороту судьбы — Супьяламат, чья тонкая фигурка в про-

стой тхами и укрывавшей плечи и грудь садоре дрожала и красивые миндалевидные глаза смотрели на появляющуюся и исчезающую в разрывах туч, омытую зелёным сиянием луну.

* * *

Золотистая волна отражалась от тиковых свай Убэйна, когда друзья, раскурив трубки и вдыхая ароматный дым кубинского табака, смотрели на удаляющихся по бесконечному мосту женщин и на сиреневые всполохи наливающейся на востоке грозы. Впереди шла Елизавета Дмитриевна, и вокруг китайского фонаря в её руках облаком кружили мотыльки, позади — Супьяламат, и её фонарь сиял ярким ровным светом.

Тени, отбрасываемые ими, были похожи на лисьи хвосты¹.

¹ Лисьи хвосты — оборотни восточного фольклора (см. Пу Сунлин, «Описание чудесного из кабинета Ляо»).



Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

/ Москва /

* * *

Медлительность славянской речи
И русский сдерживала стих,
И всё же он ушёл далече
От соплеменников своих.

Но этот ямб, у немца взятый
На три столетия займы,
Не марширует, как солдаты,
А тройкой мчится средь зимы.

Сквозь хлопья хлещущие снега,
Сквозь чей-то всхлип и конский храп,
Ведь и татарского набега
В нём дробный топот не ослаб.

* * *

Угарный возносится дым впереди,
Усталое солнце затмив.
О, венский профессор, постой, не буди
Давно затаившийся миф!

Но стонет Сизиф и кричит Прометей,
А вот и родился Эдип...
Бесчисленных этих сожженных детей
Немыслимый слышится всхлип.

И снова Тезей отплывает на Крит,
И небо темней и темней,
В нём вещий возница ещё говорит
С четвёркой крылатых коней.

ЛУКА

В их сонме единственный эллин,
Рисует Марию Лука,
И пальма растёт из расселин,
И гонит Эол облака.

Он — стоик, и в жизни столь серой
Лишь в красках обрёл божество,
И жалости больше, чем веры,
В Евангелии горьком его.

И тут, в чистоте без примеса,
Тому же художеству рад,
Где птицы с картин Апеллеса
Спешили склевать виноград.

Но кисть направляет икона;
Велит, выбирая цвета,
Совсем отказаться от фона
Объявшая свет чернота.

Ещё в мириадах иконок
Сурово себя повторят
Всезнающий этот ребёнок,
Всевидящей матери взгляд.

* * *

Есть общее. Конечно, в чём-то схожи.
Но мы иначе любим и горим,
И всё тут жёстче, сдержанней и строже,
Чем учат и Венеция, и Рим.

И вот, освоив некий новый метод
Переселенья в вечность через быт,
Зеркальный мастер, живописец этот,
Глазами многих на тебя глядит.

Инфанты детскость, ласковость обслуги
И помышленья карлиц, мудрых дур,
А вот и сам он в этом странном круге,
И с ним Екклесиаст и Эпикур.

Вот и король! Любя и помогая,
Он защитит, монарха нет добрей.

Одна картина — женщина нагая —
Надёжно скрыта. Что грустить о ней!

И бабушка, сожжённая в Севилье,
Отмолена, забыта, прощена.
Такая радость — жизни изобилье,
Высокий орден, нежная жена!

И ведомость с изрядным гонораром,
В последней обозначенным графе,
И воздух с чем-то мавританским, старым,
И лёгкий запах аутодафе.

* * *

Должно быть, Ольга, станешь ты Ириной
И явишься Марией в добрый час.
Там сократят весь этот список длинный,
В одном лице соединяя вас.

Сойдётся все в одном прекрасном теле,
Татьяну и Людмилу в нём найду,
И даже ту, чьё имя и доселе
Назвать не смею в зыбком их ряду.

Не предпочту ни правой я, ни левой
Во время встречи у эдемских рек
В конце концов ведь все вы были Евой,
С Адамом остающейся навек.

* * *

В то время, жизнь ведя медведем,
Ты был у смерти на краю
И дверь не открывал соседям
В берлогу тёмную свою.

Везде молва тебя судила,
Явила совесть день и ночь,
И женщина не приходила,
Чтобы утешить и помочь.

Но в том, строжайшем из убежищ,
Где спор вели добро и зло,
Был голос музыки свеж и нежащ,
Тебе, конечно, повезло.

Иван ГОБЗЕВ

/ Москва /



АПОЛЛОН НА ОТДЫХЕ

- А ты знаешь сказку про скуку?
- Нет, а ты?
- Я знаю. Хочешь, расскажу?
- Давай. Она не страшная?
- Нет.
- Итак, тысячу миллионов лет назад...
- Так давно?!

— Да. Так вот, тысячу миллионов лет назад люди жили так же, как мы. И тоже бывало им скучно, лень, хотелось только веселиться безостановочно и не делать ничего нудного. И был среди этих людей один великий мудрец, звали его Стократ.

Он был так мудр, что прекрасно понимал — жизнь суета и тщета, нет в ней никакого смысла. Радости и печали человеческие — мелкие глупости, нет в них настоящей ценности. А если задать вопрос: ну хорошо, а в чём тогда настоящая ценность, то мудрец ответил бы — ни в чём.

И вот этот Стократ пришёл к выводу, что большую часть жизни человек скучает, а развлекается совсем немного. Да и развлечения кратковременны и счастья не приносят. И он решил отдавать всё своё время другим людям. То есть он брал и, скажем, месяц своей жизни отдавал тому, кому нужно. И тот жил лишний месяц. Вот. И ввёл расценки. Один день жизни — десять тысяч рублей, неделя пятьдесят тысяч рублей, а месяц — всего сто пятьдесят. Это потому что оптом, когда сразу много берёшь, то делают скидки. Получалось, что совсем не работая, и в общем даже, не существуя, мудрец получал очень неплохую по нашим меркам зарплату!

- Паап?
- А?
- А зачем ему деньги?
- Хм... Ну... Не знаю, честно говоря.

Иван Андреевич

В моей голове всегда прибой. Я слышу, как накатывают волны одна за другой и разбиваются о каменистый берег, и где-то, там где песок, медленно раскатываются тонким слоем, шелестят и блестят на солнце. Закрыв глаза, я вижу это море, совсем вблизи оно прозрачное, так что видно дно в песке и мелких ракушках, дальше оно темнеет, почти чернеет, а ещё дальше становится ярко-бирюзовым. На горизонте оно переходит в небо, тоже бирюзовое, но синее по мере приближения к берегу, а прямо надо мной, там где солнце в зените, так вообще белое. Но я не на море.

Ещё я слышу щебетание птиц. Они заливаются, перекликаются, такое чувство, что они заняли все ветки на деревьях. Они начинают петь, едва я просыпаюсь и не смолкают, пока я не усну. Если же я не усну, то они и всю ночь будут петь. Можно подумать, что я в лесу.

Но я не в лесу.

У меня нейросенсорная тугоухость третьей степени. Моё левое ухо не слышит практически вообще, а правое частично — и то с переменным успехом.

Оглух я так. Однажды во время лекции я вдруг услышал море. И запели птицы. Но была осень, Москва, и точно это не голуби пели за окнами на голых ветвях. Ладно, — подумал я. И продолжил лекцию. Но голос мой вдруг стал далёким и тихим, и каким-то не моим, как будто я вещаю с кастрюлей на голове. Студент поднял руку чтобы задать вопрос.

— Да? — спросил я.

И повторил громче, потому что мне казалось, что я говорю очень тихо:

— Да?!

Студенты переглянулись.

И вот этот студент задал свой вопрос. Вопрос был коварный, я понял это по его слегка хитрой улыбке и умному взгляду. Спрашивал он долго. Я смотрел в его рот, как он открывается и закрывается, и пытался пробиться к нему сквозь прибой и птиц. И в самом деле, мне удавалось иногда разобрать какой-то скрежет, как будто робот объявляет следующую станцию в мчащемся с шумом вагоне. Но бесполезно, я не понял ни слова.

Наконец он закончил. Он закрыл рот и теперь выжидательно смотрел на меня. И все остальные ждали, что же я скажу.

Я сделал задумчивое лицо, покивал и ответил:

— Да.

Все засмеялись, а этот студент кивнул и сел на своё место, покрасневший. Но чтобы это не выглядело насмешкой, я добавил:

— Отличный вопрос!

Я и правда думаю, что он был отличным, хотя и не узнаю никогда его содержание.

С тех пор слово «да» стало самым частым в моём лексиконе.

Слух ко мне так и не вернулся, более того, левое ухо оглохло окончательно. Правое слышало, но очень предательски, чуть что и тоже почти перестаёт. Так я и читал весь год лекции и вёл семинары.

Особенно тяжело давались семинары. На лекции хотя бы говорит в основном преподаватель, а на семинарах студенты. И они задают вопросы.

— Иван Андреевич, а скажите, пожалуйста, бра тарабам зум-зум дыбы, ды бы кра пар мар?

То есть после слова «пожалуйста» я уже не мог ничего уловить.

— Что-что? — спрашиваю я.

— Тыр быр дыр пыщ куале муне фля фля фля.

— Хм... Интересный вопрос... А что вы имеете в виду?

— Ну как! Бро бра бру дуду зу зу зюля калакла мел пле.

Ну что тут ответить? Только «да».

Почему-то почти никому не приходит в голову, что я не слышу. Почти все думают, что это я просто очень умный такой и глубокомысленный, отвечаю неоднозначно и на что-то намекаю. Впрочем, это понятно: в мире преподавателей и учёных так много ненормальных, что никакая странность не удивляет. Вот я знаю коллег, которые, в отличие от меня слышат отлично, но ведут себя так, как будто не только не слышат, но не видят, не соображают и нуждаются в постоянном уходе.

Да вот, конечно, надо было бы признаться, что я не слышу. Но уволили бы меня однозначно, глухой преподаватель — это абсурд. Вроде как слепой охотник. Или стриптизёрша-невидимка. Но куда меня возьмут такого, если я ничего больше делать не умею?

В больнице я наблюдал странные дела. Мой сосед, по профессии водитель чего-то, попал туда с ангиной. Ему вырезали гланды, да как-то неудачно, что-то недорезали. И ночью после операции его стал заливать гной. Его перевели в реанимацию. В больнице он задержался на месяц, и когда вернулся в палату, его ещё долго кололи антибиотиками.

Его часто навещала жена, милая женщина с заплаканными глазами, и почему-то всегда в меховой шапке. Плакала она уже от счастья, что муж вернулся с того света.

Регулярно приходил в палату и врач, который делал операцию. У него было лицо демона — такое бывает с людьми, когда они очень долго творят зло. Черты искажаются, взгляд меняется, появляется характерная улыбочка. Это сразу заметно.

Так вот приходил этот доктор и с улыбочкой смотрел на больных своими узкими глазками. А чудом выживший водитель и его жена каждый раз деньги ему совали.

— За лечение! — покорно шептал водитель.

— Спасибо вам! — вторила жена.

Врач молча принимал подношения, как должное, и потом оглядывал других больных. Другие тоже доставали чего-то и отдавали ему почтительно.

А я ничего ему не давал. Мне не жалко было, я просто не понимал, как можно давать деньги человеку с лицом убийцы.

В больнице мне не помогли. Когда я выписывался, выяснилось, что имела место ошибка, и лечение в течение двух недель было неправильным. Выяснилось это так. На выписку пришла главврач. Она посмотрела на план моего лечения, потом на чёрта этого выразительно так — поверх очков, и сказала хриплым басом:

— Ты чего, Вася, первый раз замужем?

На отдых я взял дочку и мою маму. Так легче, мама всё-таки берёт на себя часть заботы о девочке. И я буду посвободнее. Что уж признаюсь, что рассчитываю завести романтическое знакомство с какой-нибудь милой гречанкой. Да, очень хочется курортного романа, внезапной страсти, мимолётной любви (а может и не мимолётной).

Конечно, ехать стоило одному. Папа с дочкой очевидно не кажется привлекательным объектом для романтических отношений. Но она целый год торчала в городе, и поехать на море и солнце без неё было просто подло!

Другая беда — моя мама. Не самая удачная мысль тридцатипятилетнему мужчине ездит на отдых с мамой! Могут подумать, что это и не мама вовсе... Но с ребёнком вдвоём без её поддержки трудно.

И всё же я верю, что здесь случится чудо, я верю в это: любовь и исцеление. Одно не может прийти без другого.

Саша

Здесь мило, вот только отель какой-то семейный! Говорила я маме, ну давай хоть тусовочный возьмём, поближе к центру, там молодёжи много, танцы, клубы! Но нет, как будто назло — у тебя брат маленький, пусть лучше там, где детей побольше! А в центре шумно, пьянки, драки, не уснёшь.

Мама! Мы не в Астрахани! Какие пьянки и драки? Но она упрямая. На самом деле думаю, боится за меня. Не хочет, чтобы я с кем-то тут спуталась.

И вот мне похоже теперь не потусить. Хоть из Астрахани не уезжали бы, я там так же могла время провести.

Но если не придирайтесь сильно, то отель хороший. Ну ещё бы, мама год пахала ради двух недель здесь, на всём экономя! Но за вчерашний день, особенно после детской дискотеки и стариковских посиделок я поняла, что умру от тоски. Решила в итоге вести дневник, как старая дева.

А теперь о хорошем. Сегодня на обед явился ОН. Я как раз сидела недалеко от входа в ресторан и пила сок, пока мама с братом набирала какую-то еду. Им, конечно, следует меньше жрать. Я была не

в лучшем виде, потому что после вчерашнего дискача для тех кому за пятьдесят поняла, что наводить красоту мне не для кого. И тут вдруг открываются двери и заходит он. Даже не заходит, а вливается.

Высок, строен, спортивного сложения, со светлыми вьющимися волосами. В майке, которая прямо очень выделяла его грудь и бицепсы, и в шортах чуть выше колен. Ноги длинные и тоже накаченные, но в меру. На вид лет тридцать-тридцать пять. Я не успела разглядеть какого цвета у него глаза, но думаю, что зелёные.

Греки из обслуживающего персонала с ним поздоровались, так у них здесь принято, они всех радостно приветствуют. Он же ответил им сдержанной улыбкой свысока и проплыл мимо.

Глядя на это, я засмеялась, но он меня не заметил.

А теперь о плохом. Только в моей головке зароились мечты о прекрасном принце, как я увидела его жену и дочь. Я чуть мигом не посела. Следом за ним зашла старая тётка, вся седая и морщинистая! И девочка лет пяти прибежала, прыгает с ноги на ноги и орёт:

— Паап! Паап!!!!

Так громко, что весь ресторан смотрит.

А он внимания не обращает и идёт дальше со своей странной полуулыбкой.

Короче, я убита горем. Вот интересно, он вообще долго её искал? И где нашёл?!

Ладно, я спать. Спокойной ночи мамулечка, прости, что злилась на тебя сегодня. Я тебя очень люблю!

Иван Андреевич

Был момент, когда я отчаялся. Было совсем плохо, и глухота на второе ухо не проходила месяц. Я пошёл покупать слуховой аппарат. Меня встретила милая девушка и стала о чём-то расспрашивать. Я отвечал, как мог, иногда невпопад. Поговорили мы, и она предложила сделать аудиограмму чтобы подобрать нужное устройство. И пока мы это делали, я наблюдал как веселье сходит с её лица, и она становится всё грустнее. Под конец она уже смотрела на меня то ли с жалостью, то ли с разочарованием.

— Вы знаете, — я решил оправдаться, — вообще у меня не всегда такой плохой слух. Он у меня скачет туда-сюда. Иногда я почти хорошо слышу!

— Тарам кам мам зо про туру фух пех?

— Что?

— Я говорю, — закричала она, — я вам тогда не могу подобрать аппарат! Вам нужно сначала установить причину проблем со слухом!

— Так мне сказали причину, — ответил я. — Причина в том, что я идиот.

— В смысле?!

— Ну, диагноз — идиопатическая тугоухость.

Идиопатическая — значит неизвестного происхождения. Но девушка не засмеялась.

Я прилетел и с корабля на бал. То есть сразу на обед, ещё не за-селившись. Потому что заселение с двух. Был небрит, нечёсан и по-шёл в чем летел. На входе в ресторан мне повстречалась девушка в белой рубашке и красной юбке, должно быть, официантка. Она улыбнулась мне ослепительно и что-то сказала. Я тоже улыбнулся и кивнул. И сказал про себя — о! Прямо как с античной вазы! Черные кудри выются, профиль эллинский. Очень мила!

А вдруг? А вдруг Иван, это то самое? Твоя судьба? Ну если не судьба, то романтическое приключение?

Я прошествовал за стол, стараясь не выпячивать живот, держа спину прямой и отведя плечи назад. Так я стройнее однозначно, иначе очень сутулый. Прошёл и сел. Потом думаю, чего же я сижу? Надо еду набирать, тут не разносят, здесь же всё включено. Усадил дочь, и мы с мамой пошли набирать. Я ещё в Москве решил, что есть много не буду, чтобы быть в форме. Но тут не удержался и набрал себе всякого, баранины, овощей, рыбы, курицы и фасоли. И взял два бокала вина, себе и маме. Сел за стол и стал искать глазами официантку. Она бегала туда-сюда и только однажды взглянула на меня. Я улыбнулся ей, она мне.

А неподалёку сидела семья, видно, что русские. Мать, девица лет семнадцати, и мальчик восьми-девяти. Девица скучала, смотрела по сторонам.

Мать женщина интересная, смуглая и жаркая, как из духовки, не молода, но привлекательна.

— Стёпа! Ты чего не ешь! Ешь давай! — вдруг закричала она.

Вина я выпил не шуточно. Вчера за обедом, потом после моря на ужине, а продолжил в номере на балконе. Выходил в бар под окнами, брал по два бокала и нёс в номер, хотя с бокалами в номер не разрешено. Это и понятно, иначе отдыхающие все бокалы по номерам разносут. Но я утром отнёс обратно.

У бара вечером много людей. Особенно пар с детьми. Сначала идёт детская дискотека с аниматорами, потом просто музыка. Но никто не танцует, наверно потому что молодёжи почти нет. Только детишки некоторые продолжают прыгать и вертеться.

И вот я выходил из номера, спускался по лестнице, сворачивал во двор, и оказывался у нашего отдельного бара рядом с бассейном.

— Два красных, — говорю по-английски. И на всякий случай показываю на красное, чтобы с белым бармен не перепутал.

А бармен красивый высокий грек, с большими выразительными глазами. Со всеми шутит, пританцовывает, даёт пять. Меня увидел, брови густые вскинул и говорит: «Хай!» И смотрит на мою грудь. Потом два бокала взял, одной рукой в них наливает, а на другой ногти рассматривает. И стоит, зад выпятив, что видно отлично — зад классный, спортивный. Я даже позавидовал, у меня нет такого. Такой наверно только приседаниями с штангой сделаешь, а это я не люблю.

В общем, так каждый раз — я подхожу за красным, он сразу ноги рассматривать и зад выпячивает.

В итоге на балконе я напился прилично в полном одиночестве, пока мои спали. Не знаю, с чего вдруг. Хуже всего, что я в какой-то момент за сигаретами пошёл. Десять лет не курил и вот попёрся за чем-то. А южная ночь темна и влажна, как страстная негритянка, напеваает прибоем, дразнит щебетанием невидимых птиц, манит куда-то. Да только непонятно куда. Зашёл я в супермаркет, взял пачку сигарет и пошёл обратно.

— Давным-давно, в незапамятные времена, напали на Землю инопланетяне.

— Пап? Это те самые, которые по небу летают ночью и огоньками светят?

— Да, они.

— А чего они больше не нападают?

— Не знаю. Слушай! Так вот это было очень давно.

— Ты был маленьким?

— Меня вообще не было. И вот напали на Землю инопланетяне. Сказали людям: мы вас всех заберём и отвезём к себе далеко-далеко на планету, будете там жить с нами, а мы будем вас обижать... И вот стали они загружать людей в свой большой-большой космический корабль. Все, понятное дело, плачут, никто не хочет улетать.

А на том корабле был у них компьютер, который управлял этим кораблём. А на компьютере стоял пароль, чтобы никто не мог в него зайти, потому что тот, кто смог бы, сумел бы уничтожить корабль и победил бы инопланетян.

— Пароль как у тебя на ноутбуке?

— Да, только сложнее. У нас в языке сколько букв?

— Не знаю.

— Как не знаешь?! Ладно, тридцать три. А у инопланетян тридцать три тысячи! А сам пароль состоит из ста букв! Ну и вот. Одна девочка, которую вместе со всеми загрузили в корабль, спряталась под лестницей, ведущий в трюм, где сидели земляне и плакали. Она была маленькой и её никто не заметил. Когда инопланетяне ушли, она побежала-побежала по кораблю и прибежала в комнату, это рубка управления называется, где стоял суперкомпьютер. А она уже знала, что это такое, потому что у её папы был компьютер. И она по опыту знала, что если зайдёт внутрь и начнёт там жать и удалять все подряд, то дела у инопланетян будет плохо. И вот подёргала она мышку, а на экране появилось: «Введите пароль!». Смотри девочка на клавиатуру, а там тридцать три тысячи кнопок с буквами. Как ты думаешь, реально в таком случае угадать пароль?

— Думаю, нет...

— И я так думаю. Но она понимала, что спасение человечества в её руках. И поэтому решила попробовать. Она обняла своего поросёнка, с которым обычно спала...

— У неё тоже был поросёнок?!

— Да, тоже. Обняла она его, и обратилась к небу с просьбой: «Пожалуйста, небо, помоги мне отгадать пароль, я так не хочу к инопланетянам, и людей тоже мне жалко!»

И вот наконец она собралась с духом и стала нажимать кнопки. Нажала их штук сто. Она верила, что у неё всё получится.

— И что, она угадала?

— Нет, конечно.

— Как нет?

— Ну так! Это же вообще нереально. Вероятность угадать так мала, что ей понадобились бы триллионы лет, чтобы подобрать пароль.

— И значит инопланетяне всех забрали? — всхлипнула она.

— Как же забрали? Мы с тобой разве у инопланетян сейчас? Мы на Земле!

— А почему!?

— Он так удивился смелости этой девочки, что решили всех отпустить!

Саша

Видела вчера вечером этого красавчика с золотыми волосами. Был в том же, в чём и на обеде. Он появлялся неожиданно откуда-то из тьмы, покачиваясь, как будто на волнах, проходил к стойке бара и заказывал два бокала вина. Потом так же шёл обратно и исчезал в темноте. Ни на кого не смотрит, ни с кем не разговаривает.

Как же он красив!

И тут до меня доходит смысл этих его хождений туда-сюда. Он носит вино, чтобы выпить его со своей гримзой! О боже, романтичный вечер при свечах... Милая, я принёс тебе ещё бокал. Спасибо, милый, поцелуй меня. И она складывает трубочкой свои морщинистые губы и тянет к нему трясущиеся руки... Меян сейчас стошнит.

Господи, почему мир так не справедлив?

Но я слишком злая! Наверняка она очень хорошая и достойная женщина. И в постели огонь! Бээээээ...

Ладно, по правде я думаю она прекрасный человек, иначе бы он не стал с ней тусить.

Всё, я к бассейну. Пусть все эти старики пьются на меня и получают за это от своих любимых бабушек.

Ура! Ура!!! Боже мой, это не его жена!

Только что у басса он назвал эту почтенную женщину «мамой!» «Мама, — отчётливо услышала я, — побудешь с Алисой, я пока в магазин схожу?» «Да, сынок, — ответила она чудовищно громко, — конечно!»

После «мамы» и «сынка» никаких сомнений быть не может. И кольца у него нет! А это означает, что он вообще не женат.

Я прямо подскочила от радости. А он поплыл по воздуху куда-то там в какой-то свой магазин! А не ко мне, знакомиться с мамой и предлагать руку и сердце...

— Саша, — сказала мне мама, — ну что ты всё время смотришь на него?

— На кого, мамуль?

— Да вот на этого! Думаешь, я не замечаю?

— Ну а что? Очень симпатичный парень.

— Да какой он парень? Это мужик! Взрослый мужик!

— Мама, ну тогда и ты старая. Вы же с ним ровесники.

— Да пошла ты в жопу, милая, — засмеялась она.

Я уж думала она забыла о нём, а потом говорит вдруг:

— Ну вообще симпатичный, да. Только вон у него дочка. А это мать.

Вот опыт, она сразу поняла, что это мать, не то что я.

Иван Андреевич

Я лежал на лежаке со своими, пил пиво. Пиво здесь, кстати, гадость, как наверно и во всех отелях по системе «всю включено». Солнце печёт так, что весь мокрый. Всё выпитое сразу испаряется. На небе ни облака, ни птицы, оно застыло. Вокруг дети смеются и кричат, взрослые бродят туда-сюда, двое парней в татуировках и с длинными бородами играют в настольный теннис.

Делать совершенно нечего. Я поднялся чтобы пойти за сигаретами. И тут я снова увидел её. В закрытом купальнике, черных очках и соломенной шляпке. Фигура не стройная — торс как будто укорочен. Руки крепкие, ноги и попа накаченные, наверно спортсменка. Но не это всё меня привлекло, хотя мне нравятся спортивные девушки. Меня покорила её улыбка.

Даже не знаю, как её описать, просто она милая и открытая. И только я встал, как она вскочила и унеслась вместе с этой своей улыбкой.

И вот пошёл я за сигаретами, шлепанцы прилипают к раскалённым плитам, света столько, что смотреть больно в любом направлении. А всё же его нет. Света в смысле. Свет в жизни появляется от таких вот улыбок, как у неё, и надо чтобы эти улыбки были предназначены тебе.

Вечером повёл дочь на детскую дискотеку. Она чего-то боялась или стеснялась, и в круг с аниматорами и другими не вставала. Встала только когда я пошёл вместе с ней. Потанцевали. Надо было вертеться, выкидывать руки, ноги, хлопать в ладоши, прыгать. Я старался, как мог.

Там, на танце, Алиса подружилась с девочкой, и стали они вместе играть, бегать повсюду. Я за ней хожу, чтобы не потерять. В итоге познакомился с мамой девочки. Она сидела вместе с родителями других детей на парапете у бассейна в темноте, и пила вино.

— Выпьете с нами? — предложила она, улыбаясь как-то по-детски застенчиво.

— Выпью, — кивнул я.

И я сел рядом с ними, как можно ближе, чтобы всё слышать. Разговаривал я в основном с этой мамой, звали её Мария. Она меня много расспрашивала, и пару раз коснулась моей руки.

В какой-то момент мне стало казаться, что между нами что-то есть и я решил взять её за руку. Но не успел.

— Привет, дорогая, — сказал кто-то сверху. — Пойдёмте купаться на море!

Вижу, стоит над нами мужчина в шортах и в солнцезащитных очках на верёвочке.

— Ты пришёл?! — воскликнула она с откровенным огорчением.

Дальше события разворачивались банально: мы с ним выпили бутылку виски в его номере, потом все вместе пошли на пляж, но по пути завернули в бар выпить пива. Там мы напились окончательно и поход на море не состоялся, что и хорошо, учитывая ночь, маленьких детей и большие волны.

Перед сном я вышел на балкон покурить. На соседнем балконе громко ругалась пара. Он что-то сердито шипел, а она защищалась:

— Это был просто флирт, это был просто флирт!

Саша

Вот заметила закономерность: он, когда входит в ресторан, почти не отвечает на приветствия официантов. Изредка улыбнётся и кивнёт кому-то из них, и то если тот прямо перед ним оказывается. А так проходит не спеша, смотрит куда-то поверх голов, и никого не замечает.

Сегодня на ужине опять то же самое было, он проплыл мимо официантов, за ним дочка скачет, а они засмеялись и говорят по-английски: «О, этот бог, он не видит простых людей!»

И гречанка молодая таким взглядом его проводила, что всё понятно, втюрилась.

Вот интересно он заметил, какая у меня фигура классная? Гречанка плоская совершенно.

Иван Андреевич

Сразу понятно, если между людьми возникает какая-то химия. Читал в этом году лекции по философии у программистов. Надо сказать, что это сложно — проводить занятия у технарей. Не потому что они плохо соображают в этой области. Ровно наоборот, я заметил, что в гуманитарной сфере они разбираются лучше, чем сами гуманитарии.

Сложно проводить семинары, обсуждать какие-то философские проблемы. И вот почему. Как происходит дело, скажем, на политологии или журналистике? Задаёшь вопрос. Тянется лес рук. И каждый отвечает подолгу, обстоятельно, хоть и не всегда по делу. Бывало, что дальше одного вопроса так и не могли уйти за весь семинар.

Что же у программистов? Задаю вопрос. Ребята переглядываются, кто отвечать будет.

— Давай ты, Лёха, — говорят.

— Ну, Алексей, — спрашиваю я, — что скажете по этому поводу?

— Да, — отвечает он.

И всё. Ну или «нет». То есть всё строго и по делу, без этого гуманитарного многословия и тумана.

На этом обсуждение и заканчивается. Один ответил, все молчат. Смотрят на меня внимательно. А у меня уже и вопросы к семинару закончились, не понятно, что делать дальше.

На том курсе была одна девочка. Да, девочка-программист, и очень сообразительная. Её звали Юля.

Мне кажется с первого взгляда между нами вспыхнул огонь. Ну не прямо огонь, пламя бешеное, а так, загорелась конфорка.

И вот однажды после занятий она дождалась меня и вышла со мной из здания, чтобы вместе пойти в метро. Там, у выхода, валялась бродячая собака. А Юля, как я узнал позднее, заботилась о бездомных собаках. Она подошла и стала с ней разговаривать.

Потом мы спустились в метро, зашли в вагон и сели, но так неудачно, что она села слева, то есть с той стороны, с которой я вообще не слышу. Мы поехали, стучат колёса, воеет поезд в туннеле, а она всё говорит и говорит что-то, но я вижу только как рот открывается и закрывается, и её вопросительный взгляд.

Что делать, я ей отвечал то «да», то «нет», стараясь по выражению её лица и по губам угадать смысл.

Не угадал.

Скоро в универе голосование за лучшего преподавателя. Я не рассчитываю, что меня выберут. Но всё равно от нечего делать стал смотреть, что студенты пишут в сетях. Про меня обычно часто, и ничего плохого ещё не видел. Много смешного. Как-то завели паблик, в котором постили фотожабы про наш с ними учебный процесс. Всё почти там было мило и забавно. Но вот одна меня немного смутила своей смелостью. На фото три девочки, кореянки. Они фенами сушат трусы под юбками. И подпись: «после пары по философии».

В общем, стал я смотреть опять, чего там пишут. И вдруг наткнулся на группу моих студентов, которые обсуждают преподавателей. И там моя студентка написала: «Да, что вы девочки! Он придурок и глухой! И гей!»

Я сразу покраснел и покрылся испариной — моя тайна раскрыта! Нет, не про сексуальную ориентацию. Я так разволновался из-за моей глухоты. Но смотрю дальше — никто вроде не поддержал её.

Сидел вечером у бассейна, у другого, там, где дискотека детская. Пил вино, курил, наблюдал за дочерью, как она играет с другими детьми. Она немного неуклюжая и стесняется танцевать. Кто-то сказал ей, что она плохо танцует. Это правда, но я пытался её переубедить, не вышло. Теперь она почти не танцует, только если со мной, и видно всё равно, что удовольствия не получает. Ей проще играть в свои игры.

Сиюю, думаю, что с этим делать. Я тоже был очень неуклюжий в детстве, и кажется до третьего класса вообще не умел бегать. И плохо играл во все подвижные игры. Только с годами я преодолел это. Ну как преодолел. Я научился делать вид и внушать другим, что это не так. А на самом деле, как был неуклюжий, там и остался.

Тут я заметил танцующего человека. Он танцевал метрах в пяти от меня, у самого бассейна, но из-за контрового света я видел только его силуэт. Даже если бы музыки вообще не было, а я её и слышал-то как-то раздроблено, то танец всё равно получался бы великолепный. Поразительная пластика была в его движениях, он как будто двигался в такт этой жаркой ночи. Я стал снимать на телефон его текущий силуэт.

Вскоре к нему подошла женщина и отвела его за стол, за которым сидели ещё несколько человек. Он неловко, как маленький ребёнок, опустился на стул. Он был в лифчике. Женщина, улыбаясь, сказала ему что-то. Он повернулся к ней, и я увидел его лицо: одутловатое, с широко расставленными глазами навывкате, с то ли детским, то ли слабоумным выражением.

Спустя пару минут эта женщина, наверно его мать, взяла его за руку и куда-то повела, непринуждённо с ним болтая. Вскоре она вернулась одна, села за стол и закурила. Лицо у неё было очень усталым. Она поймала мой взгляд и чуть кивнула. Я тоже кивнул и отвернулся в поисках дочери.

Видел у бассейна Марию и Михаила. Она разговаривала с ним, почему-то стоя не лицом к нему, а вполоборота. Во время разговора она дёргала ногами, то одной, то другой. Отвечает ему глядя в сторону и вдруг дрыг-дрыг, от икры до ягодицы.

Да, какие теперь женщины, думаю я, сидя в тени на лежаке у моря. Оно бирюзовое и тихое, небо без облачка. Вокруг много людей, в том числе девушек. Они ходят туда-сюда в разнообразных купальниках, занимаются детьми, болтают с мужьями и своими парнями, улыбаются, снимают бретельки чтобы спина лучше загорела, мажут друг дружку кремами.

Я смотрю на всё это с некоторой отрешённой печалью, как на нечто прекрасное, но не имеющее ко мне отношения и недоступное. Потому что все эти знакомства и разговоры, когда ты половину не слышишь, ни к чему хорошему не приведут. В беседах с девушками мой универсальный метод говорить на всё «да» не срабатывает. Потому что девушки умеют задавать коварные вопросы. Например, «у тебя есть девушка?», «ты женат?», «сколько тебе лет?».

А я киваю на всё и говорю: «да, да, да»

Ладно.

Моя дочь подружилась с мальчиком Степаном, он из Астрахани. Они купаются вместе в бассе и играют. Сегодня утром, когда я лежал у бассейна после завтрака, он подошёл ко мне и что-то сказал.

— Что-что? — переспросил я.

Он повторил. Я опять не понял. Он ещё раз повторил и снова я не понял.

Если бы это был взрослый, то я бы сразу ответил ему «да» и спокойно перевернулся бы на живот. Но с детьми так нельзя. Что ребёнок подумает, и кем вырастет, если в ответ на его вопросы взрослый будет отмахиваться каким-то «да»?

Поэтому я сказал:

— Извини не слышу, мог бы ты повторить громче?

И тут моя дочь проорала мне в ухо:

— Папа, он вызывает тебя на бой!

— В смысле? — растерялся я.

— В настольный!

Я немедленно встал. Что же, я неплохо играю. И поддаваться Степану не намерен, пусть будет честная игра.

Мы прошли к столу, взяли ракетки, и он начал подавать.

Играл он нормально, но я лучше. Дочь очень переживала и болела за меня, бегала вокруг стола и кричала:

— Папа, папа, какой счёт, ты проигрываешь?

— Нет, дочуня, всё ок, я выигрываю!

И вот тогда Степан в первый раз попал мячиком по лежащей неподалёку женщине. Мячик хлопнул её по заду и скатился между ног. Что же, она с моей стороны, мне доставать.

Я достал и извинился по-английски. Через пару минут Степан сделал тоже самое и заржал. Я снова достал мячик, опять извинившись по-английски.

Когда Степан в третий раз попал туда же, женщина поднялась, опередив меня, и я увидел, что это мама Степана.

— Ах ты мелкий засранец! — сказала она. — Я тебе жопу надеру!

Потом протянула мне мячик, а другой рукой сжала мою, и сказала:

— Очень приятно, Людмила!

— Иван, — ответил я, — и мне очень приятно...

И покраснел.

Саша

— Такой милый застенчивый молодой человек! — это мама про моего Аполлона.

— Ого, — удивилась я. — Он уже молодой?

— Сегодня пока ты в номере была, Стёпка играл с ним в теннис. Засранец трижды мне по жопе мячиком попал.

— Это молодой человек этот?!

— Нет, Стёпка.

— А чего это вдруг они в теннис играли?

— Он с дочкой его подружился.

— И тебе он понравился?

Мама только засмеялась в ответ.

Вот такой примерно у нас с ней случился разговор. А меня такая ревность охватила, я прямо вся не своя весь вечер была. То есть моя мама демонстрировала Аполлону жопу, пока я, дура, в номере сидела и о нём мечтала.

Кажется, так дурно мне никогда ещё не было. Я прямо живо всё это представила, как они на свадьбе целуются, а я не могу сдержаться, и реву прямо там. А он меня так мило спрашивает: «Саша, ты чего?» «Да ничего, соринка в глаз попала!»

Перед сном я не выдержала, к маме легла и спрашиваю:

— Мама, пообещай мне одну вещь.

— Какую?

— Ты никогда не уведешь у меня мужчину?

— Ты чего это вдруг? — захохотала она.

— Мама, просто пообещай! Даже если он будет сильно старше меня.

— А давай у тебя не будет мужчины сильно старше тебя?

— Мама, пообещай мне!

— Ладно, — смеётся она, — обещаю!

— Точно?

— Точно.

— Честное слово?

— Клянусь!

И я успокоилась. Всё-таки родная мама, не обманет. Я поцеловала её и спать пошла. Доброй ночи, мамулечка. И тебе, Аполлоша.

Иван Андреевич

— Однажды пришла девочка к волшебнику...

— Папа, а разве волшебники на самом деле существуют?..

— Ну, понимаешь, он был обманщиком. Гадал по руке, делал предсказания по звёздам, в общем зарабатывал деньги на несчастье и глупости других людей. Называл себя черным магом третьей категории, и говорил, что даже владеет искусством кладбищенского приворота.

— Это что?

— Я сам толком не знаю, но что-то про любовь. Любовь до гроба. Видимо. Так вот, пришла она к нему печальная, посмотрела на него с тоской и говорит:

— Волшебник, мне так грустно. Я подозреваю, что никакого волшебства в мире не существует. И что все мои любимые сказки — это не правда. И что жизнь совсем другая. И никаких чудес не бывает...

Волшебник, услышав это, вскочил из-за стола, так что его чёрная мантия заколыхалась и всякие зелья, стеклянные шары и свечи посыпались на пол, и закричал страшно:

— Ты что?! Ты что?!

— Папа, не кричи так, я боюсь!

— Хорошо, извини. В общем объяснил он ей, что она неправа. Он ей рассказывал, что чудеса существуют, что самое большое чудо — это возникновение Вселенной, в которой мы живём, и населяющих её миров, всяких живых существ, растений, животных, и, конечно, людей. Самое большое чудо — это как из ничего появилась ты, маленькая девочка, которая смотрит на окружающий мир, задаёт о нём вопросы, чувствует, любит и грустит... Это всё поразительно, непостижимо, это самое удивительное чудо из всех, что можно только себе вообразить! Ну а про то, что ты не видишь этих чудес, — сказал волшебник, сев обратно в кресло и отдышавшись, — то ты их на самом деле видишь. Они происходят прямо сейчас, каждую минуту, просто медленно-медленно. Нужны миллионы, даже миллиарды лет чтобы творилось волшебство...

На этих словах я заметил, что Алиса спит, уткнувшись носом в моё плечо. Я накрыл её пододеяльником, и тихонечко встал с кровати.

— Вань, — сказала мама, — ты бы лучше ей жития святых почитал.

Проснулся, сходил на завтрак и пошёл. Пошёл в город. Вот странно, но когда на улицах пусто, и тишина, и как будто время остановилось, мне очень хорошо гулять. Даже если жара за сорок, если продавцы все завесились шторами и спрятались в магазинах, и дороги раскалились и потрескались. А мне хорошо. Я иду по пыльному горячему асфальту, сквозь который всё же местами пробивается пожухлая трава. Солнце испепеляет всё вокруг, никого нет, и даже машины не ездят. В этот момент мне кажется, что я остался один в целом мире и иду по его руинам.

Гуляя я гулял, и вдруг понял, что похоже сейчас меня солнечный удар хватит, потому что был я без всякого головного убора. Остановился, осмотрелся по сторонам, вижу: тату-салон.

Я к ним зашёл, в тени немного побыть. Навстречу парень молодой, улыбочивый и обаятельный, как и все почти тут, руку пожал и альбом с татуировками предложил. Я из вежливости взял, стал смотреть. Спрашиваю: а можно временную сделать, а не постоянную? А то я не уверен так с ходом, хотел бы ради эксперимента поносить какую-нибудь.

Можно, отвечает, сделаем так, что месяц держаться намертво будет! Выбирай, какая нравится! Я альбом взял и стал листать. Много интересных было, и я чуть пару раз не сделал выбор. Но долистал до конца, и не зря — увидел вдруг её — девушку с пышными, вьющимися точно змеи, волосами.

— Где? — спросил он.

Я указал на левую грудь, над сердцем.

Меня усадили в кресло, налили виски, дали сигареты, и он приступил. Делал ловко и аккуратно, и быстро, только немного иначе, чем на рисунке, но так мне даже больше понравилось. Закончив, он снял меня на мой тел. Я посмотрел, тату вышла отлично, и по размеру в самый раз.

Саша

Аполлон сегодня на меня посмотрел. Это было у бассейна в баре. Он сидел за столиком один, пил пиво задумчиво и курил сигарету. О чём он думает? О чём-то неземном должно быть.

И тут он заметил меня. Взглянул и сразу отвернулся. Отвернулся и курит дальше. А я сижу и смотрю на него. Он опять на меня взглянул, тут уж я отвернулась. Ну и вот так дальше было ещё несколько раз, то он, то я посмотрим, и отворачиваемся сразу.

Потом вижу, и мама моя на него поглядывает. Я её сразу стала разговорами занимать, чтобы не смотрела на него. Появился Степан, ходил за мороженым в бар. Он мимо Аполлона проходил, тот ему руку протянул и говорит громко, на весь бар:

— Степан, привет!

Степан ему тоже руку, да только левую. Неуклюже вышло.

— Стёпка, — говорю я ему, когда он подошёл, — мужики не так здороваются.

— Я знаю! — разозлился он.

И тут вдруг Аполлон майку снимает. Ловко так берёт и стягивает с себя одним движением. А у него плечи такие, бицепсы и грудь, что это прямо как стриптиз выглядело.

Но вот стянул он майку, и вижу: на левой его груди татуировка. Вчера ещё точно не было. Но ладно, пусть, это даже идёт некоторым, я и сама хочу, только мама против. Но это была баба! Голова какой-то лохматой бабы!

Мне прямо поплохело.

Я сказала, что мне надо в номер, встала и на ватных ногах поплелась, думала, в обморок упаду. И зной ещё этот, печёт так, что дышать нечем.

Зашла в ванную, встала у зеркала. Смотрю. Волосы руками приподняла, растрепала сильнее. Ну а чем не я? Очень даже я. Похожа ведь!

Да не ты это, конечно, дура. А какая-то его любовь несчастная, по которой он тоскует!

Я повернулась боком. Надо завтра утром побежать.

Блин, а где моя грудь?! О боже, за что мне это?..

Иван Андреевич

Отправил маму с дочкой на пляж, а сам пошёл смотреть руины древнего города в нескольких километрах отсюда. Пошёл пешком, потому что люблю же всё это: пекло, безлюдно и тишина. Иду, вокруг никого. Потрескавшаяся земля, полное безветрие и зной как будто жужжит, хотя не жужжит ничего, это в голове у меня просто шумит.

Так я шёл около часа, пока не начались развалины. Их было много, огромная территория, усыпанная блоками, колоннами, кусками статуй и просто камнями. Были и частично сохранившиеся сооружения и даже вполне целый храм Аполлону. Ходил я почти один, только около античного театра я видел пару человек с фотоаппаратом, и всё.

Вот что делает реклама. Я бывал прежде в местах, представляющих меньший интерес и не таких древних, но с утра до ночи забитых туристами. В будни и выходные толпы стоят за билетами, чтобы посмотреть то, на что совершенно незачем смотреть, потому что ничего ты там не увидишь, не будучи каким-нибудь тонким специалистом в какой-то исторической или археологической области.

Это, конечно, эффект Джоконды. Все в Лувре идут на неё смотреть, делать селфи. Хотя она под толстым стеклом и за ограждением, так что близко не подойти и не посмотреть толком. Тем не менее все идут на неё смотреть и делать селфи. Половина населения Земли прёт в Лувр чтобы смотреть на то, о чём понятия не имеет. Потому что бренд.

Помню, я когда сам был Лувре во второй раз, очень негодовал. Бараны, — думал я, — стадо баранов! Ну что вы все прётесь сразу туда, минуя столько шедевров, и фоткаетесь с этой картиной, как будто в этом смысл вашей жизни и был — допереться до чего-то вам неясного, сфотографировать и умереть!

Это в крови у людей, — думал я, сразу после касс поднимаясь по лестнице к галерее итальянской живописи, — поклонятся неизвестному. Упал метеорит, произошло извержение или ещё что-то такое из ряда вон, и наши предки обожествляли всё это и начинали паломничество...

Механизмы тут схожие, — продолжал я размышления, торопливо минуя фрески Боттичелли, — главное, чтобы была неизвестность и мощностный эффект, который часто достигается простой раскруткой. Нужна не просто популярность, а ещё мистический бред...

Я зашёл в зал с Джокондой. Как и ожидалось, толпа вокруг неё, все делают селфи. Я с трудом пробрался сквозь тела, кого-то растол-

кал, кого-то попросил отодвинуться, и оказался на максимально допустимом расстоянии от картины. Повернулся спиной, достал телефон, улыбнулся и сделал селфи.

Так вот я ходил по развалинам и упивался солнцем. По массивным, источенным ветрами, стёртыми многими ногами и задами камням древнего театра, присаживался, смотрел по сторонам, и ощущал дыхание времени. Странное ощущение, что вот здесь, где сейчас лежит моя рука, возможно, лежала ладошка гетеры, и запястье в кольцах, и вздёрнутый носик, и порочный взгляд...

Меня пробила дрожь. Я встал и побрел дальше, сквозь ослепительный свет. Спустился вниз, к святилищу Аполлона. Что же, в самом деле, сохранился неплохо! Несколько целых колонн, кусок жертвенного алтаря (что за вандалы его разбили?), потрескавшиеся, с отколами плиты. Самого Аполлона нет, его либо унесли, либо разрушился давно. Но можно понять, где была статуя. Да вот в этом самом месте, где я сейчас стою, на этом постаменте очевидно.

Медленно обходя Святилище, я вдруг заметил на его стене, в нише, следы фрески. От неё почти ничего не осталось, кроме едва краснеющих контуров. Долго я вглядывался в эти еле уловимые следы прошлого, и чем дольше смотрел, тем больше убеждался, что когда-то здесь был профиль женщины.

И собрался идти уже в отель, как увидел на поваленной колонне женскую одежду. Аккуратно сложенное платье, шляпка, трусики, и рядом туфли. Я замер и огляделся по сторонам. Никого. Только песок, камни и вдалеке море. Я постоял некоторое время, думая об этом. Но ничего не придумал и пошёл в отель.

Саша

Ну вот опять. Сидят они в баре. Он, его мама и дочка. Дочка вскакивает вдруг, подбегает к нему, обнимает за шею и целует в нос. И говорит громко:

— Папа, я тебя люблю!

Тут мать его ещё громче:

— Как мило! Как мило!

Чего они так орут на него? А он не реагирует. Привык наверно. Просто кивает. Может у него мама с дочкой глуховаты? Я читала, что, когда люди слышат плохо, они начинают громче разговаривать.

А Аполлон обнял дочку, поцеловал в макушку и сказал тихо:

— Я тоже тебя люблю, доченька.

Иван Андреевич

Вёл я себя шумно, много смеялся и говорил. Чего, не помню. Миша не отходил от Людмилы, а я в какой-то момент понял, что стою, держа его жену, Марию, за руку.

Потом мы вдруг разошлись. Внезапно было решено, что все идут спать. Мария со своими детьми куда-то пропала, Миша остался с нами. Мы долго плелись по набережной в отель, и на ней не было ни души. Миша, хоть и был пьян, не уставал развлекать Людмилу. На полпути каким-то образом её рука оказалась в моей. Моя дочь подбежала с другой стороны и тоже взяла меня за руку. Потом стала ныть, что устала и просится на руки. Я её взял. Сестра Степана шла впереди довольно быстро.

Когда мы пришли в номер, мама ещё не спала. Отлично, я передал ей дочь чтобы она почитала на ночь и уложила её спать, а сам вышел на балкон покурить. Встал, достал сигареты, зажигалку. И тут слышу:

— Сучка! Шлюха!

И звонко: шлёп! Шлёп!

Ну думаю, раз я разбираю слова, значит, совсем рядом это. И в самом деле, перегнулся через бортик, и вижу на соседнем балконе Михаила и Марию. Мария в ночнушке стоит у края, наклонившись и держась руками за бортик. Попа у неё обнажена. Сзади совершенно голый Михаил с размаху хлещет её ладонью по ягодицам.

Шлёп! Шлёп!

— Ты меня любишь? — спрашивает он.

И опять: шлёп! — сильно так, что у меня даже мурашки по телу, как будто это он меня.

— Отвечай, шалава! — шипит.

— Да, — шепчет она, — да! Я очень тебя люблю, милый!

Я пошёл в свою кровать, лёг на правое ухо и накрылся одеялом. Я устал, был нетрезв и очень хотел спать. Что же, подумал я, а день прошёл не так уж плохо! Я подержал за руки двух женщин, которые мне нравятся.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Саша

Господи, неужели я тоже стану такой? Буду вешаться на всех мужиков? Сначала эта, не хочу даже знать, как её зовут, а потом и моя мать! Мама! Ты что творишь?! При живой дочери!

Но ему—то это зачем?!

А я всё время была рядом с ним, и он даже не посмотрел на меня. Я уж набралась смелости как могла, и спросила его:

— Вам нравится здесь еда?

Он не то что голову не повернул, а вообще никак не отреагировал.

Ну понятно, дура, спрашиваю какой-то бред! Нравится ли ему здесь еда? Хорошее начало романтического знакомства. Спросила бы ещё, почём он купил шорты и где.

Ох. Ну я маленькая ещё, не знаю, о чём говорить с ними...

Боюсь, я так и не усну сегодня.

И всё это крутится и крутится в моей голове, и я ничего поделаться не могу. Понимаю, что бред, но меня не отпускает. Как будто я совершила какую-то непоправимую ошибку. И самая неприятная мысль — а вдруг он ждал от меня чего-то? Ну, например, что я его за руку возьму. Шёл и ждал. И когда я про еду заговорила, улыбнулся разочаровано, типа, эх ты, дура мелкая! И ушёл в магазин. Я тогда испугалась, что он вообще ушёл. Но вернулся. Лучше бы не возвращался, не видела бы я тогда этих ручек-хренучек.

Уже не раз замечала, что вокруг Аполлона летают бабочки. Не то чтобы прямо стаями порхают, но вот одна или две нередко вьются где-нибудь поблизости. И садятся на него. На голову, не плечи, на ноги, если он лежит. Кажется, он так к этому привык, что и не замечает. Я их очень редко здесь вижу, только там обычно, где Аполлон. Даже случай недавно такой был — шла мимо кафе, и смотрю вдруг — над столиком витает красная пара.

Я прямо заволновалась, сердце забилось чаще, уверена была, что там Аполлон, подошла сразу ближе. Но нет, нет его, ошиблась.

И вот сегодня у бассейна. Он похоже спал. Книжка рядом на полу, рука висит, рот чуть приоткрыт. А над ним сразу три бабочки порхают. Иногда садятся на него, потом внезапно взлетают, сблизаются, меняются местами, и опять садятся. Было чем-то похоже на операцию, которую делает робот.

— Гляди, — говорю я брату, — дядя Ваня-то опять весь в бабочках.

А Стёпка в планшет смотрит и ему плевать, даже если бы я сказала, что там не бабочки, а инопланетяне.

— Наверно, — говорит, — вином облился! Бабочки любят сладкое!

— Дурак, — говорю, — вино было бы видно!

— А он белым облился.

— А здесь не наливают сладкое, а баре только сухое!

— Значит, в магазине взял, — не унимается Стёпка.

Я разозлилась, так разозлилась, что чуть планшет у него не вырвала, но успокоилась всё же, поняла, что он просто меня троллит, гадёныш.

И правда, он вдруг спрашивает:

— А ты чего, втюрилась в него?

— Дурак ты, Степан! — строго сказала я.

А сама переживаю. Как бы он не сгорел Аполлон, ведь не под тентом лежит, а прямо на солнце, да ещё полдень. Можно и удар получить, и вообще — на такой-то жаре.

— Стёп, а Стёп?

— Чего?

— Хочешь евро?

— Ну? — отвлекался он от планшета.

— Иди, толкни дядю Ваню как-нибудь случайно, чтобы проснулся, а то сторит он.

— А сама чего не толкнёшь?

— Я же девушка! Неприлично! Что он подумает? Да и люди вокруг.

— Ладно, — вздохнул он. — Пять.

— Чего пять?

— Евро.

— Гад. Нет у меня. Два.

— Клянёшься?

— Блин, Стёп, ну когда я тебя обманывала?

— Господи, да миллион раз!

— Ладно, клянусь.

— Ну хорошо. Только если он пьяный, я не виноват.

Он отложил планшет и лениво поднялся.

— И всё-таки ты втюрилась.

— Или в жопу! — не выдержала я.

Он босыми лапами прошлёпал по периметру бассейна к лежаку Аполлона и склонился над ним. Помахал руками, бабочки взлетели. Он заулыбался, стал ждать, когда снова сядут. Посмотрел радостно на меня. Я тут из себя совсем вышла, показала ему кулак. Он плечами пожал и как двинет пяткой по лежаку. Аполлон тут же проснулся. Очки снял, смотрит растерянно на Степана. Встал и пошёл куда-то чуть покачиваясь.

Иван Андреевич

Взял вино, сел. Сел, да не туда, потому что заметил (да и то не сразу), что на столе передо мной лежит раскрытый ежедневник. Хороший такой, красивый. На развороте даты и под ними текст от руки.

«Боже, какое он ничтожество, — прочитал я. — Мелкое, беспомощное, отвратительное ничтожество. Он воображает себя кем-то, бредит о своей значимости, весь полон нелепых амбиций. И даже не представляет как он в действительности жалок!»

Я видел не раз, как дочь матери Степана что-то пишет в блокноте. Это её дневник, — внезапно понял я. И написано тут не про меня ли?

«И эта его постоянная озабоченность другими женщинами, всё время думает, как бы затащить какую-нибудь бабу в постель!»

Боже мой! Но это всё же не совсем так...

«Фу, он бреет свою грудь, считая себя немислимым красавцем! О, как же он отвратителен!»

Хм! Один раз было, и очень давно...

— Простите! — это была Мария. Она смущённо улыбнулась и взяла со стола дневник. — Я забыла случайно.

— А... — ответил я. — Я не читал.

Она слегка порозовела. Ей это шло. Он продолжала стоять и смотреть то меня, то по сторонам.

— А скажите, пожалуйста, — вдруг детским, не своим голосом спросила она, — вы не знаете, сегодня море тёплое?

— Не знаю, — ответил я.

— Спасибо, — отчего-то с придыханием ответила она, снова улыбнулась и ушла, крепко прижимая к груди дневник обеими руками.

Саша

Папа ушёл два года назад. Он правильно боялся, не надо было меня оставлять. Мне пришлось трудно, и маме тоже. Со мной стало случаться то чего бы ни за что не случилось, будь он с нами.

Вот фотка, ей всего три года. Я тогда свернула шею (вообще глупо, просто во сне!) и меня положили в больницу на вытяжку. Я лежу с какой-то дурацкой повязкой под подбородком, а рядом папа сидит. Спокойный, большой, сильный.

А потом всего за пару месяцев он превратился в тощего, испуганного и слабого.

Сегодня кончились духи, которые он подарил мне в последний раз на мой др. Они такие чудесные! Я надушилась ими в надежде, что Аполлон обратит на меня внимание.

Конечно, я знаю, будь ты жив, ты бы не допустил чтобы я залипала на мужика в возрасте! Но ведь и ты, когда встретил маму, был старше примерно на столько же! И если бы она за тебя не вышла, у вас не появилась бы я!

Иван Андреевич

Однажды студенты решили взять у меня интервью для какого-то университетского издания. Подошла после пары девушка, с крашенными волосами, проколотыми ушами, губами и носом, и спросила меня:

— Иван Андреевич, дадите нам интервью?

— Да, — ответил как всегда я.

Но тут я правда услышал, о чём меня спросили.

И вот наступил день, на который мы договорились об интервью. Она пришла с подружкой, та снимала меня на телефон, а эта задавала вопросы.

— Иван Андреевич, расскажите, пожалуйста, как вы...

И тут вдруг началось. В моей голове загудело, зашумело, и вот уже покатали огромные волны, с грохотом разбиваясь об истерзанный берег.

И хотя студентка стояла совсем близко, я уже слышал не обычное «бубубу», а как будто реликтовое излучение: хрррр, ззззз, тр-тр-тр, ззззз...

Это было ужасно. Я почувствовал, как похолодело моё тело и выступила испарина на лбу.

Тем не менее, дождавшись окончания вопроса, я стал отвечать. Отвечал я долго, чтобы мой ответ мог покрыть все возможные темы. Девочки снимали и кивали.

Потом последовали ещё и ещё вопросы, а буря тем временем потихоньку стихала, и вот вскоре уже небо расчистилось, и запели птицы, и я так им обрадовался, что невольно стал улыбаться, и девочки тоже, видя мою улыбку, не удержались и стали улыбаться в ответ.

— Спасибо! — сказали они, когда всё закончилось. — Это было самое крутое интервью в моей жизни!

Но бывало и не так удачно. Идёт как-то лекция. Я размахиваю руками, рассказываю им что-то экстраважное. Я воодушевлён и вдохновлён.

И тут вижу, кто-то из студентов кричит мне что-то. А я не понимаю, что. Пытаюсь понять, уловить, напрягаю изо всех сил слух, но всё бесполезно, слух меня не слушается.

Только волны за окнами аудитории, бьются о стены, плещутся, и шелестя стекают по стеклам. Ну и птицы, конечно, переливаются, поют сразу все вместе как обычно, так что и не поймёшь, какие именно это птицы.

Ладно, я делаю вид, что понял, отвечаю что-то и продолжаю лекцию.

Но студент не успокаивается и снова мне кричит.

Я улыбаюсь ему, говорю: «да-да, хорошо» и продолжаю лекцию. Тут я замечаю, что все смеются и уже хором кричат мне что-то.

Он напряжения я краснею и совершенно уже не понимаю, что делать.

И тут происходит чудо. Я вдруг отчётливо и ясно слышу в самое ухо тихий женский голос:

— Включи свет, идиот!

Тогда я пошёл к выключателю и включил свет, и студенты успокоились. И продолжил лекцию.

— Свобода — это когда ты можешь делать то, что хочешь, — говорит Михаил. Он смотрит куда-то вдаль в тёмных очках, верёвка от них висит между лопаток. Он держится за перила, выражение серьёзное.

— Был такой философ, Жан-Жак Руссо, — говорю я, — так вот он считал, что свобода наоборот заключается в том чтобы не делать то, что ты не хочешь делать.

Михаил помолчал, воспринимая сказанное.

— Неплохо, — кивнул наконец он.

Голос у него сиплый, как будто надорванный.

— А кто он по жизни был, этот Руссо?

— Ну, если честно, то довольно стрёмный мужик...

— Так я и думал, — опять кивнул Михаил. — Философы все стрёмные. Либо наркоманы, либо геи.

Я невольно крикнул от удивления, но он не обратил внимание.

Слева стоит Мария с детьми. Она молчаливо и задумчиво смотрит в море, и лицо у неё такое безразличное, как будто ей неинтересно ничто на свете. Справа Людмила, её сын Степан и её дочь. Дочь вдруг говорит:

— А я думаю, что свобода заключается в том, чтобы делать то, что должен делать. А не следуя инстинктам, как животное.

Она сказала это немного дерзко.

— Хм, — усмехнулся Михаил, — умная какая!

Я заметил, что она смотрит на меня, как будто ожидая чего-то.

— Да, умница, — похвалил я. — Только это вот сложное самое — делать то что должен! Тут уже и не поймёшь, где свобода, где рабство...

— Ещё бы понять, кому должен, — добавил Михаил.

Были на море сегодня. Дочка с сачком бегала, крабиков искала. Мама на лежаке под тентом. В широкой шляпе и чёрном закрытом купальнике. Она в хорошем расположении, читает «Вишнёвый сад» Чехова. Иногда покачивает головой и говорит: «Да».

Я стою под палящим солнцем под чистым небом, волны обтекают мои ноги, и уносят песок из-под них. Ступни уходят всё глубже.

Море вдали как обычно — ярко бирюзовое.

— Папа, — хнычет дочь, — ну помоги мне крабика поймать!

С ней бегают два мальчика, её ровесники, они делают вид, что хорошо разбираются в крабах.

— Вон там они, вон там они всегда! — кричат они, прыгая между камней.

— Вот здесь большой!

Я не верю им и начинаю переворачивать булыжники, лежащие на берегу. Малюсенькие крабы, ждущие под ними вечера, разбегаются в стороны.

— Ловите! — кричу я.

Дочь бежит с сачком, эти двое с ней.

Им удаётся собрать несколько штук. Попав в сачок, они сначала пытаются выбраться, потом замирают. Мы сажаем их в ведёрко и ставим в тень.

— Огромный краб, огромный! — кричит мальчик.

— Папа, скорее сюда!

Я не верю, но иду по острым и скользким камням к ним. И правда, в камнях поглубже, в чёрной норке, заросшей чем-то бурозелёным и заливаемой прибоем, я вижу большую клешню. Залезаю в воду, хотя мне немного страшно — вдруг он меня тяпнет за мизинец? Забираю сачок у ребят и древком пытаюсь выковырять краба из его пещеры. Он забивается глубже, но я не отстаю. Вдруг он выскакивает и стремительно бежит по камням.

Дети начинают орать, я тоже.

— Папа, папа! Лови! Убежит!!!

— Папа девочки, ловите же! Ловите! — кричат мне мальчики.

Я тоже чего-то кричу.

Мне удаётся накрыть его сачком. Он запутывается, я переворачиваю его и выношу на берег, потом бросаю в ведёрко. Их порезанной ступни льётся кровь, но я не обращаю внимания, я доволен собой.

Люди на пляже собираются посмотреть. Подходят греки, русские, немцы. Среди них Людмила, Степан и её дочь. Она улыбается и делает большие глаза:

— Ого, какой милый!

— Это мой папа поймал! — громко говорит дочь, оглядывая собравшихся.

— Это мой папа поймал! — повторяет она.

От гордости я невольно распрямляю спину и принимаю какое-то особое выражение лица.

Тут сквозь толпу пробирается пожилой грек. Он берёт ведёрко, подходит к прибою и выбрасывает краба в волны. Потом ставит ведёрко на песок и, не глядя на нас, уходит.

Саша

Аполлон ловил сегодня крабов. Как ловок, быстр и виртуозен он был! Я бы сравнила его с дирижёром. Вокруг него стаями метались дети, визжали от восторга и я всё боялась, что он раздавит кого-нибудь из них. Неподдалёку лежала его мать и, отложив книгу, наблюдала за происходящим с улыбкой. Сразу видно, что она хорошая женщина, добрая, очень любит сына и внучку.

Он поймал краба, огромного с одной безобразной клешнёй. Во время прыжков по скалам Аполлон стопу порезал. Кровь пошла, окрасила песок, но прибой уносил её в море. Я слышала где-то, что акулы чуют кровь за многие километры. И теперь стояла и как дура боялась, что подплывёт какая-нибудь акула. Я прямо запаниковала. «Выйди! Выйди из воды, пожалуйста!» — кричала я про себя.

Наконец он вышел и я вздохнула с облегчением, но кровь всё шла. Как жаль, что я не могла перевязать ему ногу! Хотя что-то сделать! Я подошла ближе поглазеть на краба, встала совсем рядом, но Аполлон меня даже не заметил.

А потом появился какой-то дядька почти чёрного цвета, взял краба и выбросил его в море! Видели бы вы лица детей. Дурак! Крабов же едят! Сам небось ест, защитник животных хренов!

Я знаю, где он теперь живёт. Я вычислила: третий этаж в основном корпусе, где самые комфортабельные номера. Снизу видела: поднявшись, он повернул направо. Меня он не заметил. Шёл чуть покачиваясь, но мне не показалось, что пьяный. Говорил сам с собой.

— Да? — спрашивает.

И отвечает сам себе:

— Да.

Потом опять, наверху:

— Да?

— Да.

Пикнул электронный замок, хлопнула дверь.

И меня вдруг охватила такая тоска! Как будто я осталась одна в целом мире. Он стал холодным, пустым и одиноким. И так поплохело от этого чувства, что я схватилась за каменные перила, лишь бы чувствовать какую-то опору.

Мимо проходили ребята, мексиканцы. Они быстро говорили, смеялись, размахивали руками, хлопали друг друга. Один из них увидел меня, посмотрел и улыбнулся ослепительно. И ушёл, а я глядела им вслед.

Потом я встала с той стороны, куда выходит балкон Аполлона. Я не знала точно какой балкон его, их там было три, но решила, что тот, который посередине. Я спряталась между пальм, за каким-то большим кустом, чтобы меня никто не видел, и ждала, когда он появится.

И вдруг я услышала голоса. Мужской и женский, сверху — с одного из балконов.

— Ты за идиота меня принимаешь? Думаешь я не замечаю, как ты на него пялишься? Точно говоришь ему: я на всё готова!

— С чего ты взяла? — тихо-тихо доносится её ответ.

— Давай, вставай!

Какое-то время тишина. Я замерла и прислушалась.

Потом вдруг звонко: шлёп! Шлёп! Шлёп!

И женский глубокий стон: аааах!..

— Сучка! — мужской голос. — Получай!

Шлёп! Шлёп! Шлёп!

— Любишь меня? Говори давай: я так люблю тебя милый!

— Я так люблю тебя милый! — покорно отвечает она.

Шлепки закончились. Началось пыхтение и неразборчивый шёпот. У меня всё похолодело внутри. Я даже стала быстро ходить туда-сюда по газону. Потом взяла себя в руки и остановилась.

Это не может быть он! — убеждала я себя. — У него же мама и дочь! Это точно не он!

К себе вернулась в расстроенных чувствах, такая усталая, как будто марафон пробежала. Мама спросила, чего я бледная, не пила ли чего. Да уж лучше бы пила!

Потом лежала и думала долго: как эта женщина позволяет к себе такое отношение!? У меня никогда не будет такого. Никогда!

Иван Андреевич

— Как ты знаешь, Алиса, в будущем будет много-много очень умных роботов. Они будут, скажем так, абсолютно умны.

— Это как?

— Ну, они будут как бы руководствоваться только своим совершенным умом, у них не будет чувств, эмоций никаких, наших обычных человеческих желаний. Понимаешь, вот мы, например, любим, боимся, нам бывает больно, бывает грустно. Сам себе говоришь иной раз, ну чего ты грустишь, это же глупо! И всё равно грустишь, потому что ты человек. А у роботов все иначе. Они не испытывают всех этих чувств. У них все подчинено голове. Поэтому они не совершают ошибок, они не делают ничего в порыве страстей, просто потому что хочется. Ну как ты например «хочу-хочу-хочу!» А они ничего не хотят и никогда не капризничают. Они делают только то, что наиболее правильно, то есть разумно. Всегда. Короче, мудрецы.

— Вот это да...

— Да. И вот, однажды девочку, которая победила инопланетян, пригласили к самому умному роботу, знаменитому на весь мир. Он был настолько умён, что знал лучше всех, что хорошо, а что плохо, как надо поступать в этой ситуации, а как не надо. Поэтому люди избрали его Президентом.

— Ого!

— Да. И вот, пригласил он эту девочку чтобы исполнить любое её желание в награду. Пришла она к нему, а он и спрашивает: чего ты хочешь?

А она ему:

— Я хочу чтобы люди не умирали. Обещаешь?

— Без проблем, — ответил он, так как обещал исполнить её желание.

— И что? Люди больше не умирали?

— Нет, конечно умирали по-прежнему.

— Он что же, обманул девочку? Он же самый умный!

— Да, обманул. Именно, поэтому и обманул, что самый умный. Дело в том, что честность, мораль — это всё люди придумали. Для совершенного ума этого не существует... Для него что обмануть, что сказать правду всё одно, в каждой ситуации он просто выбирает, что с его точки зрения рациональнее — правда или обман. Да и сама подумай, куда девать новых людей, если старые не будут умирать? Места не хватит на Земле, еды тоже... И вообще он хоть и самый умный, но не волшебник, такие чудеса творить...

— Но ведь девочка расстроилась, что её обманули!

— Да, но роботам-то всё равно. С точки зрения идеального разума это всё не имеет значения. Поэтому люди, видя, как девочка плачет, взяли и разобрали всех роботов на части. «Не хотим, — сказали, — жить по уму». И назначили девочку своей королевой.

— Ух ты!

— Тут правда не пойми что сразу началось, потому что она те ещё указы стала издавать! Вроде: «С сегодняшнего дня всем запрещено умирать! За нарушение — смертная казнь!»

— Хахаха!

— ... но это уже другая история. Давай спать. Спокойной ночи, королева.

— Спокойной ночи.

Лежал с утра у бассейна, читал книгу. Я люблю так: в одиночестве, никого нет, пустые лежаки и стулья, а небо уже голубое и яркое, залило всё своим утренним жёлто-розовым светом.

Тепло, спокойно и тихо. Так странно выглядит отель без людей. Лес без людей выглядит нормально, а вот отель, улица, метро — нет.

Я это люблю. Я ложусь на лежак и улыбаюсь: мир прекрасен, и сделанное в нём людьми прекрасно — особенно когда их нет.

Ближе к завтраку стали собираться люди. И семья Людмилы пришла. Расположились они прямо напротив меня, по ту сторону бассейна. Степан предложил сыграть в настольный, но я отказался, посоветовал ему подождать мою дочь. Мать его легла как обычно на лежак под зонтом с книгой. Сестра Степана села на свой лежак с телефоном. Была она в лёгком купальнике, широкой соломенной шляпе и тёмных очках. Села, ноги в колготках согнула, руки на животе сложила и хмуро в экран уткнулась. Так она и просидела час, в телефоне.

Потом подошли мои. Позавтракали, мама заняла лежак рядом со мной, дочь побежала сразу играть со Степаном. Солнце набирало мощь, и я стал покрываться потом. Ушёл бы гулять, но не мог заставить себя встать.

От нечего делать паялился на сестру Степана почти до самого обеда и совсем не читал книгу. Один раз, поймав её взгляд, я ей улыбнулся.

Потом она мне улыбнулась.

Потом опять я.

Потом мы одновременно.

Так и провели время до полудня, делая вид, что читаем.

На обед я шёл в отличном расположении.

Саша

Каждый раз когда это наступает, состояние гадкое. Во-первых, я становлюсь страшной. Бледнею, даже зеленею, круги под глазами появляются. Мама считает, что со мной всё в порядке, но мне так не кажется.

Я как будто превращаюсь в оборотня. У меня ужасно обостряется обоняние и я за десять метров чувствую как пахнет изо рта у Стёпки. Если у кого-то не свежие носки, кто-то не помылся с утра или ходит в потной одежде, то меня буквально тошнит. Я не нахожу сил терпеть, зажимаю нос и по возможности ухожу прочь.

В такие дни я ненавижу этих людей. Я хочу их убить.

Говорят, что такое же бывает, когда беременная. Когда у меня это только началось несколько лет назад, я всерьёз боялась, что залетела. Хотя у меня никого никогда не было и я до сих пор девствен-

ница. Но всё равно, думала, а вдруг — как-то? Я же целовалась с Са-ней... О, Господи, пожалуйста, только не это, что я скажу маме? Дура, кто же от поцелуев беременеет? Ладно, ладно, подожди пару-тройку месяцев, всё станет ясно однозначно! Но это так долго! Крепись, держись... Но это же так тяжело — ждать!

Короче в моей детской головке творился полный бред. Причём, как назло, это совпало с папиной смертью.

Ладно. Вышла, легла на лежак. Солнце больно слепит, душно, потно. Полный дискомфорт. Ещё кажется и от меня самой пахнет. Только легла, Степан привалился ко мне. Холодный, мокрый, погреться. Я так разозлилась, что чуть по голове ему не дала телефоном. Но сдержалась: спокойно объяснила, что он мне мешает. Ушёл к маме, правда, повторять пришлось три раза.

Бог видит какая я терпеливая и воздаст мне на том свете.

А напротив, через бассейн, возлежал Аполлон с книгой. Правая нога согнутая в колене, левая рука в локте и убрана под голову. Икры и бедра, плечи и грудь, бицепсы — не оторваться. В очках чёрных, плавки небесные, читает какой-то фолиант. Он конечно не от мира сего, не похож на простых смертных. В нём столько грации и изящества.

А улыбка у него совершенно очаровательная. Он иногда голову от книги поднимал и улыбался душевно так, тепло. Вот бы узнать, что он читает!

Иван Андреевич

Сегодня возвращался с моря в отель, так заблудился, пошёл не в то здание, и не мог найти свой номер. Перегрелся. Хожу, хожу, не понимаю, вроде всё так же: перила те же, коридор, двери... Только потом сообразил, что вид-то с лестницы не тот совсем. В общем, не туда пошёл, а до моего комплекса ещё метров двести надо было. Стал спускаться и в коридоре второго этажа увидел сестру Степана с семьёй. Они не могли попасть в номер, прикладывали карточку, шумели, смеялись, а дверь не открывалась. Меня они не заметили.

Так я узнал, где живёт она. И это знание сослужило мне плохую службу.

После ужина, выпив вина хорошо, я пошёл искать её балкон. Залез в какой-то газон, ударился челюстью о пальму, уронил телефон в траву. В полной тьме как-то нашёл. Стал высматривать, куда выходит её номер, а балконов на стене куча. Ясно, что где-то посредине, а какой именно — не понятно.

Отошёл назад, чтобы окна лучше видеть и приложился спиной к огромному кактусу. Отскочил, опять телефон уронил.

Нашёл телефон, из газона вылез, пошёл в отель.

Почему-то по дороге вспомнил, как Лев Толстой прямо накануне смерти ушёл из дома — в который уже не вернулся. С ним тоже какие-то неприятности происходили, то шапку потеряет, то в трёх снах заблудится, то ещё что.

Пришёл в номер, там дочь:

— Папа, папа, включи компьютерную на ноуте!

— Сейчас, моя птичка.

— Ой, папа! Что это у тебя за иголки в спине? Ты что, на дикобраза упал?

— Нет, это я превращаюсь в дикобраза.

— Не надо! Я за дикобразами я ухаживать не умею!

— Пошутил я, дочка. Всё хорошо, на кактус просто упал.

Перед сном, когда мы лежали в постели и читали книжку, она посмотрела на меня задумчиво и спросила:

— Пап?! А чем дикообразов кормят?

Саша

Вчера ночью под балконом какой-то пьяный потерялся в газоне. Шатался там, стонал, ругался. Отчётливо слышала: «Твою мать!» Русский. Сразу как будто оказалась дома.

Перед завтраком долго стояла у входа в ресторан, ждала, когда Аполлон появится. Хотела сказать ему «привет». А его долго не было как назло. Моя мама два раза посылала узнать чего я не иду. Пришли уж его мама с дочкой, а его все не было. Я даже переживать стала, не случилось ли чего? Вдруг улетел по каким-то срочным делам?

Пришлось идти к своим, а то уже и завтрак к концу. Только села, вижу — идёт! Я прямо подскочила.

— Ты чего? — мама удивилась.

— Ничего! Пойду за едой!

Встала, взяла тарелку, пошла накладывать. Как раз туда, где он себе накладывал. Набралась смелости, прямо к нему подошла.

— Здравствуйте! — говорю. Вместо «привет», как собиралась, но вдруг испугалась чего-то.

— Привет, — улыбнулся он.

Иван Андреевич

Вот сижу я, пью вино после обеда, над головой замерший тент, не шелохнётся, и сквозь ткань виден огромный расплывшийся шар. Мои ушли в номер, они обе приболели, наверно акклиматизация. Мама будет читать Иван Шмелева, дочь смотреть мультики на ноуте. Мама против мультяков, она считает, что это бессмысленное зло. Она пыталась читать дочке Ивана Шмелёва, но той неинтересно. Дочь любит детские книжки, но не такие, где про мойдодыры, коромысла, самовары, сени, чугунки да печи. С таким же успехом можно ребёнку псалтирь на церковнославянском читать. Она современные любит. В общем, бабушка лежит читает, внучка смотрит мультики, они болтают о чём-то, делятся жизненным опытом, едят конфеты и чипсы, и им хорошо.

Увидел дочь Людмилы. Все без исключения молодые люди здесь плятятся на неё. Ну так, завуалированно. Потому что у иностранцев вообще это не принято — плятиться. Они если и смотрят на тебя, то

только по делу и всегда улыбаются, поймав твой взгляд. Но всё равно, я вижу, что они смотрят на неё. Болтая друг с другом, лёжа на пляже, играя во что-то у бассейна, они так или иначе бросают в её стороны распалённые солнцем взгляды.

Потом она пошла играть с ними в волейбол. Там были ещё две девушки, а остальные парни. Девушки высокие, в самый раз для волейбола. А она небольшая. Но играла отлично.

К ней постоянно обращался один парень из вражеской команды, красивый мексиканец. Улыбчивый, с длинными ресницами, как крылья у бабочки. Она ему отвечала весело, наверно хорошо знает английский.

Саша

Когда папа умер, все стало не очень. Продали машину, денег постоянно не хватало, и я пошла работать, торговать хот-догами в палатке. Покрасила волосы в красный цвет, стала курить с ребятами. Спортивную акробатику пришлось бросить. Это вот самое обидное, мне совсем чуть-чуть оставалось до мастера. Но куда уж там, денег в семье не было совсем, а впереди экзамены, поступление.

Училась я всё равно отлично. У меня красный диплом и золотая медаль. Для ЕГЭ ходила к репетиторам, готовилась много самостоятельно и ещё планировала поступать в военный университет. Так что спортивную форму я сохраняла. Бегала каждое утро или вечер, стреляла в тире, сама тренировалась как могла.

Написала ЕГЭ. Вообще я очень верила в себя. Думала, что готова неплохо. Планировала разные варианты в Москве и Питере, очень приличные универы. Один за другим пришли результаты экзаменов — все средние. Но я всё равно не теряла надежды и подала документы куда хотела, надеясь на удачу.

В общем, я не попала никуда. Меня не взяли. Что было, когда я маме сказала! Она рыдала, и всё причитала: «За что мне это? За что мне это?» Как будто она главная несчастная в этом деле. И сказала мне даже в тот вечер, когда выпили мы с ней вина: «Всё ты Саша просрала, спорт, и здоровье, и жизнь!»

Мне очень обидно было тогда, и я ушла. Пошла бродить по улицам ночью. Даже надеялась, хорошо бы меня машина сбила или изнасиловали, вот тогда мама пожалела бы о своих словах!

Но ничего, на следующий день она отошла. Решили с ней, что буду работать официанткой в кафе и готовиться к повторной сдаче ЕГЭ в следующем году. Но это легко сказать — готовиться... Как сказала мама: «готовься, тебе же в армию не идти!» Звучало не очень, учитывая что я как раз именно туда и хотела.

Иван Андреевич

— Жил-был на свете один очень плохой, ужасный, злой человек. Тиран.

— Кто?

— Тиран. Это такой человек, который имеет власть на другими и использует её чтобы обижать и унижать их.

— Зачем?

— Ну, плохие люди получают от этого удовольствие. А иногда и хорошие не могут с собой справиться и становятся тиранами.

— Ты не станешь?

— Нет. У меня и власти никакой нет! Так вот. Был он ужасный негодяй, много людей сгубил, но его надёжно охраняли и люди ничего не смогли с ним сделать. В конце концов он умер своей смертью. Что же, положили его в землю и закатали бетоном, толстым-толстым слоем. Никакой таблички не поставили. Шли годы, про тирана почти забыли, а на той бетонной площадке играли дети.

— В классики?

— Как догадалась?

— На бетоне удобно мелом рисовать.

— Всё верно. И вот со временем бетон потрескался, и в трещинах проросла трава. Зелёная такая, и какие-то цветы тоже зацвели.

— Какие?

— Васильки там, одуванчики. Незабудки.

Я замолчал.

— Папа, а дальше?

— Всё.

— На этом сказка кончается?

— Да, Алиса, на этом кончается. Такая уж сказка.

— Ох! — издевательски вздохнула мама. — Жаль я не матерюсь!

Саша

Он сидел там и смеялся! Рядом с моей мамой. Они хохотали, ворковали и, подозреваю, держались за ручки под столом. Во всяком случае моя мама то и дело хватала его за колено или хлопала по бедру, как будто без этого нельзя обратиться к человеку! Напротив них сидел Михаил с женой и с ними ещё какой-то странный тип. Лысый, с лиловым лицом и пошлой манерой выражаться. Всё ему было не так и не эдак, все вокруг плохо устроено. Он острил и сам смеялся своим шуткам, как будто задыхаясь: кхкхкх.

А я сидела слева от мамы и смотрела на все это, как они пьют, курят, говорят глупости. Вокруг бегали их дети, визжали от радости и азарта, и я прямо завидовала им, хотела бы вместе с ними, да уже переросла к сожалению... Самый дурацкий возраст мой — то уже тебе не нужно, а это ещё нельзя...

Хотя вот мои ровесники уже собрались у бара, берут вино, курят у стойки, болтают. Русских среди нет ни одного. С одним из них я уже общалась, когда в волейбол играла, ну так, на ломаном английском, уж не знаю, как мы понимали друг друга. Он меня заметил, улыбнулся премило, и головой мотнул, типа, чего ты там сидишь? И ресницами своими огромными хлоп-хлоп. Ох, думаю, у него столько наверно девушек было...

Улыбка у него — нельзя в ответ не улыбнуться, губы сами расползаются. У Аполлона тоже обаятельная, но другая совсем, как бы спокойнее и взрослее, без задора.

В общем, не могла я больше смотреть, как мама с Аполлоном воркует, встала и к ребятам пошла. Подошла прямо к стойке и говорю им: «Хай!»

Этот с ресницами сразу обнял меня и чмокнул своими огромными губами в щеку. И бокал мне протянул:

— Доминго!

Я бокал взяла, и отвечаю:

— Саша.

Он рассмеялся, спрашивает:

— Саша?

— Саша, — киваю и тоже смеюсь.

Мы чокнулись и выпили.

И вот стали мы с ними о чём-то болтать и вино потягивать, а я всё поближе к Доминго жмусь, пускай Аполлон знает, как маму мою клеить.

Иван Андреевич

Мария ожесточённо смотрела на мужчин за соседним столиком. Курила и смотрела. Она выпила уже пару бокалов. Меня она вообще не замечала, потому что я был с Людмилой и мы всё время болтали. Был с нами и Анатолий, друг Михаила. Он сидел напротив меня и постоянно обращался ко мне, но из-за музыки и криков детей я не понимал, что он говорит и просто с улыбкой кивал ему в ответ. Михаил настойчиво пытался рассказывать интересные истории, адресуя их в первую очередь Людмиле, она слушала и смеялась.

Детишки наши бегали, визжали и хохотали. Дочь моя пыталась всеми командовать, и что удивительно, у неё это получалось. Её слушались даже те, что постарше.

А слева от меня сидела она, безымянная королева моих ночных грёз, которую я вынужден по-идиотски назвать то сестрой Степана, то дочерью Людмилы. Подмывало меня не раз этим вечером спросить: как тебя зовут? Но не решился. Я боялся, что она уже представлялась ранее, а я не расслышал. А у мамы её спрашивать было ещё хуже. Сидела она в невыгодной позиции, и значит я не мог толком слышать, что она говорит, но она и не говорила почти. Была она мрачна и печальна как никогда.

В какой-то момент она встала, сказав что-то резкое, и ушла к барной стойке. Там она присоединилась к ребятам, я их уже видел, они играли вместе до этого в волейбол. Не знал, что они успели так подружиться — чуть ли не со всеми она обнялась и расцеловалась, особенно с тем мексиканцем с ресницами-крыльями. Сразу настроение у неё поднялось, стала вино пить, хотя с нами не пила вообще.

— Эка, смотри, эти-то, покрылись все татуировками, как ковры! — заметил Анатолий про ребят у бара и хрипло расхохотался.

— Моя тоже хочет сделать, — сказала Людмила. — Не знаю даже, разрешать ли...

— У меня есть, — сказал Михаил. — Правда, в таком месте... Хотите покажу?

И с хитрыми глазами он указал под стол. Никто не захотел. Мария, побледнев, посмотрела в сторону.

Я выпил залпом полный стакан вина, и взял ещё один. Пока я его допивал, дочка Людмилы с друзьями пропали. Как-то очень внезапно, казалось, я отвлёкся от барной стойки на минуту, но вот их уже нет, и след простыл, как будто и не было никогда. Я подошёл к бару и взял ещё несколько стаканчиков вина — на всех. В общем, я хорошо набрался. Соседи мои тоже. Мы всё собирались куда-то идти, всё собирались-собирались, и наконец, уже около полуночи, собрались.

— Ой, — вдруг вспомнила Людмила, — я в номере кофту забыла! Проводишь меня?

Я ответил, что конечно, и мы пошли, хмельные, неуклюжие, поддерживая друг друга за руки.

Саша

Что дома было... Я когда вернулась, никто не спал. Все меня ждали. Я же телефон не брала, не думала, что это всё надолго. И времени было не так много, половина второго только!

— Ты где шлялась? — говорит мне мама резко. И смотрит так холодно и жёстко, что ясно, дружбе нашей конец. Дня на два точно.

А Стёпка сидит играет в моем телефоне, ему то что.

— Я с друзьями гуляла, что тут такого? Сходили на пляж, посидели у моря, и обратно пошли...

— Ну-ка! — тут она сделала шаг ко мне. Я задержала дыхание. Но не помогло.

— Ну так и есть! — сказала она. — Ты пьяная!

— Мама, я всего бокал вина выпила!

— Ладно, всё. Завтра возвращаемся домой! Иди спать! Стёпка, дай телефон, Ивану позвоню, скажу что отбой.

— Мама, какому Ивану? — у меня прямо замерло всё внутри.

— Другу нашему, какому ещё. Вызвался пойти тебя поискать! Ты представляешь, что я пережила? В другой стране, без телефона, с какими-то иностранцами уперлась ночью?!

— А почему с моего телефона?

— Мой разрядился. Не могла зарядку найти, ты куда дела её? Дала ему твой номер, а его на твой записала. Алё? Алло? Ваня!

Я слышу отдалённо его голос. Он что-то быстро говорит, он что-то узнал...

— Спасибо! Спасибо! — громко кричит моя мама, как будто он стоит под окнами. — Нашлась! Да, всё хорошо, слава богу! Спасибо!

Ага, и тебе спокойной ночи! Мне очень жаль, что пришлось тебе бегать, кто же знал, что она такую подлянку нам кинет... Ну да, ну да... Спасибо!

Он завершила звонок, протянула мне телефон и пошла в ванную комнату.

Я стояла, как замороженная. «Ваня»...

— Мам... А чего это ты его Ваней называешь?

Мама остановилась и с недоумением посмотрела на меня.

— А как мне его ещё называть? По имени-отчеству?

— Ну мне просто интересно, когда вы успели так сойтись...

— Как сойтись?! — взорвалась мама. — Ты чего несёшь?! Ты мне тут мораль решила почитать про хорошее поведение!?! Ты на себя посмотри! Нажралась, как шалава!

Она зашла в ванную и захлопнула дверь. Я стала ждать когда она выйдет чтобы в душ сходить. Взясась за дневник. Бывают же такие гадкие дни. Когда вот прямо всё-всё так плохо и ужасно, что жить не хочется и не верится, что может быть нормально.

Потом взяла телефон. Стала разглядывать его номер. Такое странное ощущение, как будто я его уже знаю.

Я записала — под именем Аполлон. И сразу же в мессенджере появилась его ава. Голова в черных очках, в полупрофиль. Хорошенький такой. Только сильно моложе.

Вышла пораньше, слава богу, нашла зарядку! Я её вчера днём на столике у бассейна оставила. Где оставила, там и нашла. И наушники там же. Никто не взял. Хотя это не удивительно, здесь я думаю такое не принято — чужое брать.

У бассейна в это время ещё никого. Ресторан закрыт — до завтрака час. Но солнце уже поднялась над крышей отеля и печёт так, как будто полдень. Решила посидеть тут, почитать. Только привалилась, телефон включила, смотрю — Аполлон идёт. С книгой. Мне рукой помахал, улыбнулся. Я ему тоже, и неловко мне стало за вчерашнее, что ходил меня искал. Он прошёл к лежакам напротив, через бассейн, и лёг. Лёг, книгу раскрыл и стал читать. Я тоже пытаюсь, но не могу сосредоточиться, всё на него смотрю. А он читает и ржёт.

Так и лежали мы, как тюлени на разных льдинах, а вокруг море, небо и никого.

— Да что же ты! — вдруг закричала я. Но молча закричала, про себя, — иди сюда! Что ты лежишь там? Думаешь, я дура и ничего не понимаю? Ну?!

И разозлилась так, что укусила себя больно за губу и телефон сжала со всех сил. Но потом подумала:

— А сама ты что лежишь? Иди, поболтай с ним, сядь на соседний лежак! Что в этом такого?

И так мне это просто вдруг показалось, так естественно и легко, что я чуть не встала и не пошла. Но тут же подумала: я девушка ведь, что он подумает?

И тут ко мне подошёл Михаил. Появился внезапно, непонятно откуда, как из воздуха сгустился. В шортах, голый торс, дурацкие эти очки на верёвочке, смотрит с ухмылкой непонятно на какую часть меня. И встал ровно так, что Аполлона загородил.

Стал он со мной разговаривать. Не хочу передавать о чём, всякий бред. Я уж из вежливости мило отвечала ему, улыбалась, и всё такое, но была в бешенстве. Что это? — думала я. — Что позволяет себе этот старый козёл? Он что, клеится ко мне? К девочке, едва достигшей совершеннолетия?

— Мамке привет! Она классная у тебя, — наконец просипел он и отвалил.

Аполлон вскинул золотистую ногу и положил на другую. Грудь вспотела и заблестела на солнце.

Иван Андреевич

Когда я лежал в больнице со своими несчастными ушами, в один из дней к нам в палату пришёл главврач больницы. Он совершал обход — обычное, видимо, дело, и с ним были студенты, в основном девушки, юные улыбчивые создания, которые жались к нему как ангелы к богу.

Он был стар, сильно стар, ходил медленно, руки держал в карманах и ничего не говорил. Мне показалось, что ему даже смотреть тяжело, так он был стар.

И вот врач отделения, который чуть не зарезал моего соседа, курчавый гад с хитрыми кривыми глазами, с лицом, вобравшим всё содеянное им зло, подвёл старца к моей кровати.

— У этого пациента, — сказал он раболепно, — сенсоневральная тугоухость.

Он сказал не нейросенсорная, а именно сенсоневральная, по старому, как это было принято в молодости почтенного профессора. Профессор удовлетворённо кивнул. А юные создания посмотрели на меня как на какой-то скучный экспонат в музее, который непонятно зачем вытащили из запасников, и пошли дальше.

Саша

Решили ехать завтра на экскурсию. На остров. Ехать долго, по морю, там потом весь день. Мама ходила вечером напряжённая, нервничала. Потом вдруг сказала:

— Саша, дай номер Ивана. У тебя записан.

— Зачем? — удивилась я. Точнее даже не удивилась, а исполнилась негодования. Не собираюсь я им быть сводней.

— Позову с нами поехать. С мужиком всё надёжнее. Всё-таки в такую даль переться.

О, как бы я хотела поехать с ним куда-нибудь! Но вот только без мамы. Смотреть, как она будет клеить его, не в моих силах.

— Ой, мам, — соврала я, — а я удалила... Вроде ни к чему номер был...

Мама нахмурилась и упала на кровать телевизор смотреть.

Я рядом легла, обняла её, положила голову ей на грудь.

— Ох, — говорит, — не раздави сиськи, тебе уж не пять лет!

Переложила на живот.

— А теперь, — смеётся, — чувствую себя жирной, смотри как брюхо промяло...

Я тоже засмеялась, стала трепать её складки на животе.

— Уж не возьмёт меня никто замуж, — вдруг говорит, — старую и толстую... Ничего, переживёте?

— Мам, — отвечаю, — а нам и не надо. Нам тебя одной хватает. Не хватало ещё какого-то дядьки! Да, Стёп?

— Ага, — кивнул тот, глядя в телефон.

Иван Андреевич

Сидел в кафе, любовался морем, пил коктейль. Кафе с большой детской площадкой, батутом, горками, домиками и прочими штуками. Дочь играет с ребятами, ей здесь нравится. Она вообще не хочет уходить и готова бегать и прыгать весь вечер.

— Папа, — подбегает она ко мне, — дай попить.

Жадно выпивает мой коктейль, она раскраснелась, часто дышит.

— Папа!

— Да?

— Паап, ты знаешь...

— Что?

— Папа, ну это...

— Слушай, ты можешь сразу по делу говорить?

— Да. Папочка?

— Ну что, блин?!

— Папа, здесь ребята не русские! Они не понимают, что я говорю! Как мне с ними играть?

— А ты не пытайся командовать ими, а просто играй. И всё будет хорошо. Поняла?

— Поняла! — и убегает.

Я заказываю колу.

Вокруг меня порхают две бабочки. Одна садится на плечо. Другая начинает летать вокруг неё. Я размахиваю стаканом с колой чтобы отогнать их, и проливаю на себя, прямо на штаны.

— Чёрт, — вскакиваю я, — опять!

Это какое-то проклятье моей жизни. Я постоянно что-то проливаю себе на штаны. Конечно, нужно к психоаналитику, правильно

мне говорили! Ладно. Что поделатъ, на моих белых шортах в области ширинки большое пятно коричневого цвета. Неловко, неловко. Одно хорошо — цвет такой, что не подумаешь будто я описался.

— Папа, ты что, обкакался? — это дочь.

— Нет, я же не маленький! Пойдём-ка отсюда!

Саша

Вечером мы все вместе пошли в спорт-бар недалеко от отеля смотреть футбол. Играли наши с Испанией. Понятно, никто не рассчитывал на победу наших, все гадали только с каким именно разгромным счётом мы проиграем. Некоторые, вроде этого отвратительного Михаила, уклончиво допускали ничью в основное время, а по пенальти проигрыш. Анатолий только презрительно хохотал, хрипел и фыркал, что этому не бывать, потому что у нас футбола нет, и смотреть на все это он согласен только ради смеха.

Мама моя, конечно, верила в победу наших. А Аполлон сказал, что вообще не интересуется футболом, но за наших, конечно, болеет в данном случае, хотя «в принципе может болеть за кого угодно».

В общем, собрались мы все там. Очень мило, уютный бар с удобными креслами и диванами, перед нами столики, на стенах два огромных экрана, отличное качество видео и звука.

Аполлон сразу же со своей дочерью прошёл на лучшие места прямо под экраном и сел там — на двухместном диване. Таким образом, мы все оказались позади него. Он заказал себе бутылку белого вина, а дочери шоколадный коктейль и мороженное. Мать моя, бедная глупая женщина, долго мялась вокруг дивана Аполлона, думая, втиснуться ли ей к ним третьей или нет, но наконец, правильно решила, что это неудобно и села со своей семьёй, то есть со Степаном и мной. Остальные тоже чего-то заказали, кто чего — мужчины в основном пиво, а я как и его дочь шоколадный коктейль.

И вот началась игра. Детям быстро надоело смотреть и они пошли играть в бильярд — в соседнем зале. Только там платно было, поэтому Аполлон дал им несколько евро.

Уже в самом начале случилось несколько резких атак, и Михаил каждый раз вскакивал и начинал орать. Но все обходилось благополучно для обеих сторон. И вдруг на десятой где-то минуте один из наших забил гол в свои ворота! Что тут началось!!! Михаил завопил, стянул с себя майку и закрыл ею лицо. Анатолий радостно хохотал. Я тоже чего-то закричала. Только Аполлон вообще никак не отреагировал, взял бокал и вина отпил, как будто за испанцев болеет.

Наших было мало в баре, остальные иностранцы. Мои друзья, и ещё пара из Англии. Друзья мои, конечно, болели за Испанию. Доминго пил с друзьями Корону, и рассмеялся так насмешливо от этого атогола, что мне стало обидно.

Ладно, игра пошла дальше. Полчаса ничего не происходило, всё какая-то беготня наших у ворот. Акинфеев, конечно, творил чудеса,

он раз за разом отбивал такие мячи, как будто за ним стоял невидимый многорукий бог. Раньше я и не замечала, какой он прекрасный, а теперь вдруг поняла. Аполлон на него похож.

Эта сука Анатолий хихикал и повторял:

— Акинфея чем-то накормили, ну я говорю, Акинфея чем-то накормили!

Но никто не смеялся его шуткам. Он подумал наверно, что недостаточно раскрыл остроту и опять:

— Акинфея накачали, я же говорю! Наркотой накачали!

И ржёт. Так мне хотелось бутылку со стола Аполлона схватить и двинуть ему в красное небритое рыло! Но ладно!

И тут, где-то после сорока минут беготни, было объявлено пенальти испанцам! Вообще, если честно, спорное такое пенальти, но я, конечно, обрадовалась, сердечко моё бедное заколотилось вовсю, и я так вцепилась в стакан с коктейлем, что пальцы побелели.

И вот наш забил.

Аполлон тут вскочил во весь свой рост, закрыв нам экран, и орал так, что я чуть не оглохла. Уж не помню, что именно он орал, ещё он прыгал, размахивал руками, указывал пальцем в небо и многозначительно смотрел в потолок, потом взял бутылку и выпил всё прямо из горла. Мы тоже, конечно, ликовали, обнимались, кричали и не могли усидеть на месте от счастья. Доминго мне улыбался и поднимал пиво, поздравляя. Ну я тоже подняла свой коктейль, хотя и чего-нибудь покрепче выпила бы.

Прибежала дочь Аполлона, перепуганная.

— Папа, что случилось, что случилось?

Он на руки её схватил, подбросил к потолку, обнял, поцеловал.

— Всё хорошо, — говорит.

— Ладно, тогда можно ещё коктейль и мороженое?

Заказал он ей, а себе бутылку вина ещё и три бокала.

Начался перерыв. Зародилась робкая надежда на победу, у всех, кроме Анатолия. Принесли вино, Аполлон наполнил бокалы и дал по одному мне и маме, чокнулся с нами, и мы выпили. Такое вино хорошее, хотя не люблю я сухое, кислое оно, но это приятное оказалось. Здорово было чокаться с ним, смотреть ему в глаза, пить! И мамочка моя рядом, и братик, и друзья, даже этот мерзкий Михаил и тошнотворный Анатолий показались мне вдруг не такими уж и гадкими.

Дети перекусили, взяли у Аполлона ещё евро, и побежали опять играть в бильярд. Слышу, Стёпка говорит:

— Сломался, не работает... Что делать?

А дочь Аполлона отвечает:

— Всё в порядке, сейчас! Мой папа — волшебник!

Так смешно мне стало. Смотрю, бежит к папе.

— Папа! Папочка! Бильярд сломался! Сделай так чтобы он заработал. Аполлон встал, пошёл с ней к столу. Посмотрел внимательно на прорезь для монет.

— Евро там? — спрашивает.

— Да! — отвечают дети.

Он размахнулся кулаком и ударил по столу. Шары сразу посыпались.

— Ура, — закричала дочка его, — я же говорила!

Футбол дальше пошёл. Весь тайм опять на грани приступа, столько нервов было, да всё потому что испанцы постоянно у наших ворот играли. Наши тоже прорывались, но редко. Бьют и бьют, и сердце каждый раз замирало, как будто к прыжку готовилось. Акинфеев просто Гарри Поттер плюс Дамблдор, он играл невероятно, я уж пообещала в церковь пойти при случае поставить свечу за него. И в самом деле, он же на святого похож, лик такой иконописный! И Черчесов кстати, всегда его уродом считала, как видела его, плевалась и думала: усы сбрей! А теперь совершенно в ином свете восприняла, поняла что профессионал он настоящий, с умением и терпением, которому плевать на разговоры, потому что дело своё он знает. И взгляд у него вон какой пронизательный и острый, и усы очень даже грозные, к лицу! Теперь мишку, с которым сплю, буду звать Черчесовым. Анатолий что-то острил про него, но я старалась не слушать чтобы не убить его.

Короче, второй тайм прошёл на нервах, а потом и дополнительное время, и никто никому не забил, и я всё злилась на этого автогольца, без него бы выиграли уже! Но с другой стороны и жалко его было, представляю каково ему на душе! Да такое ведь и не отпустит никогда, будет вспоминать до смерти.

Объявили серию пенальти. Тут все в баре напряглись неимоверно, особенно русские. Первым бил испанец. И забил. Ладно, не удивительно вообще, это же пенальти. Тут от мастерства вратаря ничего не зависит. Потом наш забил, хорошо. Тут опять испанец. В штангу ударил, да только от штанги мяч в наши ворота полетел. Тут вышел наш автоголец, скажу уж теперь, Игнашевич его зовут. Загладил свою вину — забил. Ну ещё бы он промазал, тогда ему пришлось бы в монастырь сразу после матча уйти.

И тогда случилось чудо. Акинфеев отбил. Он взлетел как птичка, порхнул прямо к мячу и руками его отбросил.

Все мы стали буйнить и даже петь. А хозяин бара, милый пожилой грек, не разозлился совсем, а улыбнулся нам и показал рукой — класс! Но когда сразу после этого наш удачно пробил по их воротам, вообще началось что-то невообразимое.

Дочка Аполлона опять коктейль и мороженое попросила, он ей заказал, я уже забеспокоилась, не станет ли плохо маленькой такой девчушке.

Тут и испанец забил, потом наш забил, а потом чародей наш Акинфеев опять отбил, в этот раз ногой. Ну и все, дальше мы уже могли не бить, это была победа. Ор стоял страшный, братание и поцелуи, слезы, селфи, смех и любовь. Ребята латинские куда-то пропали. Англичане поздравили нас и тоже ушли.

Хозяин бара налил в рюмки чего-то крепкое, и говорит — бесплатно, поздравляю с победой. Налили и мне, мама на радостях даже не стала со мной препираться, и мы с ней вместе выпили.

Иван Андреевич

Был на футболе. Мы победили, невероятно. Хотя я не болельщик совсем. Не смотрю я спортивные состязания обычно. Особенно футбол. Эта вот беготня миллионеров, к тому же часто посредственно играющих, вызывает у меня какой-то протест. Но сегодня другое дело — чемпионат мира.

Ладно. Матч смотрели в баре, выпил я много. Полторы бутылки наверно. Потом ещё и повёл всех в другой бар. Угощал, шумел, деньгами сорил. Когда выпьешь так, кажется, что слышишь всё. Пропадает дискомфорт непонимания и постоянное напряжение в попытках расслышать других. Хотя, думаю, всё дело в алкоголе, и на самом деле ничего не меняется, я просто перестаю обращать внимание на свои проблемы. Забиваю на них. В таком состоянии люди начинают общаться скорее эмоционально, понимают без слов.

В общем весело было. Не всем правда. Мария сидела с кислым как всегда лицом, и казалось от каждой реплики мужа у неё рвотные позывы. Анатолий настойчиво лез ко всем, утверждая, что победа была чистой случайностью и больше никогда не повторится. Михаил разделся почти догола и периодически вскакивал, предлагая всем идти купаться. Пожалуй, только детям было по-настоящему весело. Ну и дочери Людмилы. Мы с ней много-много разговаривали. Жаль, вообще не помню о чём. Досиделись мы до закрытия.

Потом вышло недоразумение. Я хотел ещё выпить с ними вина, и сказал что зайду в супермаркет. Не знаю, в чем дело, но когда я из него вышел, никого уже не было. И вообще мне показалось, что я вышел куда-то не туда. Допускаю, что именно это и произошло — супермаркет был большим, и наверное не с одним выходом. Так что, купив бутылку красного и сигареты, я оказался на пустынной улице в ночи под фонарём напротив какой-то аптеки.

Идти дочка уже не хотела, устала, показала пальчиком на свои ножки. Взял я её на руки и пошёл. До дома ещё не дошли, она уснула.

Принёс её, положил тихонько, в пижаму передел, укрыл, сам прилёг рядом, дай думаю, полежу минуту.

— Папа?

— Чего?! — вздрогнул я.

— А сказку рассказать?

— Окей!

...

— Паап?

— Да?!

— Ну?

— А, сейчас. Давным-давно, — начал я, — жили необыкновенные огромные толстые существа. Они жили вне времени.

— А какого они были цвета?

— Белого. С кучей жировых складок. Для них не было ни прошлого, ни будущего, любое время было дня них настоящим и длилось вечность. А они очень любили поесть солёное. И заставляли людей работать на себя бесплатно.

— Они были типа боги?

— Ну вроде того. Они были очень могущественные. И крайне щепетильные во всём.

— Что значит щепетильные?

— Ну... Они любили пощипать друг друга за складки. Но дело не только в этом. Например, они требуют приготовить им обед. И один из них говорит: «Мне, пожалуйста, положить 574 крупинки соли!» А другой, любитель посолёнее и поострее: «А мне тысячу и одну крупинку соли и 768 крупинок перца!»

И вот бедная девочка сидит и отбирает эти крупинки часами...

— А они всё это время ждут?!

— Ты забыла, что они вне времени. Для них оно не движется, поэтому даже если бы девочка отбирала эти крупинки миллион лет, для них это было бы равно одному мгновению.

— Бедная девочка! А как я её звали?

— Алиса.

— Как меня?

— Нет, как Алису из Страны Чудес. И вот сидела она сидела, перебирала крупинки, перебирала, а часы шли за часами, и ни поиграть она не успевала, ни отдохнуть. Конечно, она могла бы всё бросить и пойти играть, а через год продолжить, ведь для этих могущественных существ не существовало времени! Но проблема в том, что они пристально следили за тем, чем люди занимаются. И если люди не выполняли в любой момент их поручений, то их наказывали. Поэтому сидела она сидела, перебирала-перебирала, сидела-сидела, а время шло, наступала ночь и пора было спать, глазки закрываются, баю-баюшки баю, не сиди-ка на краю...

...

— Паап?

— А?!

— Ну и чего дальше-то было?

— «Да пошли вы на хрен», — сказала им девочка и пошла спать.

— Папа, ты чего ругаешься?

— Ой, извини, зайка! Больше не буду!

— Ладно. Ну и? Они её наказали?

— Нет. Они удивились храбрости девочки, и больше не давали ей дурацких заданий. Они назначили её своей королевой, и она ввела новые порядки, так что люди стали свободными.

— Больше бреда я ещё не слышала. — сказала мама. — Андерсон хренов.

— Бабушка, а ты чего ругаешься?

— А яблоко от яблоньки не далеко падает, доченька!

Саша

Пошла сегодня гулять с Доминго. Он вообще милый, мягкий, улыбается всё время и ресницами хлопает, прямо кажется улетит сейчас. Глаза черные, колючие, но красивые. И уверенный в себе, видно, привык легко девочек добиваться.

Идём с ним, болтаем. Половину по-английски, половину жеста-ми. Я, кстати, поняла, что он по-английски не лучше меня говорит. Никаких там паст перфект или ещё чего похуже. И это хорошо, так мы с ним лучше друг друга понимали, чем если бы кто-то из нас выпендривался и всякие идиомы строил.

Вспомнила сейчас, какая у меня учительница английского языка была. Любила рассказывать о своей жизни:

— А в Англии! Вы не представляете! Бекон! Он же сырой у них. Сидишь, жуёшь его, как корова.

И она смешно показывала, выпучивая глаза, как жевала этот бекон.

И так полурока на русском. Потом она спохватывалась и нехотя переходила к английскому. Объясняла чего-то, писала в качестве примеров какие-то слова. Её спросит кто-нибудь: «Магда Абрикосовна, а что означает это слово, которое вы написали?» И тут происходило удивительное. Она начинала нелепо смеяться, махала рукой и говорила нарочито беззаботным голосом:

— Ой, да какая разница? Мы обычно не объясняем, когда примеры приводим!

И всем становилось ясно, что она сама не знает.

У меня вообще такое чувство было, что ей тяжело вести урок, что она с трудом соображает и не помнит ничего. Бывало прям схватится за голову, глаза красные вытаращит, и пытается сообразить что к чему с застывшей улыбкой. Страшно на неё смотреть было в такие моменты. Потом я заметила, что она ещё и плохо слышит и отвечает невпопад.

Вообще не понимаю, почему таких не увольняют. Наверно из жалости. Но всё же школа — это не хоспис и не дом престарелых! Дети должны получать качественное образование, а не ходить в богадельню.

В общем, гуляем мы с Доминго. И тут я заметила Аполлона. Он сидел в кафе совершенно один, не считая пары бабочек. Меня словно бес какой-то попутал, я зачем-то решила немедленно пофлиртовать перед с ним! Это произошло словно само собой, я даже не успела по-

думать об этом. Я остановилась и стала с Доминго нарочито кокетничать, поглядывая время от времени на Аполлона. Ну и заметила, что он тоже на нас поглядывает.

И вдруг этот дурак возьми и поцелуй меня! Я вообще растерялась, не знала что делать. Стою как кукла с дурацкой улыбкой и смотрю ему в переносицу, а он меня обнимает и целует. А Аполлон всё это наблюдает. Уж не знаю, сколько времени прошло, мне казалось, что много, но я собралась всё же с мыслями и оттолкнула его, а потом размахнулась, и каааак влепила леща! И влепила-то так хорошо, что голова у Доминго как желе затряслась. Ну всё же не зря я спортом занималась, так по чести у меня на вид руки покрепче, чем у него будут.

После этого развернулась и быстро к отелю пошла. Боялась, что Доминго за мной побежит, выяснять, но нет. На Аполлона я больше не смотрела, стыдно было. Шла и думала, только бы быстрее в номер попасть, в кровать упасть и разрыдаться! Повела себя во всех отношениях как дура.

Иван Андреевич

Вечером видел её. Я сидел в кафе, а она стояла неподалёку на набережный с другом своим мексиканцем. Он в бейсболке с прямым козырьком, зубы даже издали видно, привалился к парапету, болтает с ней о чём-то.

И тут он вдруг оторвался от перил, как будто отпружинил, глянул в сторону, повернулся к ней, взял её за талию, притянул и поцеловал в губы! Не быстро, но ловко, так что она не успела среагировать. Но спустя пару секунд она его ладошками в грудь оттолкнула, и правой как размахнулась и влепила пощёчину. Потом развернулась и ушла.

Он остался. Потёр щеку, с улыбкой ей вслед посмотрел, опять на перила облокотился и стал глядеть в море.

Сидим с Михаилом. Он как обычно с голым торсом, ногу вальяжно на стул соседний закинул.

— Была у меня девушка, только школу закончила. Познакомились случайно в тренажёрном зале. Слово за слово, ну и роман у нас вышел. Бывает такое.

Я киваю.

— А вообще мне девушки такие нравятся уверенные что ли, сильные. Она сначала и показалась мне такой. В спортивном костюме, волосы убраны в хвост. Наглая, смелая. Не стесняется. Очень она мне в общем понравилась. Ну стали мы встречаться, кино, кафе, прогулки. Причём она знала, что я женат. Но сама сказала: «Это мой, — говорит, — выбор, не жалею ни о чём!»

Ну и сам понимаешь, дошло у нас до постели. Я квартиру снял на сутки, пригласил её. Купил шампанское, жду. Вот она приходит.

Он замолчал и покачал головой, как будто заново пережил тот момент.

— Короче, звонок в дверь. Я подлетаю в предвкушении, открываю. А там стоит она. Волосы распущены, длинные, волнистые, все в какой-то позолоте и блёстках. Накрашена как чёрт знает что. Ну как маленькие дети красятся, когда им дарят наборы игрушечной косметики. И платье.

Блин, и платье.

Иван, вот у тебя дочь есть. Ты знаешь, что такое платье принцессы? Ну из мультиков разных про сказочных героинь?

— Ещё бы мне не знать! У моей дочери целых пять таких!

— Ну вот, — продолжает он. — Стоит она такая в платье принцессы, а оно ещё в рюшечках каких-то, складках, манжетках, не знаю, как это всё называется. Светло-голубое. Тут я и почувствовал себя старым педофилом. Зашла она, поболтали мы, а потом я и говорю:

— А чего сидеть будем в квартире, раз ты такая красивая? Давай погуляем лучше!

Она засомневалась, вроде понятно было, зачем пришла. Но я её убедил, и она даже обрадовалась.

Пошли мы гулять. Все на неё смотрят как на необычное что-то. Сходили в кафе-мороженое, посидели, в потом я купил ей огромный букет роз, и проводил домой. Больше не встречались.

— Наверно она расстроилась? — спросил я.

— Ты знаешь, не очень. Я ей объяснил, что просто не могу изменить жене!

И он закатился шипучим смехом.

Саша

Утром пришла на завтрак. И так вышло, чисто случайно, за мной в очереди за кофе стоял Аполлон. Нет, я не ждала его специально, прячась за кактусом у входа чтобы при виде него броситься вперёд и встать прямо перед ним — пусть посмотрит какая у меня великолепная задница! Нет, ничего подобного, я шла сонная и задумчивая и никого вокруг не замечала.

И вдруг слышу его голос:

— Мощного вы леща дали тому молодому человеку! Как у него только голова не оторвалась.

— Ооо, — удивилась я, — вы видели? Вы знаете, Доминго заслужил...

— Вам виднее!

— Просто дело в том, смотря кто так себя ведёт! — торопливо добавила я.

Сказала это и сразу покраснела. Вот уже намёк так намёк!..

Иван Андреевич

— Папа, а твой папа умер?

— Да, ты его наверно не помнишь, но как-то сидела у него на руках, трепала за седую бороду.

Она покивала. Потом говорит:

— Мамин папа тоже умер. И у подруги.

И смотрит так печально, тревожно.

— Папа, я всё время думаю об этом, я очень беспокоюсь...

— Что я тоже умру?

— Да, — с тоской вздохнула она.

Саша

Боже, что было, смех какой.

Сидела я в баре, пила сок из трубочки, вся такая взрослая, в соломенной шляпе и больших чёрных очках. Ну и накинула на себя какое-то мамино покрывало, вроде Павлово-Посадского платка.

В общем, леди на английском курорте. Сижу, в тени, под тентом, но пропекает его насквозь, жара такая, что чувствуешь себя дохлой мухой.

Сижу и думаю о жизни и смерти. Вот странно, этот вот момент, когда я здесь сейчас, с стаканом сока, живу, ощущаю мир вокруг, думаю, чувствую движение горячего воздуха, смотрю на бабочек над Аполлоном — этот вот момент пройдёт, исчезнет, и более того — я умру, и вместе со мной умрут все подобные моменты, и пропадёт всё, не останется ничего от моего мира...

Да, — вдруг с удивлением понимаю я, — ведь каждый человек — это же целый мир, целая Вселенная... И смерть каждого — это гибель Вселенной!

Передо мной что-то замаячило. Гляжу — тот самый даун колышется, улыбается и руку за спиной держит.

Я испугалась — мало ли, думаю, что у него на уме, вдруг у него там нож или камень, как врежет сейчас со своей этой счастливой улыбкой... Стала судорожно по сторонам оглядываться в поисках его матери, но не видно её.

Тут он руку вытащил, а в ней цветок какой-то, какие в клумбе рядом растут. Протягивает и на Аполлона кивает.

Но Аполлон сидит в своём телефоне, и от бабочек отмахивается.

Я цветок взяла, улыбнулась дежурно, и в номер пошла.

Неужели, думаю, всё так заметно, если даже он понял?

Иван Андреевич

— Ты сегодня занималась?

— Нет.

— А почему? Мы же договорились, что каждый день по чуть-чуть?

— Бабушка разрешила...

— Мам?

— Чего, сынок?

— Чего не занимались?

— Ох, Вань... Ну что ты к ребёнку прицепился? И так в школе страдается...

— Алиса, не слушай бабушку. Учёба — это классно. И откладывать её не надо. Вообще не стоит откладывать ничего на завтра, делай всё что нужно сегодня. Иначе знаешь, что будет?

— Что?!

— А вот что! Знаешь сказку про человека, который откладывал, откладывал, и дооткладывался?

— Нет. А ты, бабушка, знаешь?

— Нет, конечно, он же их сам не знает, придумывает на ходу.

— Папа, это правда?

— Нет, не придумываю... Я вообще платоник и считаю, что все идеи существуют вечно... Так что и эти сказки тоже. Но это неважно. Так вот. Дело в том, что смерти не существует. После смерти мы переселяемся в новые тела, и начинаем заново жить. Это называется метемпсихоз. Раньше, давным-давно, люди ещё помнили о своих прошлых жизнях. Они обладали таким умением, которое позволяло помнить предыдущие жизни.

— А мы не можем?

— Нет. Это очень сложная штука. Когда после смерти мы рождаемся заново, то ничего не помним. И в старые времена люди бывало всю жизнь учились этому чтобы вспомнить. И иногда только перед смертью вспоминали... А некоторые вообще нет... А потом и вовсе разучились.

Есть такое правило — если плохо ведёшь себя в этой жизни, то будешь расплачиваться за это в следующей. Скажем, сделал что-то нехорошее, обидел кого-то в этой, значит, в следующей жизни случится с тобой что-то неприятное. Но зато ты как бы расплатился и значит потом будет все хорошо, главное не делай плохих вещей, иначе опять будешь расплачиваться.

Так вот, был один мудрец, который умел откладывать несчастья на потом и помнил свои прошлые жизни. То есть он вёл себя как ему захочется, ни с кем не считался, и делал только себе приятно и во вред другим. А когда наступало время расплаты, он применял известный ему приём, и переносил несчастья на следующую жизнь. Так он и прожил сто миллионов весёлых и беззаботных жизней, не зная никаких несчастий.

Но однажды случилась беда!

— Какая?

На сто миллионов первой жизни он не смог вспомнить свои предыдущие жизни! То есть он забыл о том, что откладывал все несчастья, которые должны были с ним произойти, на потом! И поэтому забыл и про свой ловкий приём откладывания несчастий!

- И что произошло?!
- Куча плохих вещей, которые он заработал плохим поведением за миллионы жизней, обрушилась на него вся и сразу!
- Блин, плохо ему пришлось...
- Да уж, не то слово! Он до сих по в шоке. Вот что бывает, когда откладываешь на завтра.
- Паап?
- А?
- Давай сейчас уроки сделаем?
- Ой, дочуня, ночь уже, спать пора. Давай завтра?

Саша

Как он плескается с дочкой, играет, плавают вместе, смеются. Она ему всё время: «Пааапа, пааап, паапочка!» А он ей: «Моя зайка, мой птенчик, моя рыбка, дельфинчик...»

Смешно и трогательно. Смотрю, смотрю, и тут ловлю себя на мысли, что представляю его в роли мужа, вот так же, как сейчас, в отеле у бассейна на курорте... У нас трое детей, девочка и два мальчика, он с ними играет в воде, а я на лежаке в широкой соломенной шляпе и в чёрных очках, в безумно сексуальном купальнике лежу вся загорелая, нога на ногу, пью коктейль и люблюсь ими со спокойной улыбкой счастливой матери и жены.

Только чепуха всё это. Настроение испортилось вдруг, встала я и пошла куда-то, сама не знаю куда. Потом повернула всё-таки к бару, мороженое взять. Взяла, села, стала лизать. И от этого мороженого ещё грустнее стало, вообще хоть плачь. Пока мелкой была, мне как его Алисе — поплескаться, поиграть, мультики посмотреть, мороженку и обнимашки, и всё, ты счастлива. А теперь? Чего надо тебе Саша? Какого рожна ты хочешь? Чего?!

Вот написала, а сама и понятия не имею даже, что такое это «рожно» ...

Сижу, лижу мороженное, а к нему волосы мои липнут.

Иван Андреевич

Напрасно я опять начал курить. Вот, теперь не слышу ничего. Даже птицы затихли и прибоя нет, только тихий шум, как будто идёт спокойный затяжной дождь. С утра проснулся, встал, зашёл в ванну, и обнаружил, что вдруг не слышу как течёт вода, как зубная щётка падает в раковину, как стучат шлёпанцы по полу.

— Да, — сказал я по привычке, и ничего не услышал.

Я повторил громче, и ещё раз, и ещё, но ничего — я больше не слышал своего голоса.

Меня кто-то тронул сзади, я обернулся, это дочь. Она испуганно смотрит на меня и что-то говорит. Но я не разбираю даже электрических разрядов речи. Я мотаю головой и виновато развожу руками.

— Прости, моя девочка, я ничего не слышу.

Она сначала растерялась, потом подошла к стене и стала писать пальчиком. Медленно. С ошибками.

«ПАПА ТЫ ЧИГО КРЕЧИШЬ?»

— Ничего, солнышко, это я просто так слух свой проверяю.

«ПАПА Я ИСПУГАЛАСЬ»

— Не бойся, — я наклонился и обнял её. — Всё хорошо.

Она поцеловала меня в щеку и пошла в кровать к бабушке.

Так мы и общались потом, я говорю, а она пишет на стене большими буквами. И каждое своё обращение она начинает со слова «ПАПА».

Саша

Этот бедняга, даун, с перекошенным лицом возник откуда-то и побежал к бассейну. Ну как побежал, скорее, очень громко прошлёпал, странно вскидывая ступни и размахивая руками. Он был в шортах и лифчике.

Подойдя к краю бассейна, он опустил губы вниз, и упал плашмя в воду. Никто не мог понять, что это значит, пока до нас не стало доходить, что он не умеет плавать. Он побарахтался какое-то время, а потом пошёл ко дну, как тюлень.

Было это в метре от моего лежака, и я, не думая, прыгнула к нему. Мне казалось, что я смогу легко его вытащить. Я схватила его за волосы и руку и попыталась выплыть, но он тоже схватился за меня и стал брыкаться. Я никак не могла его поднять, и в какой-то момент запаниковала, потому что испугалась уже за себя — воздух кончался, а он вцепился в меня и трепал что есть сил. Я пыталась освободиться, уже била его под водой руками и ногами, но под водой особо сильно не ударишь, и у меня ничего не получалось, и вот помню эту ужасную секунду, когда я больше не могла терпеть, открыла рот и вдохнула в себя воду, и меня больно так обожгло ей, и я в ужасе уставилась на белое колыхающееся пятно где-то надо мной. И помню ещё его теребящие пальцы, неприятно впившиеся в моё тело.

И всё.

Потом открываю глаза, кашляю. Надо мной Аполлон в ореоле солнца, склонился, смотрит в глаза. За ним другие отдыхающие, в черных очках, с такими любопытно-озабоченными выражениями. Рядом валяется даун, тоже живой.

Мне уже потом рассказали, как он спас нас обоих. Я-то полагала, что он окачивал меня, как в кино, делал дыхание рот в рот. Ничего подобного, мне со смехом поведали, как будто это безумно весёлая история, что он положил меня животом на своё колено и бил между лопаток, чтобы вода вылилась. Спасибо хоть не по заднице.

В общем, хорошо, что я не очнулась раньше, пока он меня выбивал как ковер.

— Саш, он тебе искусственное дыхание делал? — это мама спрашивает меня явно равнодушно.

— Да, мамочка, я как раз в этот момент очнулась. Чувствую губы, язык чужой во рту. Ого, думаю, вот это поцелуй! Открываю глаза — он!

Брови у мамы сдвинулись, как бывает, когда она раздражается.

— Хорошо, — нервно сказала она, — спасибо, что спас тебя! Настоящий мужчина хоть один нашёлся, а эти все чего ждали?

— Спасателя, мам.

— Ну да, ждали, пока вы утопнете!

Иван Андреевич

Завтра улетаем. Людмила с семьёй остаётся ещё на несколько дней, Миша с Машей тоже завтра, но утром, а мы вечером. Дочь не хочет улетать, но что делать! Надо было брать недели на три, а я боялся, что будет скучно...

Решили отметить это дело. Пошли вечером в ресторан. Я не слышу ничего, но вида не подаю. Увидел Людмилу, обрадовался, кричу ей:

— Привет!

Она улыбнулась натянуто, кивнула и руку не протянула. Что такое?

Наверное подходила ко мне как-то, что-то говорила, а я её не услышал. Это вот скорее всего. Думает теперь, что я надменный тип и обиделась. На всякий случай я с ней заговорил о чём-то, как мог дружелюбнее, но она ответила односложно и стала болтать с Мишей.

Ну и чёрт с ней. Не судьба, Иван, завести тебе романтическое знакомство на этом острове! Но может и к лучшему.

И мы пошли дальше, пошли по набережной, под фиолетовым светом ночи, над тихим и дыханием моря. Я думал Михаил захочет купаться в голом виде, но нет. Он был молчалив и спокоен, просто стоял на берегу и смотрел вдаль. К нему подошла Мария, взяла за руку и положила голову на плечо.

Я много пил, наверно потому что не слышал и поддержать разговор кроме «да» и «нет» наугад не мог. Алиса играла с другими детьми, а я смотрел на них.

В какой-то момент я подключился к сети вай-фай и написал моим студентам письмо с признанием, что я глухой. Я попросил у них прощения, за то что обманывал так долго, и пообещал уволиться.

Саша

Во всём вино виновато... Я выпила с ними три бокала красного, несмотря на мамины грозные взгляды.

Сидели мы на прощальном вечере, завтра наши друзья уезжают, и среди них мой Аполлон. А я и не знала как привыкла к ним, как

привязалась, даже этот озабоченный Михаил, даже отвратительный Анатолий стали мне за это время дороги!

Грустно так, и я сидела с ними, улыбаясь и чуть не плача, и хлестала вино, а мама хмурилась, но замечаний мне не делала. А воздух такой влажный и пахучий, и красные бабочки вокруг нас. И сверху звезды размываются.

Я сидела рядом с Аполлоном, а он напряжённый был, мрачный, улыбался криво и много пил. Ни с кем не разговаривал, только одно слово повторял: «да...», «да...», «да...». А дочка ему слова писала на стене кафе, «ПАПА ...» — так каждый раз начинала. Наверно это игра у них такая.

И вот я сидела рядом с ним, смотрела на него, болтала, шутила, а он изредка поворачивался ко мне и тоже смотрел, но молча.

И после третьего бокала я не сдержалась и шепнула ему в самое ухо:

— Я люблю вас!

Прошептала и испугалась, как бы другие не заметили. Но нет, не только другие не заметили, даже он не заметил! Он вообще никак не отреагировал, просто продолжил что-то писать в своём телефоне, как будто ничего не случилось.

Большого позора в моей жизни не было никогда, и уверена, что никогда не будет.

И никогда я уже точно ни одному мужчине такого не скажу! Если смогу ещё кого-то полюбить...

Я вернулась в номер как будто мёртвая, ни говорить, ни писать не могла, просто легла не раздеваясь на кровать, к стене повернулась и лежала так. Мама решила что я напилась, сказала только, когда пришла:

— Саша, мы с тобой завтра поговорим!

Эх, знала бы ты, мама! Есть вещи, о которых невозможно поговорить! Потому что во всём мире ты остаёшься с ними один на один. И нет больше ни в чём смысла кроме них, и всё, чем ты жила до этого, рушится в один миг...

Не удержалась, утром вышла провожать Аполлона. Встала в стороне, в холле, смотрела как он с семьёй и чемоданами ждёт автобуса в аэропорт. Такой он сразу обыкновенный стал в этой суете сборов, с мамой, дочкой и вещами. Лениво сидит в кресле, поглядывает в смартфон, улыбается дочери. Потом пришёл автобус, и я смотрела, как он помогает подняться своим, как садится сам — у окна — и вот я уже вижу его лицо, затенённое и посеревшее из-за бликов стекла, как он задумчиво смотрит куда-то на дорогу, подперев рукой подбородок.

— Хеллоу! — это Доминго.

Стоит рядом, глядит на меня своими красивыми глазами и улыбается.

Эх, Доминго, Доминго... Почему-то я вдруг себя старше него почувствовала.

Наверное он понял, что мне грустно, протянул свою ладонь и кивнул в сторону моря. Я руку дала и мы пошли. А за нами красная бабочка увязалась. Так и летела до самой набережной, пока её ветром не сдуло.

Иван Андреевич

Отпуск пролетел мгновенно. Кажется, только вчера сюда приехал, а уже пора уезжать. Хотя в первые дни казалось, что они тянутся еле-еле, и впереди ещё много-много времени. Так обычно и бывает...

Видел из окна автобуса дочь Людмилы. Смешно, но я так и не узнал, как её зовут. Она с Доминго шла под руку в сторону моря. Смеялась. Меня укололо внутри, и я непроизвольно отвернулся. Нет, никакой ревности, дело совсем в другом!

А в чём?

Пока ехал в аэропорт, пришёл ответ от моих студентов. Ничего про моё решение уволиться: «Иван Андреевич, сердечно поздравляем Вас с победой! Вы и в самом деле лучший! P.S. Вы не могли бы прочитать нам ещё какой-нибудь курс? Пожалуйста, мы Вас очень просим!»

Я зашёл на сайт проверять — да, в самом деле, меня выбрали лучшим преподавателем. Не могу сказать, что я сильно обрадовался. Но пару минут думал об этом. Ладно, приятно, конечно.

У входа в самолёт заметил, что на плече у меня бабочка. Не хотелось бы ей плохого, я сильно дунул на неё и она упорхнула.

Тим ФРАНЦИСТИ

/ Лиепя /



* * *

Текущая осень касается лба
углом занавески.
Какие вопросы? Жё нэ компрэ па.
А как по-немецки?
Засохшая булка и времени вез-
десущие крошки.
Вращается втулкой цейлонская взвесь
под натиском ложки.
Так жизненный опыт свернётся щенком.
Комок с мокрым глазом.
Под пальцами чтотонетак точка ком
вбивается в браузер.
Как будто открылось пророчеством вдруг
тяжёлое веко.
Деревья — ресницы, разорванный круг,
судьба человека.
Возьми табуретку, присядь у окна
и сосредоточься.
Смотри, как рассвет поджигает дома.
Смущается очень.
И ржавые тельца — каштана листы —
засохшие пятна.
Все мы — погорельцы. Отечества дым
нам очень приятен.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Ночь задушил подушкой,
смазал ладонью пот.
Облако — погремушка.
Полный молчания рот.

Город стучится в окна
гулом далёких свай.
Передознувшись током,
стонет внизу трамвай.
Осип Эмильич, милый!
Осень сродни тюрьме.
Как вы там говорили:
«Прыжок. И я в уме»?
Свай грохочут пушкой.
Ложка, звеня, дрожит.
Осень — это ловушка.
Я продолжаю жить.

ПО ЛЮБВИ

Когда зажгутся фонари
над нами в сумраке лиловом.
Прошу, не говори ни слова.
Ни слова мне не говори!
Смотри в распахнутую дверь
из вечности в бесчеловечность.
Оставь. Не трогай мои плечи.
Поверь — не верь. Не ври — соври.
Огромный клён. Звонок трамвая.
И набережной стылый блеск.
Над отражением небес
давай простимся, дорогая.
Пусть город льёт впустую свет
и голосит хмельной прохожий,
мол «по любви не будет сложно»,
на всё давая нам ответ.

ПРОСЫПАЕМСЯ

Мы просыпаемся в восемь.
Красною тряпкой рассвет
брошен на небо. И простынь
в пепле твоих сигарет.
Странные артефакты
этих нестройных времён.
Через окна катаракту
виден кривой горизонт.
В ветках шумит целый месяц
пластиковый пакет.

Он невесом и небесен.
Аквамариновый цвет.
Судорожная затыжка,
слово на выдох: «Вставай».
Серая пятиэтажка —
наш бесконечный трамвай.

КРЫШИ

На карте крыш нет новых адресов.
Лишь только те знакомые изгибы.
Я вниз бросаю горсти грустных слов.
Как будто бы прикармливаю рыбу.

Огромные скупые облака
и голуби в нешахматном порядке.
Какая-то незримая рука
посеяла их на железной грядке.

Упругий шарик празднично завис
над проводом. И, ошалеv, не дышит.
Однажды неизбежный трубочист
его отпустит, грохоча по крыше.

СТИКЕР

Солнечный стикер на зеркале неба:
«Скоро вернусь». И насущного хлеба
крошки в кармане... Кормить голубей.
Ты наверху отразишься прожилкой
в зоне запястья. Широким затылком
я отражаюсь. Пить хочешь? Попей.

Из рукава светло-серого платья
выползет лето, как полуобъятье.
Голубь уставится на воробья.
Знаешь, мы здесь ненадолго, а впрочем,
там в зазеркалье отсутствие ночи
уравновесит отсутствие дня.

То есть уже смехотворно, нелепо
наше сомнение в качестве хлеба
(смыслы понятные и воробью).
Но, ощущая давление лета,
память не хочет фиксировать эти
выводы. Дай мне воды. Я попою.

Голубя тело есть форма кувшина,
а в воробье, несомненно, пружины.
Опустошается тайный завод.
Так и сидим среди пятиэтажек.
Муж и жена. Не любовники даже.
Крошится хлеб, исчезая вот-вот.

Птицы — у ног, наверху — отраженье.
Непрекращающееся движенье.
Или, сказать обобщающе, — жизнь.
Ветра мелодия, детские крики.
Зеркало неба и солнечный стикер.
Видишь двоих над собой? Причешись.

ПОСТНОВОГОДНЕЕ

Снег идёт запятыми и точками третий день,
набивает проспекты хлопьями долгих пауз.
Медиатор кочует по струнам, звеня: дрянь-дрень.
Но мелодии все забрал уже Раймонд Паулс.
Как и я, он, наверное, тоже глядит в окно
на летящие с неба точки и запятые,
а за небом распоротым где-то уже давно
поминают нас тихо ангелы и святые.
Заплетаются пальцы на грифе, скрипит колок,
запивается время крепким цейлонским с мёдом.
Лишь протащит собака игрушку в свой уголок
да прохожие пьяно выкрикнут: «С новым годом!»
И пойдут магелланами шумными в тот район,
где ещё не ступала пятка в две тыщи энном.
Запотело окно. Отпечаток руки на нём
превращается в откровение постепенно.

ПОДРОБНОСТИ

Подробности ярче всего.
Особенно в сонной кофейне.
Из окон, открытых во двор,
слышны разговоры по фене.
Оттуда же птичье «чи-чи»
и запах марихуаны.
Врезаются в ногу ключи
с монетами в правом кармане.
А я почему-то один.
Ищу неслучайность в деталях.

Фотограф по имени Дин
за это мне б водки поставил.
Бесспорно заманчиво, но
я здесь. На пороге открытий.
Леплю из нюансов кино,
забыв, я актёр или зритель.

* * *

Стрелки — спицы — колесо.
Мчит велосипед.
Циферблатное серсо
ускоряет бег.
Под моей рубашкой тоже
слышен тихий стук.
Посмотри, как быстро, Боже,
я качусь без рук.

ГУМИЛЁВ

По улице Радищева ночами
гуляет одинокий Гумилёв.
Кружится снег, ложится за плечами
кристаллами невысказанных слов.

Он думает, конечно же, об Анне.
О первой. А потом и о второй.
Об Осипе Эмильевиче, камнем
исчезнувшем под тёмною водой.

О Лёве, о Есенине, о Блоке,
о навсегда исчезнувшей стране...
Идёт поэт куда-то одиноко.
И снег кружится в полной тишине.



Лёнька СГИНЬ

/ Москва /

ЧЕТВЕРО ПРОСЫПАЮТСЯ

Четверо просыпаются. Семь утра. Двое в одной постели. Один в переполненном вагоне на пути в город. И ещё один — один в пустой квартире.

- Ты опять говорил во сне.
- Да? Работа сверлит башку.
- А мне приснилось, что я утонула...

У двоих есть нечто вроде любви. Они разговаривают друг с другом, когда плохо. И ссорятся, когда плохо совсем. Оба худы телом. Приятны лицом. Соприкасается кожа с кожей. Оба стремятся быть одним целым этим утром. Или...

- Это какая станция?
- Конечная.

Ещё один считает, что в пути он никогда не один. Видимо, поэтому работает курьером. И ещё, потому что имеет лишние килограммы. Он много читает и знает, что одному жить спокойней. А отца достаточно навещать раз в неделю. Костяшки кулаков белеют. Скулы напряжены. Он рад, что один. Или...

- Доброе утро тем, кто только что проснулся!

Ответа нет. Шарканье ложки по тарелке. Челюсть работает для измельчения пищи. Глотка занята её поглощением. Да и кто будет отвечать телевизору? Даже когда один. У этого одного спортивное тело. Собственный график. И полная независимость от окружающих. Без или.

Их осень залеплена грязью унылых свершений. Они молоды, здоровы и знают, что так будет вечно.

Раз.

Снующий офис с миллиардом звонков. Какой из них важнее?

- Алло, сынок, у тебя всё хорошо?
- Да, мам, работа-работа. А ты как?
- В сердце стрельнуло. Подумала, у тебя что-то случилось.
- У меня всё нормально. Сейчас работа, вечером перезвоню...

Алло, да, Вась, в почте отвечу...

Два.

Бездушный вагон метро с легионом пассажиров. Один упадёт — на его место встанут двое.

- Здесь женщине плохо! Помогите на платформу вытащить...

Монотонный голос перебивает:

- Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...

— Да-да, приеду вовремя, уже пересадку делаю, — курьер топчется, спасение утопающих не про него.

Три.

Тренажёрный зал. Звяканье жизни в зеркальных стенах. Чем чаще тренируешься — тем больше думаешь о еде.

— Сегодня всё хуже, чем даже месяц назад. Опять бухал? — лицо молодого тренера мрачнеет.

— Что? — на дорожке седой сорокалетний айтишник, — ну... вчера корпоратив был... грамм триста вискаря.

- С колой?!

В ответ угрюмый бег на средней скорости. Тяжёлый взгляд сквозь диоптрии. Пот льётся на седые брови.

- Ну ты... унтерменш... — цедит тренер.

— Кто?

— Халявщик в розовом манто.

— Ё-моё... — айтишник сходит с дорожки, майкой протирает очки, — такой ты злой. Неужели никогда не расслабляешься?

— Почему же, на кардио и расслабляюсь.

Айтишник покидает зал. Он вновь мечтает о том, что пора расслабиться и отказаться от тренировок. И всё-таки вернётся. Как всегда. Его жизнь крутится по инерции. А тренировки помогают отсечь прошлое.

Четыре.

Семинар в Литературном институте. Сотни будущих писателей, переполненных надеждами. Кто из них выстоит перед критикой и станет хоть кем-то?

— Вы здесь запятую пропустили. Да и весь текст грязный. Чистить и чистить. А как вычистите, то и до сюжета доберёмся. С ним совсем всё плохо.

— Ну не так и плохо, Вера Марковна. Я вот вижу определённый потенциал в барышне.

— Мы с вами, Юрий Петрович, дома поговорим о потенциалах, когда я с форума вернусь. А здесь всё ясно. Чистите!

Зарёванная «барышня» глотает глицин. Она не думала, что и творчество может стать рутиной.

Четверо просыпаются сквозь решето будней. Вечер.

— Софизм завязан на религии.

— Не всегда.

— А когда нет?

— Когда религия мертва, — худой подтягивается на турнике во время спора. Его зовут Андрей.

— Только не врубай писателя! — полный спорит, пропуская подход за подходом. Он Илья.

— Ладно, — выдыхает «писатель», — это верно, что софизм часто используют религиозные люди. Например, если просят атеиста доказать, что Бога нет...

— А если без бога? — кто-то шумно вздыхает при этом вопросе. Спор происходит в тренажерном зале.

Андрей прыгивает, восстанавливает дыхание:

— Не вспомню сейчас.

— Ясно. То есть ты толком не знаешь, что такое софизм?

— Погоди, знаю! Это то, чем ты сейчас занимаешься, — и идёт делать пресс.

Илья чешет лоб. Приближается к спортивному другу:

— Слышал?

В ответ скрежет тренажёра. Спортивного зовут Рома. Он фитнес-тренер.

— Знает, потому что знает, — делится шёпотом Илья, — и такой гордый.

— Разбирайтесь сами, — звенит снарядом тренер, — у меня трена.

Илья потеет, хоть и сделал всего один подход за вечер. Его кисти дрожат. Он решает уйти, когда в дальнем углу кто-то роняет блин на ногу. Помещение наполняется шумом страданий.

— Пока, ребят!

Полная фигура влезает в куртку, причёсывает рыжую голову и движется по замызганному пейзажу городских окраин. До дома Илье ехать сорок минут на электричке. До электрички десять минут курьерским шагом.

— Привет, Инга! — Илья кивает встречной девушке. Он видел её всего два раза в жизни, но запомнил лицо. Всегда запоминает. Курьерская привычка. Инга останавливается, роется в памяти:

— О, привет... ты же Илья! Мы летом общались. Андрей там долго ещё? — Инга — это девушка и сожительница писателя. Её бледное лицо улыбается алой помадой.

— Вряд ли... а ты с учёбы, что ли?

— Ага, Андрей машину у метро оставил. Накачается и поедет.

— Ясно, а дела как?

Инга поправляет волосы. Это смущает полного собеседника. Он читал, что так девушки показывают мужчине свою заинтересованность.

— Ну, так... что-то ссоримся часто. Из-за моей писанины, в основном. Ещё сон этот...

Девушка закуривает и отходит к проезжей части. Её лицо дрожит в мигающих цветках электричества.

— Писанина? Ты тоже пишешь?

— Тоже? Я учусь в Литературном! Андрей стал писать из-за меня.

— Ого! — Илья знает, что это неправда. Что самодовольный писатель стал писать в стол задолго до встречи с этой... утончённой, притягательной... у неё такие невинные ямочки на щеках. Илья наблюдает, как курит этот ангел. Ветер дёргает девушку за пальто, тянет в сторону дороги, где рыскают хищные цветки фар.

Он хватает Ингу за талию:

— Осторожно! — их лица оказываются слишком близко.

— Ты чего? — она вырывается.

— Хотел помочь... погоди, а что за сон?!

Девушка оборачивается на ходу, чтобы показать всеми чертами лица свою обескураженность. Смешливые губы выпускают дым. Илья в восторге от её мимики. С тупой улыбкой бредёт дальше. Мимо небольшого пруда и редкого леса. Мимо своей мелкой жизни. Бредёт толстяк и тупо лыбится сам себе. Наконец, он набирается смелости, достаёт мобильник и пишет всё недосказанное.

Четверо просыпаются от скучной жизни. Грядут перемены. По крайней мере, им всем так кажется.

Ветхая пятиэтажка ждёт воплощения плана по реновации. Внутри неё копошится жизнь:

— Андрей, посмотри, пожалуйста, — девушка подзывает к компьютеру, — меня Вампилов к себе в гости зовёт. Хвалит мои рассказы, хочет разобрать.

— Твой препод, и в гости? Странно как-то. Ему сколько? 60? — парень приближается и заглядывает в переписку ВК.

— 51. Ну, он говорит, что можем с тобой вместе приехать.

— Чтобы я за тобой присмотрел?
— Нет, какой-нибудь твой рассказ разберёт.
— Надо подумать...
— Он сегодня зовёт. Нам на такси 15 минут.
— Такси? Значит, пить надо? Тогда точно нет...
— Ну да... вино. Почему точно?
— Я устал и потный весь. И работал целый день. И... а кто это там ещё тебе пишет?

Инга выходит из ВК:

— Никто... я тогда без тебя поеду. Это важно.
— Это же Илья, да?
— Не важно.
— Нет. Наоборот. Важно не то, а это, — Андрей обнажает зубы. Когда-то Инга любила его улыбки. До тех пор, пока не научилась их различать. От этой вот ничего хорошего не жди. Зубы блестят, а глаза сосредоточены, и нос заострился.

— Да, это Илья. Рассказал о вашем дурацком споре про софизм. Ты вызовешь мне такси? — девушка вытаскивает мобильник из сумочки и снимает блокировку, нарисовав пальцем букву Z. Что-то читает.

— Погоди-ка, а зачем он тебе про это пишет?

Инга минуту молчит, одевается. Андрей уходит на кухню и думает, что взять: кружку с чаем или нож.

— Говорит, что спорил против вас двоих и хочет узнать моё мнение.

— Врёт, — парень возвращается с кружкой.

— Мне самой вызвать такси? Ну, он немного не так написал.

— А как? — Андрей берёт свой телефон со стола, открывает Яндекс-Такси.

— Что обычно Рома тебя поддерживает, и нет смысла... и что ты вообще слишком много о себе возомнил. И что у меня не писанина, а произведения...

— Как-то по-бабски звучит, — снова обнажаются зубы.

— Я не покажу переписку.

— А какой рассказ ты хочешь разобрать, кстати? Надеюсь не тот, про поцелуи в Макдональдсе?

— Сама решу.

— Удачи тогда, — писатель включает погромче Placеbo в компьютере и уходит на балкон курить. Там, опёршись на перила, он попивает чуть тёплый чай, втягивает никотин и сквозь музыку ловит каждый шорох из квартиры.

Проходит вечность секунд. Хлопает дверь. Внизу из подъезда выходит стройная девушка с распущенными русыми волосами. Гул её каблучков ещё долго стучит в висках.

Четверть времени просыпается в никуда. Им всем давно за 20. Уже поздно жить, как прежде. Небо забито грязной ватой, заволакивает головы.

— В общем, разбирайтесь сами. Он меня не слушает... — это приходит Илье от Инги спустя два часа. Он так и не поехал домой. Решил сходить в кино. Один. Купил два пива и чипсов. И теперь в полупустом зале с хрустом смакует своё одиночество. Что ответить этой стукачке? Ведь он просил не передавать их разговор писателю.

Впрочем, теперь, сидя в гробовом уюте кино-кресла, Илье не может понять, на что он надеялся. Эта девочка наверняка любит своего доморощенного писаку и, конечно же, во всём ему доверяет.

— Молодой человек! У вас следующий сеанс тоже оплачен?

— Нет, — полная фигура вздрагивает посреди пустой тишины, сминает шуршащий пакет и уходит, — всего доброго.

— Приходите ещё!

Рома выходит из тренажерного зала уже после 11 вечера. Уши заткнуты риффами In Flames. Сыплет первый снег. Широкоплечая фигура движется неспешным шагом по ноющей слякоти. Взгляд устремлён вперёд и лишь изредка отвлекается на собственные отражения, мелькающие в стёклах припаркованных машин. Этому одному тоже ехать на электричке. До неё полчаса широкоплечим шагом.

Именно поэтому он застаёт трёх остальных в разгар спора у небольшого пруда. Худой взбешён и едва не душит полного. Трясёт его за грудки. Инга с кем-то смеётся по телефону. Курит. После убойной тренировки соображать не получается и трудно выдать, кого слушать.

Усталый взгляд опускается в ноги:

— Ребят, вы чё тут?

Рома размышляет, что двигайся он чуть быстрее и не встретил бы никого. Чуть медленнее и, может, успел бы различить красные пятна драки в сереющей жиже. А сейчас двое тупых самцов борются за самку, которая сожрёт победителя.

Одна из фигур приближается к тренеру:

— Ром, пригляди за Ингой, пожалуйста.

— За ней, что ли?

Трое парней смотрят в одну сторону. Там девушка ходит по окаёмке пруда, выпускает колечки в небо, щебечет по телефону.

— Ага, — Андрей кивает, — с подружкой треплется, утонет ещё. Ей приснилось, что утонет. Теперь нарочно так ходит.

— Она не тупая! — полный наваливается на худого.

— Да какого чёрта, жиробас! — они катаются в грязи. Нелепо суют кулаки друг другу в лица. Наконец, писателю удаётся ударить курьера затылком о сырой асфальт. Тот крикает и расслабляется, — Илюх, ты живой?

— Иди на хрен! — курьер резко сгибает колено и бьёт писателя в живот. Стоны. Взаимные упрёки.

Сидят грязные, ловят воздух.

— Я, кстати, Википедию почитал, — Андрей поднимается, ищет сигареты, — там у софизма вообще несколько значений. Так что, чёрт разберёт, что это такое. Зато я придумал пример без Бога. Когда просишь девушку доказать что она тебе не изменяла...

— А зачем ты приехал, Андрей?

— В смысле?

— Ну... то есть, как ты узнал, что мы здесь?

— А где все? — удивляется Андрей. Они остались вдвоём у грязного пруда.

Первый снег перешёл в дождь. Тоска двух одиночеств:

— Может, пошли бухнём?

Четверо пересыпаются из ладони в ладонь. Камешки. Найди теперь пару.

— Она мне написала... — Андрей отвечает уже сидя в баре.

— Что?

— Чтобы приехал за ней к пруду.

Илья проглатывает полкружки пива:

— Дрянь.

— Она не тупая! — писатель вскидывает руки по-медвежьи, изображает рёв. Лыбится своей депрессивной улыбкой.

— Пошёл ты! Писун... Я про пиво.

— Это да... А Рому я не понял.

— Почему? Инга красивая.

— Ты про что? — Андрей смотрит сквозь собеседника, — погоди... Она же не спортивная.

— Так... а ты про что? Может, мы оба что-то не поняли... давай позвоним ему.

— Полночь...

— Плевать... — курьерские пальцы уже набрали контакт в телефоне. — Алло, Ром, а Инга с тобой?

Андрей слышит усталый тренерский вздох в трубке: «Нет».

— Блин, — Илья чешет лоб, молчит несколько секунд. — Серьёзно?

Тренер не отвечает. Андрей забирает трубку:

— Ром, здарова! Я же тебя попросил присмотреть за ней. А ты свинтил?

— Слушай, да как ты заколебал с этой курицей. Присмотрел я! Она на такси уехала счастливая. Я за ней должен был? Счастье делить? Всё, мне есть пора и спать.

Гудки.

— Да он гонит, — бормочет Андрей, — она же с подружкой трепалась. По ходу, она с ним.

— Ты же говорил, что она не спорти...

— Говорил! А теперь он гонит.

— Ну... вообще, я тоже подумал, что она с ним.

— Ты сказал... а думать теперь мне. Ладно, разберусь. Всё, мне пора.

— Мне давно пора. Электрички уже не ходят.

— Серьёзно? — писатель постукивает костяшками по столу, — ну, поехали к нам. То есть, ко мне. Я же теперь один.

— Может, зря мы на них?

— Может...

Четверо вязнут в шумном нигде. Тени будущего. Отныне и никогда.

Светлая Сталинка. Просторная квартира с видом на реку:

— Зачем с моим другом? Саму не тошнит от себя? — Инга читает это, лёжа в чужой постели. «С другом?» — Размышляет, кривя поблекшие губы. Пишет:

— Глупыш, я вовсе не...

— Талантливая моя, всё корпите над своими гениальными виршами?

Тонкие пальцы стирают написанное. Выйти из ВК и вслух:

— Проснулось вдохновение после ваших похвал, — она прикрывает грудь одеялом.

— Право, какие похвалы? Только вдумчивый анализ. Стоит задуматься об издании... — голый Вампилов крадётся поверх одеяла. Седые волосы топорщатся внизу живота, сетка капилляров покрыла шею. Что ж, зато какие жилистые руки. Все в могучих венах.

Преподавательские пальцы ползут по молодой коже. Сжимают нежную плоть. Щетинистый рот шепчет сквозь поцелуи:

— Богиня! Мне не устоять.

— Тише-тише, сударь... да!

В окно долбит дождь. Андрей курит прямо в комнате.

— А почему ты при Роме никогда не куришь? — Илья валяется на ковре, разглядывает комнату.

— Всё ты подмечаешь. Ну... ему же неприятно.

— А мне разве приятно?

— Тебе на всё наплевать. Поэтому ты курьер в 24 года.

Илья опирается на локоть:

— Может, я тупой просто?

— Тогда бы ты не читал в электричке. Но, в целом, может ты и прав... смотри, статус поставила: «Иногда и суровый учитель умеет быть нежным!»

— Инга?

— Бинго! Ты реально тупой...

— Ну а чего ты ожидал от жирного курьера? Кстати, тренер — это же типа учителя. Так?

Парни смотрят друг на друга через прокуренный воздух, где всё ещё витает запах духов той, ради которой они готовы биться на тупых кухонных ножах.

— Вот поэтому я и не завожу отношений, — курьер потягивается на полу, оголяя пузо.

— Потому что не хочешь секса?

— Нет. Потому что все отношения заканчиваются разбитыми сердцами. Мой батя начал пить из-за матери. Узнал про её курортный роман. Потом опомнился, но было поздно. Мама умерла, когда мне было пять.

— У Ингиных родаков похожая история: отец спился, мать ушла к другому. Общаются раз в месяц. Мать жива, но, по-моему ей совсем не до дочери. Я своего батю никогда не видел... — Андрей приоткрывает дверь на балкон, выпускает ночной воздух. — Но не у всех так. Да и что за... разбитое сердце. Оно же не хрустальное. Учи анатомию. И вот ещё... — он закуривает новую, — если б ты, к примеру, знал, что электричка, на которой едешь на работу — в конце пути собьёт тебя и перережет ноги? Ты бы поехал?

— С чего бы ей...

— С того бы, — перебивает писатель и тушит едва начатый бычок в пепельнице, — люди сходят с электричек, бегут к новым, забыв обо всём. И... — Андрей хлопает в ладоши, — так бывает, но не со всеми. Ладно, спим. Завтра пятница — на работу.

Жилистая рука на выпуклости груди:

— Доброй ночи, сладкая моя.

Под упругим прессом благодарный желудок. С экрана бормочет сериал. Пора спать, тренер.

Четверо засыпают. Или не четверо...

Один встаёт, когда все уснули. У этого одного бессонница и твёрдые намерения, но мало подходящих слов. Он и сам не понимает, что за дрянь с ним творится. Ему хочется выговориться, и не получается начать. Нужно хотя бы встретиться. Он берёт мобильник и пишет: «Инга. Надо поговорить. Напиши, когда можем встретиться».

Телефон загорается далеко на тумбочке. А выбраться из-под седой венозной руки практически невозможно. И Инга засыпает, размышляя о том, что произошло сегодня в её жизни. Ей снится, что она утонула и, лёжа на дне, читает эсэмэску от незнакомца: «Вы талантливы, будьте моей! Водяной».

Утро.

Андрей просыпается от будильника. Он один в съёмной квартире, пропахшей затхлым табаком. Вспоминает, что вёл машину после двух пива. Дебил. Тупее жирного курьера. А ещё мнит себя писателем. Обычный менеджер по продажам. Он выпивает два стакана воды, чистит зубы и уходит, не переодеваясь. Край мятой засаленной рубашки торчит из-под куртки.

— Дрюня! А что-то сегодня Ингушу не видать? Не заболела? Обычно ранняя пташка, — у подъезда сидит вечнокурящий дед в пиджаке, знающий всех жильцов поимённо.

— Вроде того, — бросает Андрей и тоже закуривает. От сигареты его подташнивает. — Доброе утро, дед...

— И тебе не хворать, малой.

— Простите, а как вас зовут?

— Пусто-о-ое... — дед выпускает дым через нос, — скоро Никак буду. Поминай, дедушку, не забывай.

Андрея эта фраза вводит в ступор. Он движется вдоль дома, опустив глаза в асфальт. Как же можно поминать без имени? Сидят люди за столом. Разговор не клеится. Вдруг один встает со стопкой и говорит: «Хороший был человек, всегда умел слова нужные подобрать. Ну, за деда с подъездной лавки!» И все понимают о ком речь, пьют, не чокаясь.

Четверо движутся по кругу. Пора всё по новой. Шелест асфальта в суете толпы. День без дождя.

— А друг ваш не дома ли? — жилистые руки уверенно держат руль, но голос вздрагивает.

— Теперь без разницы, — шепчет Инга и слышит, что тоже волнуется, — заберём вещи, и всё будет кончено.

— Ну, знаете, милая, не хотелось бы этих сумбурных сцен. Всё-таки этот ваш... Андрей. Он ведь тоже писатель. А мы народ горячий!

— Никакой он не писатель. Только болтать и чужое критиковать умеет. И он сейчас на работу должен ехать. Офисный планктон...

— Критики ещё более непредсказуемый народ, ангел мой. Впрочем, решено так решено. Где тут поворот? — на ходу преподаватель вытягивает из бардачка чёрный портсигар, предлагает закурить девушке, но та отказывается. Мужчина тоже не курит из солидарности. Убирает портсигар обратно, звякая обо что-то.

— У вас там пистолет? — замечает девушка. Рыцарь хранит молчание.

Золотистый Субару останавливается на перекрёстке напротив Андрея, курящего в окошко старой Шкоды. Парень погружён в себя и не смотрит по сторонам. Думает о безответных сообщениях и не видит ответа перед самым носом.

Загорается зелёный.

— Вот и он. Уезжает. Так что обойдёмся без сумбурных сцен, Юрий Петрович.

— А жаль! — ободряется преподаватель, — я уже мысленно приготовился к поединку!

— Несомненно, вы рыцарь! — говоря вскользь эту пошлость, Инга просматривает ленту ВК. Отвечает на поток сообщений Андрея многозначительной незаконченностью: «Теперь без разницы...»

За окном Субару виднеется знакомая пятиэтажка. Двое выходят из машины и направляются к подъезду с курящим дедом.

У Ромы не идут силовые в этот день. Он давно абстрагировался от любовных проблем и выглядит неуязвимым, но всё же переживает за друзей. Ещё клиент позвонил, который так и записан: «Седой айтишник». Объяснял, что после вчерашнего никак не может настроиться на следующую тренировку. Сильно его задело слово «унтерменш», значение которого он загуглил тем же вечером. В общем, вскрыл мозг, а потом пообещал, что придёт тренироваться во вторник. Нытик. Битцепсы наливаются кровью. Нужно поднажать до соревнований, а тут вся эта хрень.

У Ильи отличный день. Он выспался, потому что ехать до офиса оказалось в разы ближе. Уже до обеда сгонял в два места по работе и успел навестить отца-алкаша, живущего в коммуналке на окраине. Теперь гуляет по центру, лелея своё одиночество. Подумывает взять пива, но боится, что запах не выветрится до вечера.

— Алло!

— Сынок, привет! Так и не позвонил вчера. Я волнуюсь.

— Всё нормально, мам, — Андрей отвечает на бегу, — с работой закрутился. Извини. Сама знаешь.

— Это хорошо, что много работы. Значит тебя ценят.

— Да, наверно. Давай вечером перезвоню? Алло, Вась. Да, вижу-вижу, сейчас отвечу...

— Хорошо, не забудь, сынок.

Четверо поменялись, но просыпаются сквозь то же решето. Конец будней. Вечер.

— Так, и что тут у нас, — в квартиру входит Вера Марковна, — Господи, ну только не с этой бездарщиной. Юра!

— А? Что собственно... — Вампилов вскакивает с дивана, резко выпростав руку из-за спины Инги. Они смотрели «Титаник». Любимый фильм девушки.

— Что?! Он ещё имеет наглость спрашивать! С тебя штрафной отпуск. Вот что! Опять застукан, голубчик!

— Опять?! — Инга тоже встаёт с дивана.

— Представь себе, родная! И так каждый форум. Даже не стесняется, негодяй!

Вампилов уходит в дальний угол, смотрит в окно:

— Ты опять меня обманула, Верочка! Ведь форум должен был завтра закончиться...

— Давай оставим, Юрочка... мы друг друга поняли.

— Юрий Петрович, что это?! Ведь вы...

Преподаватель поворачивается к студентке. Она вся красная запустила руки в волосы:

— Что мне теперь с вещами делать? Три сумки, ещё и кресло компьютерное прихватила! Вы обещали, что...

— Он всем обещает, родная...

— Заткнись! — Инга покрывается красными пятнами и напирает на соперницу, — я тебе не...

Ей в лицо прилетает пощёчина. Жилистая рука крепко оглушает на несколько секунд:

— Как ты смеешь, сопливая потаскуха?! Это моя жена!

Гул разрушенных надежд в сталинских стенах.

— Ну и что скажешь? Тоже будешь эту овцу в небо возносить? — Рома даже не здоровается. Весь дёргается и не смотрит в глаза. Переминается на месте. Таким Илья ещё не видел тренера, и сейчас после недавней встречи с отцом, которого периодически навещает белка, он замечает сходство:

— Хреново выглядишь, братан. Кто-то спать не давал?

— Я тебя не про то спросил! — огрызается тренер, — у меня-то всё нормально! А вы вот по ходу оба с катушек слетели из-за какой-то...

— Погоди! Ты её почти не знаешь. А всё вчерашнее — это ошибка. Это не она.

— Ты тупой реально! Они уже третий год вместе трутся! Хрен ли мне её не знать? Тем более после вчерашнего.

— За это время ты с ней раза три разговаривал. А вчера тебе, наверно, и некогда было, — Илья косится на друга, — ты о другом думал.

— Я вообще не хотел думать. Только не получилось. В башке всё это засело. Как бы не слить форму перед соревами...

— Совесть замучила?

Стоят-молчат минуту. Каждый со своим виденьем мира. Всматриваются в грязный пруд. Тренер пинает ледышку:

— Она ему рога наставила. Ты хоть это понял?

— Конечно, понял! Я тупой, но не настолько. Меня другое беспокоит! О чём думал ты? Ведь мы друзья! Андрей твой лучший друг! А ты...

— А что я? Должен был за ней бежать?

Курьер щурится на собеседника. Следит за его дёрганной мимикой, спрятанными глазами. И заявляет:

— Слушай, хорош! Хоть мне не втирай. Это не ты, а она за тобой побежала. Мы всё поняли с Андрюхой. И даже видели... почти.

— Вы?! — Рома, наконец, смотрит в глаза другу. Бледнеет. Суёт потные руки в карманы куртки, а через секунду резко выкидывает одну, бьёт торцом ладони по курьерскому уху. — Вы оба... унтерменши! Она всех развела! — и торопливо шагает в сторону электрички, забыв напрочь о своей широкоплечей походке.

Илья удерживается на ногах, но ничего не понимает. Мир вокруг звенит пустотой и бездушностью. Мир вокруг нас такой же, как и внутри. Иногда об этом задумываешься, только получив в ухо.

— Погоди, Ром! — он догоняет друга, — объясни всё. Называешь тупым, а ждёшь, что я должен быть понятливым.

— Да не... просто рожа твоя взбесила. Ничего ты не должен. Сейчас надо с Андреем увидеться.

— Зачем тогда к платформе идёшь?

— В натуре! — Рома резко разворачивается, задев Илью плечом. — У меня уже крыша с вами съехала...

У четверых нервы на пределе. Кто-то сломается первым.

— Меня тошнит от тебя, Андрей!

— Зачем ты тогда мне позвонила? Ещё хотела, чтоб с работы раньше ушёл.

Они стоят у проезжей части. Курят. Инга заторможено шатается в цветках пролетающих фонарей. Писатель испытывает жалость к бывшей и в то же время сдерживается, чтобы её не ударить. У него звонит мобильник:

— Да? — там тренер предлагает встретиться, — да, Ром. Я как раз с Ингой обсуждаю всё. Подходи. Рядом с метро.

— Ты рехнулся?! Зачем этого качка тупого позвал? — её слова растянуты, окончание одного сливается с началом другого. Минуту назад Инга призналась, что приняла Фенозепам перед встречей, «чтобы хоть немного успокоиться». Такая новость удивила писателя. Раньше его девушка принимала что-нибудь вроде Нурофена и посмеивалась над однокурсницами, сидящими на более серьёзных препаратах. Такой взгляд на вещи казался Андрею адекватным и близким ему.

Сейчас у дороги стоит совсем другой человек, отчуждённый взгляд таращится по сторонам, бездумная рука то и дело суёт сигарету в рот. Девушка выглядит потерянной, и ещё... побитой.

— Это что, синяк? — писатель по привычке подносит руку к её лицу.

Инга мотает головой, щерит зубы, силясь что-то сказать. Видимо, Фенозепам набирает силу.

— Твоя мать в курсе, что ты на новый препарат перешла?

Снова мотание головой, взгляд куда-то в гортань собеседника, губы липнут к сигаретному фильтру.

— Андрюх, здорова! Инга, привет! — тренер хлопает старого друга по плечу, сжимает ладонь крепкой хваткой. Выглядит бодрым. Совсем не похоже на мрачного нелюдимого Рому последних дней. Илья стоит позади с распухшим ухом, кивает. Тоже не похож на себя, поглядывает на Ингу.

— Ром, ну давай расскажи, — начинает писатель, — я, может, правда что-то не понимаю. У Инги вон синяк на скуле. Предложила встретиться, а сама вообще не в форме. Что случилось-то?

Рома улыбается двумя рядами зубов. Как будто хищник ощеривает клыки:

— У неё бы и узнал! — он ещё открывает рот, но выходит только морозный пар. Вскидывает брови. Видно, что активно думает.

— Странные вы все какие-то, — Андрей вытаскивает сигарету, машинально суёт в рот. Ищет зажигалку и вспоминает, что не курит при тренере, хочет убрать.

— Кури-кури! — смеётся тренер так, будто готов вогнать этот табачный стручок глубоко в писательскую глотку.

— Ребят... — тянет курьер как-то излишне осторожно, — Инге плохо!

Все трое оборачиваются. Девушка согнулась, её тошнит.

— Её от меня тошнит, — шутит писатель и кладёт руку ей на плечо. Вдруг Инга выгибается и делает два стремительных шага вперёд. На ходу оборачивается, обнажая всю свою богатую ироничную мимику. Алые губы распахиваются:

— Иди на... — не успевает договорить. Её сбивает серая Газель. Задевает боковым зеркалом по голове. Волосы взметаются вверх, шея по-лебяжьки сгибается. Тело проворачивается винтом и шлёпается.

Вой шин по сырому асфальту. Оцепенение троих. Стоят и тупо смотрят на распоставшуюся четвёртую. У писателя звонит мобильник. Он сбрасывает вызов от мамы.

— Народ, чё тупим?! Скорую вызывайте! Дышит! — водитель Газели согнулся над пострадавшей и смотрит на троих парней исподлобья. Андрей сбрасывает ещё один вызов от мамы и набирает 112.

Четверо разделили жизнь на «до» и «после». Или жизнь разделила четверых.

— Сынок, я только хотела сказать, что лежу в больнице. Всё в порядке, не беспокойся!

— Что?! — Андрей в больничном коридоре. — Я тоже! Ингу машина сбила, всё обошлось. Сейчас в травматологии! А что у тебя случилось?!

— Инфаркт случился. Но не сильный. Скоро буду бегать. А как Инга?

— Нормально. Мама... я приеду сейчас.

— Да куда ты поедешь! Побудь со своей любимой. Я в кардиологии, другой конец города. Пока доедешь — приём посетитель закончится.

Андрей, кивая маме в трубке, возвращается в палату. Там спят две пациентки под обезболивающими. Первая: тётушка с задранной к потолку ногой в гипсе. Вторая: Инга с перебинтованной головой. Рядом с ней на тумбочке загорается мобильник.

— Я поужинала уже: пюре давали, котлетку, хлеба два куса... — перечисляет мама. Парень подходит к тумбочке, там сыплются сообщения в чат ВК от Вампилова: «Простите, милейшая моя!» «Погорячился старый гусар!» «Умоляю, не молчите!» «Болит ли рана?» «Моя ужасно ноет, там в груди!» «С Верочкой я всё уладил!»

«Ему же 51, — почему-то вспыхивает у Андрея в башке, — тебе 51! Куда-а-а?!»

Он берёт телефон и пробует разблокировать, проведя пальцем: Z. Получается. Не поменяла. Заходит в чат и просматривает переписку за последний месяц. Ноги сами выносят из палаты, в ухе по-прежнему воркует мама.

— Как думаешь, выживет она?

— Да её даже толком не задело.

Курьер с тренером сидят на лавке в больничном дворе. Пьют колу. Курьер уточняет:

— Думаешь?

Тренер кивает. После происшествия он снова замкнулся, почти перестал говорить.

— Да, мам. Ты умница. Завтра тебя навещу после работы. Целую! — писатель подсаживается к друзьям, — извини, Ром...

— Что?! — тренер вытягивает шею вперёд, между ними сидит Илья. — За что? Она в коме?

Андрей смотрит на него, молчит, двигает скулами. Потом достаёт другой мобильник:

— Хуже...

— Умерла?! — это выкрикивают двое, нелепо, по-детски, переглядываются, смутившись.

— Э-э-э... нет, простите, ребят. В плане здоровья с ней всё в порядке. Она даже позвонила своей матери. Та обещала приехать послезавтра или...

— Хрен с ней! — перебивает тренер, — говори, что хотел.

— Вот! — писатель проводит Z и протягивает мобильник друзьям. — Читайте...

Двое склоняются над экраном. Их лица высвечены в темноте больничных сумерек. Глаза бегают туда-сюда, ударяясь о кромки экрана. Андрей начинает нервничать:

— Чёрт... наверно, зря я. Дайте. Вам ни к чему в этом дерьме копать.

— Вампилов... он кто? Однокурсник? — Илья закрывает глаза, говорит, как в трансе.

— Да он же почти дед. На фотке видно. Это препод. Ему 51.

— Овца... — цедит тренер и тут же начинает вбивать текст в мобильник Инги.

— погоди! Зачем ты?! — писатель хочет выхватить, но его руку останавливает курьер с закрытыми глазами:

— О, прикольно получилось! Угадал твоё движение вслепую...

— Так... он что-то отвечает! Ты знаешь, где он живёт, Андрюх?

Писатель, помолчав, достаёт сигарету. Он чувствует, что проще было бы закрыть глаза на подлую измену. Отпустить эту «змею». Пусть ползёт, куда хочется. И всё же где-то внутри разгорается уголёк. Учи анатомию, курьер. Сердце вовсе не хрустальное. Оно из огня.

Четверо сбросили шкуру. На деле оказалось, что их трое.

Андрей не знает, где живёт Вампилов, поэтому договариваются на встречу в ресторане через час. Вызовы сбрасывают. До старой писательской Шкоды друзья проезжают на автобусе четыре остановки. И выдвигаются в центр города.

— Верочка, у меня встреча со студентом. Будем разбирать его текст про... отношения отцов и детей. В общем, как всегда банальщина... вернусь поздно, — седой преподаватель говорит это, стоя в прихожей.

— Опять к своей потаскухе намылился! — доносится из комнаты, — Юра, Господи, если б не...

Юрий Петрович поспешно захлопывает дверь, чтобы не слышать опротивевший голос жены. Если б не... его ангельские терпение — вот на чём всё зиждется! Он закуривает на лестничной площадке пятого этажа и спускается пешком, любясь цветками бегающих машин за окнами.

Ему 51. Что он хочет от этой жизни? Всё, что мог он уже написал и опубликовал. Великим ему не стать — это ясно. Слишком поздно, душа уже стянулась морщинистой кожей, измельчала. Да, есть писатели, которые возвеличились и позже, но это единицы. Не стоит тешить себя глупыми надеждами. Нужно цепляться за новую жизнь. Становиться учителем великого. Овладевать великим! Жилистые пальцы набирают: «Выезжаю, великая моя! С трепетом жду нашей встречи!»

Андрей читает этот престарелый вскрик нежности, сидя за рулём. Рука вздрагивает, роняет мобильник.

— Чё там? — тренер сидит спереди на пассажирском, тянется поднять.

— Не поднимай, Ром. Едет он.

За окнами маленькой машины снуёт ночной город. Никому нет дела до старой Шкоды и тем более до тех, кто в ней.

— Как дела, Андрюх? Что-то видимся только в зале. Как работа?

— Работается, — отмахивается писатель, — сейчас ещё пока сезон, так что всякой дребедени до потолка. Даже по вечерам, когда уже дома, клиенты часто звонят. Последний месяц почти не пишу тексты. Времени нет.

Тренер кивает:

— Хорошо, когда работы много. Значит, ты нужен кому-то.

— Ого... Ты прям, как моя мама говоришь. Ну, наверное, вы оба правы, раз думаете одинаково, не сговариваясь.

— Ну... ты же знаешь, я пока тренером не устроился — целый год дома проторчал. И мама тогда совсем разболелась. Всё к концу шло. Так что я сравниваю со своим прошлым, а ты со своим.

Минуту молчат. Следят за мельканием жизни в лобовом стекле. Сзади доносится храп курьера. Смеются вполголоса.

— Тебе нужно книжки писать, Ром. С такими-то философскими взглядами. Без шуток!

— Это всё от частого общения с умными людьми, — тренер улыбается впервые за целую вечность. — А как там твоя мама?

— В больницу сегодня легла. Говорит, что ничего страшного. Небольшой инфаркт.

— Ты навестил уже?

— Полчаса назад узнал. Договорились, что завтра заеду.

— Обязательно заедь! Ты ей нужен.

— Надо ещё к другой мадам заехать успеть. Мобильник вернуть.

— Препад вернёт...

— Ребят, мы где сейчас? — просыпается Илья, — долго ещё?

— В смысле долго? — оборачивается тренер, — мы уже домой едем. Ты что, опять всё проспал?!

— Блин... а почему опять?

— Сам мне ещё летом говорил, что будто полжизни проспал, а проснулся курьером.

— Вот вы философы, ребята! Почему только я один за всех пишу?!

— Впитывай-впитывай, — снова улыбается тренер и показывает на навигатор, — смотри, километр всего остался.

Трое останавливаются на светофоре. Самый центр города. По пешеходному переходу движутся высокие девушки в пятничных вечерних платьях. Рядом ждут зелёного света дорогие машины. И по соседству встал золотой Субару. Внутри курит седой мужчина. Его замечает курьер:

— Ребят, на девять часов!

— Чего? Ты же курьер, а не моряк, — шутит Рома, — налево, что ли?

— Ага, в Субару не наш клиент, случайно. По аватарке узнал.

— Чёрт! Это он! — Андрей даже открывает окно, — вот это курьерская память!

— Закрой быстро! Всё дело испортишь, — шипит тренер.

— Согласен... но он, вроде, весь в своих мыслях. Предвкушает. Может, просто обломаем его? Напишем через час, что планы поменялись.

— И что? — Рома весь выпрямляется. — Ты считаешь, что этого будет достаточно? Он и дальше продолжит окучивать студенток. Наверняка твоя овца далеко не первая в стаде. И ты не первый, кому этот старикан наставил рога. Не хочешь реального возмездия?

— Реального? Например, трахнуть его самого втроём?

Курьер хмыкает позади. Загорается зелёный, пропуская автомобили. Субару уходит вперёд.

— Вам бы только ржать! Психология неудачников — отшучиваться и глотать...

— Ну ладно-ладно! — перебивает Андрей. — А что ты-то предлагаешь? Как можно проучить его по справедливости и не сесть в тюрьму?

— Я кое-что придумал. Только тебе надо будет отвлечь препода.

— Классно. А ты ему тачку раздолбаешь?

— Всё увидишь. Доверься!

— И сколько мне его отвлекать?

— Полчаса.

— Чего-о?!

— Ну хоть 15 минут. Ты же писатель. И он тоже. Поговорите на своём языке.

— Да уж... так, сюда вроде. — Шкода останавливается на первом свободном месте. Платная парковка. Из радио ревет Nirvana на низкой громкости. Через две машины виднеется золотой Субару. Писатель выуживает телефон из кармана, заходит в приложение, рассматривает меню. Он будто тянет время перед финальным прыжком. Двое других не торопят, наблюдают.

Наконец Андрей молча выходит из машины. Захлопывает дверь. Через секунду возвращается:

— Её мобильник забыл, — подбирает с пола.

Шумливая улица озарена электричеством. У входа в нужный ресторан дымит группа курильщиков. Андрею тоже хочется курить, но он решает отложить это на потом. Двигается в свете фонарей к входу. Позади дважды хлопают машинные двери. Не оборачиваясь, писатель берётся за кованую ручку двери. Ладонь обжигает холодный металл.

— Здравствуй, Андрей, — густой бас Юрия Петровича перекрывает шум улицы. Парень убирает руку с дверной ручки, сует в карман. Преподавателя видно вдалеке, его руки тоже в карманах. Он стоит в драповом пальто, огибаемый пешеходами, посреди широкого тротуара. Статная фигура, аккуратно подстриженная борода. Если не знать о некоторых фактах его жизни, то можно решить, что это порядочный человек. Он приближается, достаёт чёрный портсигар и предлагает:

— Покурим?

Андрей кивает, берёт сигарету, пахнущую мёдом. Кривит рот:

— Вижу, вы не сильно удивились тому, что я здесь.

— Заметил твою машину на светофоре, — преподаватель зажигает спичку, прикуривает, прикрывает огонёк ладонью. Андрей прикуривает от той же спички, затягивается:

— Знаете мою машину?

— Знаю... твоя подруга мне много о тебе поведала.

— Теперь она, похоже, ваша...

— Ну-ну... давай без выпренних заявлений. Пройдёмся, чтобы не смущать твоих друзей?

Парень смотрит по сторонам:

— С чего вы взяли...

— Всё нормально! — Вампилов оборачивается, пройдя пару шагов. — Идём. Уверен, они не станут спускать мне шины или цапать краску. Ведь это твои друзья, а значит люди достойные.

— Ого! Я, наверное, не совсем понимаю значение слова «выспранный».

— Плохо! Ты, видимо, пытаешься пошутить, мальчик. И видимо ты обо мне знаешь значительно меньше, чем я о тебе. Не видишь всей картины!

— Я понял. Можно говорить пафосно, но не выпренно...

— Глупо-глупо, Андрей. Будь серьезным! Будь выше своих приземлённых дружков!

— Не нужно, Юрий Петрович. Я сюда приехал не друзей обсуждать...

— Ты приехал показать свою осведомлённость. Что ж, поздравляю. Как видишь, я тоже времени зря не терял.

Минуту шагают молча, пускают медово-дымные кольца.

— Скажу больше! Я и с твоими писательскими навыками тоже знаком. Всё благодаря Инге. У неё, в отличии от тебя, писательского будущего нет. Бедная девочка...

— Что?! Так вы ей ввали просто, чтобы затащить в постель?! — парень отбрасывает бычок. — Знаете, я тоже кое-что из вашего прочёл. В вас остались ещё хоть какие-то принципы, которыми живут герои ваших историй?

— Ты про веру в правду и любовь? Безусловно, я по-прежнему встречаю высокие морали в своей жизни. В таких ребятах, как ты. Должны же вы с кем-то бороться. В каком-то смысле моя помощь обществу сейчас больше, чем, если б я стал великим писателем. Я закаляю таких, как ты. Чтобы стать великим — нужно что-то преодолеть. А какие проблемы у тебя? Назови самую страшную!

— Я не должен...

— Разумеется! Не должен! — Вампилов вскидывает руки, выкатывает глаза. — Вот главная проблема молодого поколения! Выше всего вы ставите своё право на свободу. Особенно от родителей. Мне, слава Богу, повезло. Я вырос в детдоме и родителей никогда не видел.

— Я не то хотел сказать. Просто я...

— Просто говори уважительней! Ещё раз напомню: ты не видишь всей картины!

— У вас что-то припрятано в вашем великолепном пальто? Я, кстати, тоже кое-что принёс, — Андрей вытаскивает мобильник Инги.

Преподаватель не обращает внимания на телефон. Смотрит парно в глаза, сбавляя шаг, улыбается. Сухие губы мусолят фильтр сигареты:

— Пальто... я кое-что припрятал для тебя в этом мире! Впрочем, да, — он вытаскивает из пальто тот самый пистолет, что видел Инга в бардачке Субару, — ты ведь слышал, что поистине великими люди становятся только после смерти? А у почившего молодым шансов ещё больше!

Дуло направлено Андрею в лицо. Несколько раз моргнув, он втягивает носом воздух и опускает взгляд в асфальт: «Не смотри в глаза бешеному псу». Мимо шаркают ноги прохожих. Никто не останавливается. Должно быть, думают, что это розыгрыш. Слишком

уж эпично выглядит Вампилов в развевающемся пальто и с пушкой. Перед выстрелом парню хочется сказать что-то проникновенное. Но ничего умного в голову не приходит, и он решает повторить о том, как же всё это пафосно выглядит. Поднимает глаза и видит, что рядом останавливается золотой Субару. В голове Андрея вместо предсмертных картинок из памяти проносится мысль, что вся жизнь Вампилова пропитана той самой «выспренностью», от которой он сам предостерегает.

Преподаватель усмехается:

— Это что такое? А ну, сорванцы! Вылезайте, — он тычет стволом сквозь стекло в Рому, сидящего за рулём. На пассажирском — Илья. Оба смотрят в дуло, когда открывается задняя дверь автомобиля, из-за неё появляется седой мужчина в очках с большими диоптриями. Вампилов оборачивается на звук, и тогда тренерское безучастное лицо покрывается гримасой ярости. Передняя дверь резко распахивается, выбивая пистолет.

Оружие выскакивает, блесит в электрическом свете. Андрей роняет телефон и прыгает, хватая на лету ещё тёплый от рук металл. Тяжело ухает плечом о твёрдую поверхность, несколько секунд пытается правильно схватить рукоять. Прицеливается. И видит, что направил пистолет на друга. Вампилов лежит, уткнувшись лицом в асфальт.

— Давай поднимайся, Андрюх! Надо это брюхо в машину бросить. А то скоро очухается, — тренер отряхивает руки.

— Куда? — непонимающе спрашивает писатель, сидя задницей в пыли.

— Вставай! — с пассажирского места выходит курьер. Они вместе затаскивают Вампилова на заднее сиденье. Кто-то из прохожих окликает:

— Что, физрук накачался?

— В нулину! — отзывается Рома и захлопывает Субару. Блокирует. Ключи бросает в водосток. Снимает перчатки. Поднимает оторопевшего писателя, — всё, погнали! Ствол спрячь.

Четверо садятся в старую Шкоду. Начинается дождь, как предвестник финала в плохом фильме. Дорога дёргается в крапинах капель. Хищные цветки фар блекнут в непогоде.

— Что это было, ребят?! — Андрей едет вперёд, неизвестно куда, с округлившимися глазами.

— Спокойнее, братан! — тренер кладёт руку ему на плечо. — Всё позади. Это был угон. А это IT-гений и по совместительству мой клиент. Имя его никому знать не обязательно.

— Да, ребят... я что-то на эмоциях сел к вам. Тормозни где-нибудь. Я не при делах... — седой айтишник уже нахлобучил капюшон на глаза, обнял свою сумку, не разберёшь лица.

Андрей всё так же непонимающе слушается, останавливает. Айгишник покидает машину неведомо где. Писатель смотрит, как тёмную фигуру уволакивает дождливая улица и, вдруг, понимает:

— Я её мобильник там посеял! — эта мысль полностью отрезвляет его сознание. — По нему же менты могут вычислить! Вернёмся?

— Ты, конечно, умный, Андрюх... но как-то не в ту сторону. Владелец при машине! Точнее, маринуется в ней. У нас только его травматический пистолет, который мы выкинем в реку. Кого вычислять-то? Преступления нет.

Писатель смотрит в зеркало: курьер угрюмо кивает.

Четверо остались в непроглядной темноте. Будущее настанет только утром.

Раз.

Гнетущая больничная палата. Голова раскалывается. Кто-то украл телефон. Последние два дня — это чья-то чужая жизнь. Запоздавшее осознание безвозвратности вдавливают в подушку. Звонить маме с больничного телефона, ждать её. И курить поминутно. Никого нет, кроме «ждать». Также, как когда-то ждала сама мать.

Два.

Прощался ночью с друзьями со словом: «Увидимся!» Говорил это с чётким пониманием обратного. Сжимая левой рукой её мобильник в кармане серой куртки. Не мог уснуть. Думал, как утром озарится её лицо, заведев неожиданного спасителя.

Встаёт с горячностью. Едет в электричке, боясь, что в конце ему перережет ноги. Знает, что едет к той, которая точно перережет. И всё же едет. Потому что иначе не может. Потому что, как отец.

Три.

Отстраняться от близких день за днём. Потеряв любовь и понимание, хотел отрезать и дружбу. Долго телепалась эта последняя ниточка. Иступившееся лезвие никак не справлялось. Вихлялась надежда. Жила вера в то, что здесь нужнее.

И всё же пробил стену. Победа на соревнованиях. Приглашение на работу туда, где яснее. Где нет запачканного неба и смрадных улиц. Где не нужно быть хмурым, чтобы быть своим. Уехать туда и написать на прощание последнему другу: «Теперь ты один. Остаешься так на время. Не ищи вторую. Откажись. И пиши. Не мне».

И удалить из сети ниточку, которая никак не резалась. Без надежды найти через четверть века одутловатое тело без прошлого. Ты сильнее. Прощай. И ты прости, мать, больше не навещу.

Четыре.

Всегда был уверен, что делает не то, что должен. И всё-таки делал. Упорно. Чтобы жить. Потому что в борьбе видел смысл. И ещё хотел дарить опору тем, кто рядом. Кому вечно должен. Не потому, что просят, а потому что должен. Так всегда жила мать.

К матери с цветами в больницу. Боясь худшего, обрёл её снова. Излечившуюся слезами. Вернул домой и сам вернулся. Жить с ней. Как жил раньше. Ещё до той, что режет душу и горло в конце пути. Стал снова жить с мамой.

Через неделю возвращается на съёмную квартиру, чтобы отдать хозяевам ключи. Видит, что у подъезда лежат еловые ветки, а лавка пуста. Садится на неё, вспомнив деда и закуривает. «Надо же, — замечает вышедшая из подъезда до боли желанная девушка. — Вы, прям, как мой дедушка сидите. Вы знали его? Дед Егор. Можно я с вами немного посижу?». Отвечает: «Знал. Спасибо за имя». И уходит.

Потому что понимает, что нужно идти. И писать. Не потому что должен. А потому что не может иначе. Чувствует, что пора жить. Так случится с каждым. Нужно только побыть одному.

Четверо просыпаются. Каждый — один.

Илья БЕРШАДСКИЙ

/ Донецк /



ВЫБОР

Простые рифмы отпускаю
в уже предутреннюю тьму.
Не отрекаюсь, полагаю,
что срок настанет, все пойму.

Пройду по чуть холодноватым
дворам, закутавшись в пальто.
Так было, что пришлось когда-то
решать — вот это или то.

Давно уже пора, заухав,
собьется маятник в часах.
И поплывут пылинки звука,
осев на комнатных цветах.

Нет, не сейчас... Но не узнаю.
Вопросом мучиться нет сил.
Осознаю и призываю,
что в этот вечер попросил.

* * *

Старая липа у дома
возле раскрытых ворот.
День пролетел невесомо,
больше такой не придет.

Не переделать — я знаю —
строгий порядок вещей.
Истина, даже большая,
скрыта среди мелочей.

Выведать что-то у ночи...
Фары и дождь за окном.
Разве сейчас ты захочешь
думать о чем-то ином?

Море вмещает так много,
но никого не поит.
К Солнцу открыта дорога —
жаром лишь крылья палит.

Небо размашисто дарит
талую воду и синь.
Голос, что все еще ранит.
мог бы сказать: «Не покинь!»

Вечер беззвучно ложится,
словно на плечи рука.
Книжных романов страницы,
там, где любовь на века.

Радости звонкой крупницы,
в ней идеал красоты.
Пусть хоть немного продлится
эхо далекой мечты.

УДАЧА

На ветвях деревьев
свет, луною данный,
бледный и несмелый
выпал снег неожиданный.

Он еще не знает,
что его так много,
тихо зазывает
прямо у порога.

Крыши и заборы
заметет однажды.
Все былые споры
станут вдруг неважны.

Мне ж теперь назначен
путь далекий, встречный.
Поищу удачу...
И вернусь под вечер.

Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

/ Москва /



МИЛЛЕНИУМ-БЛЮЗ

1

До Нового года оставалось не больше двадцати минут. Улицы опустели. Наступало время салата оливье, шпрот и мандаринов, первых стопочек, наполняемых тягучей, из морозилки, водкой. Никто уже не метался по магазинам, горели все окна, мигающие переливы с первого этажа окрашивали снег то в йод, то в зеленку. А я сидела на скамейке возле чужого дома. В пальто и шапке, но без сапог.

— Девушка, может, чем помочь? — окликнул меня припозднившийся отец семейства, спешащий к подъезду с набитой сумкой в руках.

— Нет-нет, ничего не надо, сейчас придет муж, — соврала я, широко улыбаясь и тревожно задвигая ноги в темноту. — Тогда с наступающим! — он кивнул и быстро шагнул в дверь.

Я могла бы пойти следом за ним или в другой подъезд, там было бы, конечно, теплее. Сесть на ступеньки и встретить новое тысячелетие, любуясь усеявшими площадку окурками. Но тогда Валяша меня точно не найдет. Я не теряла надежды, что он отправится за мной. Ведь должна у него быть хоть капля совести. Я прислушалась, может, он где-то рядом, зовет меня? Но слышен был только шум отдаленного шоссе. Преждевременная ракета взлетела невысоко над соседним школьным двором и почти сразу погасла, издав недовольное шипение.

Поднятый воротник и заткнутые в рукава руки уже не спасали от холода. Никто за мной не спешил. Я решила, что лучше вернуться, встала, сделала несколько шагов. Носки на мне были шерстяные, толстые, но для прогулки не годились. Пока я бежала сюда, от ярости ничего не чувствовала, но теперь под ногами обнаружился асфальт, местами покрытый снегом, очень твердый и очень холодный. Пришлось снова перейти на бег трусцой. Я выдыхала пар, как игрушечный паровоз, и белесые клубы отлетали в сторону.

Зачем я вообще выскочила, какая глупость, я же знаю Валяшину дурацкую манеру, вечно он меня дразнит. Могла просто ответить, что сам дурак.

Потом я думала, что он не имел права так со мной обращаться, в конце концов, он живет в моей квартире, чтоб не сказать за мой счет, и что он сволочь, конечно, и права соседка Татка, давно пора гнать его в три шеи.

И слово-то какое идиотское нашел. «Какая ты буржуазка, просто не можешь вынести, чтоб все было не как положено», — фыркнул он, когда я торопила его поставить елку, чтобы успеть повесить игрушки и накрыть стол. А я рванула на мороз, проорав, что мне плевать и на Новый год, и на него самого, раз так. Но в глубине души я отлично знала, что дело не только в этом.

Совсем, совсем ни к чему был его рассказ о том, как он целовался среди улицы с пьяной незнакомкой, пока искал елку. Их холодные губы, горячие языки, общий смех... Да уж, вот где ни капли буржуазности, сплошной порыв и эпатаж. Я разозлилась, что правда, то правда. Но делать ли отсюда вывод, что я хотела с ним сама целоваться? Валяша наверняка настаивал бы именно на этом варианте. У меня такой уверенности не было. Но быть третьей я не желала даже в роли слушателя.

Запахавшись и одновременно замерзнув, я влетела в свой подъезд с твердым решением наорать на Валяшу, заставить извиниться или выгнать в конце концов. На лестнице пахло, как всегда, кошачьим присутствием и еще какой-то необъяснимой мерзостью. Лифт был то ли занят, то ли сломан, и я поднималась на шестой этаж пешком, не ощущая ни ступеней, ни собственных ступней.

Ключей я не захватила и запоздало сообразила, что если Валяша все-таки пошел за мной и мы разминулись, то я уткнусь в запертую дверь. Но дверь была приоткрыта, за ней горел свет. Елка, разумеется, так и стояла в коридоре. Рядом с ней валялся мой сапог на манке — я его отшвырнула, когда поняла, что он не лезет на толстый носок. Мне хотелось хлопнуть дверью, как в кино. Где уж тут тщательно одеться!

Теперь, конечно, все это представлялось полным абсурдом. Я сняла пальто, влезла в тапки. Ноги перестало ломить и стало покалывать, они медленно согревались. В квартире никого кроме меня не было. Громко тикали часы.

2

Примерно за три месяца до этого дождливым и темным осенним вечером — впрочем, с тех пор, как я разошлась с Максом, такими были все вечера — зачирикал дверной звонок.

Дело это было не то чтобы необычное. То приходили торговцы картошкой, предлагавшие закупить мешок на зиму, то продавцы новейших пылесосов. Двоих таких, аккуратно причесанных на пробор

и похожих на сектантов, я однажды пустила. Почистить все ковры — отличное предложение, заходите, у меня как раз давно не случилось уборки. Нет, ковров нет, но вы можете пропылесосить старую паркетную доску. Они отказались, ограничились облезлым креслом и потом еще два часа запугивали меня портретом постельного клопа, снятого крупным планом во всех ракурсах. Он заводился у каждого, кто отказался приобрести их бытовое чудо для обеспечения жилищу полной стерильности. Наконец я выпроводила настойчивых молодых людей, ссылаясь на неотложные дела. Но даже через закрытую дверь они еще продолжали свои уговоры и угрозы. В тот день я никуда не вышла, подозревая, что они караулят меня внизу.

Но это происшествие ничему меня не научило. Я продолжала открывать незнакомцам, не трудясь глянуть в глазок. Не знаю, чего я ждала. Но уж наверняка не того, кто обнаружился за дверью на этот раз. На площадке стоял Валентин — в промокнувшем плаще, с налипшими на лоб черными завитками и смеющимися глазами.

— Одна?

Я кивнула.

— Поживу у тебя, — вполне утвердительно сказал он, тут же вынул жестом фокусника откуда-то сбоку большую туристическую сумку и забросил ее в прихожую. Я бы не удивилась, услышав металлический лязг: в таких сумках персонажи голливудских стрелялок носят карабины и винтовки. Но Валяша достал из нее махровое полотенце и принялся вытирать голову, причем неиспользованный зонт, извлеченный оттуда же, был помещен на вешалку.

— Не люблю, когда обе руки заняты, — ответил он на вопрос, которого я не задавала.

С Валяшей мы познакомились на горнолыжной станции на Чегете, то есть в другую геологическую эпоху — тогда я еще была с Максом. Валяша чуть было не стырил его лыжи, был пойман за руку и так легко и бесстыдно признался в своих преступных намерениях, что обличать его было бы полной безвкусицей. Мы рассмеялись, подружились, встречались на горе, пару раз поужинали, а на прощанье Макс пригласил его «заходить к нам». Только вот быть нам вместе предстояло недолго, и обратный отсчет уже начался.

К чаю Валяша вытребовал глубокое блюдо. Такое у меня было только одно, с расплывшимся штампом кузнецовского фарфора снаружи донышка. Я достала его неохотно и заволновалась, когда Валяша установил его на растопыренные пальцы. Перехватив мой взгляд, он сделал шутовское движение «ой, роняю» и расхохотался, глядя на мое лицо.

— Осторожней, бабушкино, — ахнула я.

— Семейная драгоценность, понимаю, отношусь с уважением, — он вытаращил глаза и принялся старательно дуть вытянутыми

в трубочку губами. Повадки кустодиевской купчихи не вязались с внешностью романтического принца, и я улыбнулась, хоть и была сердита.

— Так что, Макс тебя бросил? — немедленно спросил Валяша.

Я подоткнула штору, унимая свистевший в оконной раме сквозняк.

— А ты Алю?

— Кого? — искренно не понял Валяша.

— Белая такая, с тобой была в горах, — напомнила я о его лыжной подруге.

— А, эту. Конечно. Что я, по-твоему, должен был с ней делать? Ты не переживай, я у нее триста долларов взял, так что она не грустила. А варенье у тебя есть какое-нибудь?

— Нет. Есть мед. И как доллары помогают от грусти?

— А мед светлый? Я темный не ем. Гречишный вообще гадость, не выношу, мне его в детстве мама от ангины давала, с молоком вместе, молоко тоже не пью. Если я просто так ухожу, они мучаются, понимаешь? Плачут и безостановочно думают, что сделали не так. И что должны были сделать вместо этого. Чтобы мы были счастливы вместе.

Я сняла с верхней полки липкую банку с присохшей крышкой.

— Липовый вроде.

— Ну давай. Попробуем, если ничего другого нет. Не верит никто, что мне просто скучно. А если я у них деньги беру, они злятся.

— Это же воровство, — произнесла я неизбежную банальность.

— Вот именно! — Валяша улыбнулся мне поощрительно, как смышленому карапузу, построившему башенку из трех кубиков. — И раз я вор и мерзавец, они имеют полное право меня презирать и ненавидеть. И всем хорошо: мне — немножко прибýtка, им — чувство собственной правоты и праведный гнев. Никто не плачет, все веселятся. Так что, Макс тебя бросил?

3

С Максом мы расставались мучительно. К лету выяснилось, что у него невероятное количество друзей, и каждые выходные мы ездили то к одним, то к другим. Палаточный городок на Истре смеялся теремом в Переделкино, бараньи шашлыки профитролями, качались ветви, плескала вода, вокруг смеялись, болтали, гремели бутылками, вспоминали школьные проделки, институтские забавы, а я выпадала из компании. В зависимости от обстановки мне приходилось занимать себя изучением то книжных полок, то местных жучков-паучков. После первого всплеска интереса к моему имени, которое всегда казалось мне нелепым, и повторяющихся из раза в раз объяснений, что мои молодые родители, студенты-филологи, додумались назвать меня Кирке в честь Одиссеевой царицы («А кто такой Одиссей?»), никто со мной не заговаривал. Я умоляла Макса пред-

ставлять меня друзьям как Киру, но он не соглашался: ты что, это же так здорово! А мне казалось, что меня бояться лишний раз окликнуть, чтобы не напутать с обращением. Но, может быть, причина была в другом. Друзья Макса имели профессии, состоящие из пары английских букв — эйчар, пиар, айти. Изредка попадались сео, и все они были для меня чудесным, но чуждым племенем. Я просто не смешивалась с ними, как вода с маслом.

Только один раз в Опалихе, когда я примостилась на террасе с книжкой, изредка поглядывая через выставленные рамы внутрь дома, где шел оживленный застольный разговор, ко мне подседа блондинка в минималистичных шортах и спросила, вертя в руках надкушенное яблоко:

— А ты знаешь, что у Макса недавно был роман с Катькой?

— С кем?

— Вон с той, — блондинка мотнула головой в сторону другой, чрезвычайно на нее похожей, которая как раз тянулась длинной загорелой рукой к виноградной грозди в центре стола.

— И зачем мне об этом знать?

— А до того с Дашкой, — не отвечая, показала она на пухлую шатенку, притулившуюся к плечу лохматого, судя по тельняшке, матроса. Некоторое время она молча хрюпала яблоком, а потом задумчиво добавила:

— А с Милой он просто спал. — И словно в утешенье уточнила: — Недолго, — и, ловко метнув огрызок в кусты, вернулась внутрь.

— Зачем ты здесь? — спросил меня проползавший по перилам жучок. — Зачем ты Макс? — чирикнула невидимая птичка. — Думаешь, если ты встанешь и уйдет, кто-то заметит? — прошелестела книжка.

Я спустилась с крыльца, миновала будку охраны, стерегущую шлагбаум на въезде и равнодушную к исходящим пешеходам, пробралась через мелкую запущенную рожицу и запрыгнула в полупустую электричку, которая лихо свистнула и понеслась напрямик в Москву.

Окутанный сивушными парами молодой мужик крепко спал на деревянном сиденье, не обращая внимания на громкий спор двух теток, обсуждавших способы клубничной рассадки. Я ушла в другой конец вагона, подальше от всех, и отвернулась к окну. На ближнем плане летели, сливаясь в ситцевую полосу, придорожные откосы, а на заднике стояло широкое небо с неподвижным нагромождением сливочных облаков. Я удивлялась тому, что больше не думаю про Макса, а просто гляжу себе куда глаза глядят.

В Павшино зашел худой дядька со здоровенной сумкой в синюю полиэтиленовую клетку и, подняв над головой что-то невидимое, велело закричал о преимуществах отечественной батарейки перед хваленым дюраселом. Пьяный мужик неожиданно сел и строго спросил:

— А музыканты где?

— Музыканты сегодня бастуют, — не задумываясь, ответил дядька.

Я купила упаковку из четырех штук. И стала представлять себе, как расскажу про это Максу, когда он вернется, и мы оценим находчивость бродячего продавца и посмеемся вместе. И как после он станет серьезным и начнет спрашивать, почему я вдруг уехала, а я попытаюсь объяснить. Но Макс так и не приехал. Ночует в Опалихе, подумала я, поедет в понедельник сразу на работу, и заявит вечером. Но он не появился и вечером. И не позвонил.

Я повсюду натыкалась на его вещи. В ванной лежал бритвенный станок с прикрепленными к исподу подставки запасными лезвиями и электрическая зубная щетка, в шкафу висели свитера (один из них был мой — Макс выпросил его себе в подарок), рубашки и брюки, на полке стояли его книги. Даже кассеты в музыкальном центре были его. В конце концов я собрала все, что могла, и сложила в большой мешок для мусора с оранжевыми завязками. А потом встретила Макса прямо в парке возле дома, не сразу поверив глазам — он неспешным шагом направлялся ко мне, словно не исчезал на две недели, а только что вышел прогуляться. Сердце у меня выполнило акробатический этюд, воздух стал сладким и липким, как пролитый компот, и мы вернулись домой вдвоем, крепко держась за руки, и провели вместе еще целых три недели. Макс больше не звал меня ни в какие гости, приходил сразу после работы, и мы вдумчиво и обстоятельно занимались любовью, а по выходным катались на малом колесе обозрения или гуляли по длинным аллеям, которые уже начали желтеть, а местами и осыпаться. Но наступил день, когда Макс взял билет до Цюриха, чтобы оттуда отправиться в горнолыжный Церматт. Их собралась целая компания, старых друзей, которые, в отличие от меня, отлично катались. Я все равно не могла бы ехать с ними, но он меня и не приглашал. И вещи свои забрал.

Всего этого я рассказывать Валяше не собиралась, поэтому сказала:

— Расстались по обоюдному согласию.

— У тебя кто-то есть?

— Нет.

— Значит, бросил, — заключил Валяша и, не спрашивая разрешения, закурил.

4

— Ты хоть знаешь, чем он занимается? — допрашивала меня соседка Татка. — Ты пускаешь в дом человека, даешь ему ключи...

— Я не давала, он просто сделал себе дубликат.

— Неважно! Это все равно. А может, он вор и проходимец?

— Тата, он совершенно точно проходимец. Но меня это совершенно точно не волнует.

Татке с ее стрижкой ежиком и худенькими ручками я бы ни за что не дала больше тридцати, если бы не знала, что тридцать ее сыну. Сашок регулярно терял работу, и тогда возвращался со съемной

квартиры к матери. Татка приходила ко мне жаловаться на бездельника, а заодно курировать мою личную жизнь. Макса она очень одобряла и советовала мне выйти за него замуж. А вот Валяша вызывал у нее серьезные сомнения, хотя она и признавала, что внешне он очень даже ничего.

Валяша редко отсутствовал больше двух суток кряду. Об отлучках не предупреждал, как и о возвращениях, но его сумка стояла в комнате под шкафом, так что я знала, что рано или поздно он придет. Любимым местом в квартире у него была кухня, любимым местом на кухне — облысевшее кресло, в котором он устраивался с телефоном на коленях и вдохновенно договаривался о бесконечных предприятиях, которые казались мне бессмысленными (да что ты понимаешь?!), то пытаясь на паях прикупить завод по производству ледовертов в Рыбинске (подледный лов, ты что, зима на носу, только представь, какой будет спрос), то бросая эту затею (какой там завод, мастерская в два пьяных белоруса).

Ему тоже звонили. Темные мужские голоса, наводившие на мысль о многодневной щетине, спрашивали, здесь ли живет Вэл — кто, простите? — да Валяха же! Я терялась. Вроде бы да, но знаете, это временно. Нет, он здесь не живет, но я могу ему передать, кто звонил, если вы хотите. Или я просто кричала:

— Ва-аль!

Он принимал трубку у меня из рук, подолгу молчал или издавал междометия, то утвердительные, то вопросительные. Оживленно беседовал. Или почти сразу нажимал на рычаг и нападал на меня:

— Ты зачем меня позвала?

— А не надо было?

— Конечно, не надо!

— И как я должна была понять, что не надо? И зачем ты дал номер, если не хотел, чтоб звонили?

— Ты должна чувствовать, — мгновенно откликнулся Валяша, — чувствовать! У тебя же есть женская интуиция?

Женской интуиции у меня было маловато, так что этот разговор повторялся не раз.

Девушки звонили редко. И каждый раз были удивлены — похоже, думали, что попадут в холостяцкую берлогу. Если после моего «алло» сразу раздавался сигнал отбоя, я тоже относила это на счет его подружек.

Как-то раз, вернувшись после относительно долгого отсутствия, он предъявил мне фото — на нем красовалась длинноногая модель с густо начерченными глазами:

— Нравится?

— Ничего такая, — сказала я неуверенно.

— «Ничего такая», — передразнил меня Валентин, — что бы ты что понимала! У нас любовник знаешь кто?

— И кто же?

Валентин назвал ничего не говорившую мне фамилию и снова возмутился:

— Как так можно жить и ничем не интересоваться? Это же почти главный нефтегаз, это знаешь какие деньги?

— Какие?

— Двадцать тысяч на карманные, — на стол легла тонкая пачка.

— Тонкая...

— Во-первых, это не рубли, а доллары, во-вторых, ты думаешь, это как в фильмах, да? дипломат должен быть под завязку набит?

— И что ты с ними будешь делать?

— Давай купим замок на Луаре.

— Квартиру купить не хочешь? — я подначивала его, потому что знала, что свою он продал за долги — почему, собственно, и нуждался в пристанище. Холостые друзья то ли быстро исчерпались, то ли не пришлись ему по вкусу, и в итоге он оказался у меня.

Валяша отвечал, глазом не моргнув:

— Замок дешевле квартиры!

До конца недели мы жили по-царски, я купила верблюжий плед, к которому давно приглядывалась, и зачала задумываться, не заметить ли престарелую паркетную доску, из которой ежедневно вылетала дощечка-другая, на новенький блестящий паркет. Дубовый, скажем. Но к следующему понедельнику деньги испарились, и никто из нас двоих о них больше не упоминал. Как-то это было не к месту.

— Ты с ним спишь? — допрашивала меня Татка.

— Тат, ну как тебе не совестно.

— Да брось, нормальный вопрос.

— Нет, не сплю и не собираюсь.

— Почему?

— У него полно девиц.

— Тогда чего он живет у тебя, шел бы к ним.

— Им любовники снимают и вряд ли порадуются, застав там незнакомого красавца.

— Так хоть спи с ним тогда, хоть какая польза будет!

— Тат, от него и так много пользы.

— Денег он тебе не дает, спать не спит, и какая же от него польза?! — возмущалась за меня Татка.

Временами я Валяшу ненавидела, временами думала, что не смогу без него обходиться, когда он — рано или поздно — уйдет. Однажды он исчез дня на три, а на меня напала тоска. Редактура — источник моих нерегулярных доходов — лежала на столе нетронутой стопкой, а я лежала лицом к стене.

Хлопнула входная дверь, в комнату вошел не раздеваясь Валяша. Была у него манера ходить по дому в обуви, я пыталась его урезонить, указывая на грязь, а он отмахивался и говорил: если сильно страдаешь, дай мне лучше тряпку, я все вытру, я не могу разрушать

ансамбль, я же думал над этим, вот посмотри. Он поворачивался передо мной, демонстрируя подкладку плаща, ботинки на высокой шнуровке — все то, в чем я ничего не понимала, по его же собственным словам. Мне оставалось только кивать: да-да, очень элегантно. Это его опять не устраивало. Нет, ты посмотри, посмотри внимательно, глазами.

И вот так, не раздеваясь, он подвинул к моему дивану стул, оседлал его, широко взмахнув лапами, и принялся с воодушевлением рассказывать байку из жизни очередной подружки. Но прервался на полуслове и спросил требовательно:

— Ты слушаешь?

Мне не хотелось отвечать, и я промолчала. Тогда Валяша пересел ко мне и тронул за плечо.

— Что случилось? Кирюша, повернись ко мне, пожалуйста! — Валяша повадился звать меня Кирюшей, убивая двух зайцев: первое, никаких сложностей со склонением по падежам, второе, если он звонил от своих девиц, то свободно говорил со мной, не вызывая лишних вопросов.

— Что случилось? — повторил он, заглядывая мне в лицо.

Я решила отшутиться: Макс не брал у меня триста долларов, поэтому я пытаюсь понять, что было не так.

Я думала, он фыркнет, станет расспрашивать или накинется на меня с обычными обвинениями, что я веду себя не по-взрослому. Но вместо этого Валяша как на пружинах вскочил и потянул меня за собой: подъем! Срочно двигаться! Вперед!

В прихожей он кое-как меня одел и обул, вытолкал за дверь и потащил в машину — у него было белое пезо, привезенное прямоком из Франции, о чем он вспоминал при каждом удобном случае.

— Куда мы едем?

— Увидишь!

Через полчаса мы входили в помпезный ресторан, куда мне и в голову бы не пришло заглянуть по собственному почину. Валяша небрежно кивнул ливрейному швейцару, оттянувшему перед нами могучую дубовую дверь, отказался сдавать плащ в гардероб и потребовал у надутой девицы с надписью «администратор» на выпяченной груди столик возле окна. Появление каждого следующего персонажа вызывало у меня приступ паники: вот сейчас нас разоблачат как самозванцев и скажут, что нам здесь не место. Себе я казалось вопиюще неуместной среди крахмально-хрустального великолепия. Вдобавок на моей затрапезной кофте обнаружилось темное жирное пятно.

Но ничего страшного не случилось, нас проводили к столу и вручили каждому по кожаному фолианту со списком бесчисленных яств. Свое меню я сразу же захлопнула, но Валяша натянул пальцем в разные строчки: «это, это, потом это», рассказал мне пару анекдотов и принялся за посетителей: этот лопухий — ведущий кулинарного шоу, эта смесь бобра с вантузом — мелкий олигарх. Даже я узнала в лицо (костлявое и сердитое) одного литературного критика,

в то время много мелькавшего на экране. Отвернувшись от всех, сосредоточенно жевали несколько плотных мужчин — на воротниках бордовых пиджаков лежали жирные затылочные валики.

— Шпана, — фыркнул Валяша, все же приглушая голос. На мой вкус, они были самыми неприятными, но, по счастью, сидели далеко.

Передо мной поставили тарелку: на ней лежали кусочки дыни — без корки, но обернутые в полупрозрачные лепестки ветчины. Что это?

— Ты что, такого не видела, это прошутто, ешь, пожалуйста.

— Ешь сам, — пробовала я отбиться.

— Я только что пообедал, в меня больше ни крошки не влезет, — Валяша с отвращением отвернулся от стола, сел боком, закинув ногу на ногу, и закурил, бесцеремонно стряхивая пепел в тарелку с золотым ободком. Ее выхватил у него из-под рук немолодой гарсон, со стремительной одновременностью заменив на почти такого же размера пепельницу.

Я была уверена, что не смогу ни есть, ни пить. Но услужливость официанта обязывала, невозможно было вернуть ему нетронутыми эти блюда, я отломилась, надкусила... и прикончила и закуску, и горячее, и Валяша заказал нам каждому по эспрессо, который принесли в чашках-наперстках, как из кукольного сервиза.

К этому времени я уже не один раз вспомнила Валяшину фразу насчет дорогих ресторанов: «Люблю там обедать. Когда деньги есть, плачу, когда нет, не плачу». Этот эпиграф предшествовал истории про одного заносчивого, по Валяшиной терминологии, халдея: тот вздумал смотреть на странного посетителя сверху вниз, с нехорошей настойчивостью предлагая самые дорогие блюда. Валяша, зашедший на кофе, был таким обращением крайне обижен, но тем охотней принял вызов, на каждую новую оферту отвечая «Несите!» и воздавая должное прибывающим деликатесам. А когда места на столе уже не оставалось, походкой сытого барина вышел покурить — и взмахом руки дерзко прервав поток машин, прошел меж расступившегося транспорта, как Моисей среди Красного моря, и был таков.

Тогда мне эта байка казалась забавной, и я была полностью на стороне ловкого едока. Но сейчас я размышляла, придется ли нам спастись бегством рука об руку — или Валяша, отлучившись на минуту, просто растает, предоставив мне выпутываться из ситуации самостоятельно. Историю с таким сюжетом он мне тоже успел рассказать. Уже дома, пока он с большим аппетитом уминал гречку, я призналась ему в своих опасениях. Он отложил в сторону вилку и пристально посмотрел на меня:

— Ты в самом деле так думала? Ну ты и дура. С тобой я никогда бы так не поступил. Я так делаю только с теми, кто денег не считает. Эта девка на один маникюр больше тратила, чем ты за месяц зарабатываешь, — и он снова принялся за еду.

Я не нашлась, что сказать, и вместо этого кивнула на стоявшую перед ним миску:

— Что же ты ничего не ел?

— А денег было мало, я вообще не знал, хватит ли. Ты с таким энтузиазмом все сметала...

Я чуть не задохнулась от негодования — я же не просила тащить меня в ресторан! А Валяша уже смеялся в голос.

— Ох, какое же у тебя лицо! Если бы ты себя видела! Но ведь ты же ожила, правда? Это же лучше, чем лежать на диване?

5

— Я все поняла, — объявила Татка, сладко затягиваясь, и укладывая спичку в консервную банку, кем-то заботливо пристроенную на подоконнике. Мы стояли на лестничной клетке. С тех пор, как я бросила, я не давала ей курить у себя на кухне, как раньше, но за компанию выходила с ней. А дома ей мешал дымить Сашок, внезапно уверовавший в пользу здорового образа жизни. — Все я поняла.

— Что именно? — уточнила я.

— Твой Валяша импотент.

— Нет, Тат, это не так.

— А ты откуда знаешь, — насторожилась подруга, — ты же сказала, вы не спите.

— Нет, не спим.

— Тогда откуда у тебя уверенность? Он тебе о своих постельных делах рассказывает? Так это он все врет. Кто же в таком признается? У него небось и девиц-то никаких нет, тоже все насочинял.

— Есть, Тата, он мне фото показывал.

— Взял у кого-нибудь.

Я почувствовала потребность защитить Валяшу. Кроме того, Таткины предположения таинственным образом задевали мое самолюбие.

— Нет, девицы настоящие. И у Валяши все в полном порядке.

— Это ты как же узнала?

— Как тебе сказать. Мы с ним возимся, тузим друг друга иногда — в шутку, не смотри на меня так! Или обнимаемся, бывает. И когда он близко, я чувствую...

— Чего чувствуешь, свое или его?

— Его, его.

— Да ладно?

— Да.

— Тогда почему ты с ним не спишь, хоть попробовала бы! — Татка сердито ткнула окурком в «икру минтая».

— Валь, а я тебе совсем не нравлюсь? — спросила я вечером того же дня. Этот вопрос его, казалось, ничуть не удивил.

— Нравишься. Но то, как ты одеваешься, это просто чудовищно. Вот эта серая кофта, ее, наверно, твоя прабабушка носила.

— Так это ж домашняя, к людям я в ней не хожу, — принялась оправдываться я.

— То есть я, по-твоему, не человек? — поймал меня на слове Валяша. — К тому же ты и к людям ходишь в таком же ужасном. И, знаешь, я думаю, тебе надо сделать пластическую операцию.

— В каком смысле?

— Нос подправить. Как можно жить с таким носом?

На этих словах я пошла в ванную, чтоб посмотреть в зеркало. Нос был тем немногим, что мне в себе безоговорочно нравилось. Прямой, можно сказать, греческий.

— И что с ним не так?

— Он же толстый! Толстый нос, понимаешь. Такого не должно быть у европейской женщины, это только негритянки могут себе позволить, потому что у них такие губы, — вещал с кухни Валяша. — А у тебя губы тонкие, а нос толстый.

— Знаешь что, — решила я прекратить завернувший не туда разговор, — все цели, которые я перед собой ставлю в жизни, абсолютно достижимы и с таким носом. Так что он останется какой есть!

На этом я собиралась категорически закрыть дверь, и, например, принять душ. Но Валяша уже встал в дверях, протягивая мне мою чашку с недопитым чаем.

— Достижимы и ладно, — примирительно сказал он, — пойдём, я не люблю есть в одиночестве. А я еще не наелся.

Остаток вечера был посвящен его новой грандиозной идее.

— Квартиры на верхних этажах стоят дешевле. Людям они не нравятся. Крыша течет, по чердакам крысы бегают, ты слушаешь?

— Угу.

— А над ними, между прочим, технические помещения. Нежилые, поэтому стоят вообще копейки. И мы их выкупим, отремонтируем...

— А кто мы — мы с тобой, что ли?

— У тебя, Кириуша, таких денег нет и никогда не будет. Найду инвесторов. Придется делиться прибылью, разумеется, но не суть. Представь, получится роскошная двухэтажная квартира! В Америке так давно делают. Лофт — слышала такое слово? Самое модное жилье!

Он говорил, а я на него смотрела. Выглядел Валяша так, что к этому, конечно, надо было привыкнуть. Татка говорила «женской красоте можно завидовать, а мужскую приходится прощать», и это был тот самый случай. Натурально синие глаза, брови, к которым хорошо подходил старинный эпитет «соболиные», породистый нервный нос и, как сказал поэт, «кудри черные до плеч», которые он, приходя домой, привычно собирал в хвост. Только рост Валяшу не устраивал, хотя он и был выше меня на полголовы. Наверно, из-за модельных девиц, которые все были вытянутые, как тени на закате. Поэтому обувь он предпочитал с каблуком и на толстой подошве.

Локоть у меня прилип покрывавшей стол клеенке, и я встала за тряпкой, чтоб ее протереть. Валяша встрепенулся:

— Зря ты не слушаешь, я дело говорю. А тебя возьмем в долю, ты нам будешь рекламные объявления сочинять. Ты ведь можешь сочинить объявление, девушка-филолог?

— Валя, я не буду сочинять объявления. И не потому, что не могу, а потому, что у тебя с этим получится не больше, чем с ледовертами.

— О-о, какие мы сегодня суровые и прямолинейные! — Валяша резко откинулся на кресле, которое громко скрипнуло от такого неуважения. — Это с чего бы вдруг? Это, что ли, месть? за мою конструктивную братскую критику?

Я отвернулась, чтобы прополоскать тряпку.

— Или это нечто глубже? — не унимался Валяша. — Может, ревность и зависть?

Он вскочил и подошел ко мне.

— А что будет, если мы дадим ему мокрой тряпкой по прекрасному лицу? — предложил журчащий кран. Но Валяша протянул у меня из-за спины руку и мигом закрыл его, попутно впечатав меня животом в край раковины, а потом развернул меня к себе, вытащил тряпку у меня из рук и бросил на стол.

— Да оставь ты эту ерунду!

Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Я видела черный зрачок и расходящиеся лучики внутри радужки. В голове у меня звенела пустота.

— Это что с тобой? — снова спросил Валяша.

— Абсолютно ничего, — я твердо решила не отводить взгляда и не моргать. Глаза начинали слезиться.

— Ты плачешь, что ли?

— Нет, — все-таки сморгнула я и потерла веки пальцами.

— Кирюша, я тебя обидеть не хотел, честно, — сказал он неожиданно серьезно и даже как-то просительно. Вот это оказалось для меня слишком, и я, выдернув локоть, вернулась за стол. Клеенка снова прилипла к рукам.

Валяша сел рядом, помедлил, положил ладонь мне на плечо. Рука у него была очень горячая.

— Кирюша, ты мой друг, — сказал он. — А с друзьями я не сплю. Вот и все. Не обижайся. Так лучше, поверь мне. С кем сплю, это все не надолго. А с тобой я хочу много лет дружить.

— Да с чего ты взял, что я хочу с тобой спать? — буркнула я, не поднимая головы.

— Ну... взял с чего-то. Все хотят. Рано или поздно. Обычно сразу. Но если ты не хочешь, то и ладно, я очень рад. И Тату свою озаченную не слушай.

— Господи, а она-то здесь при чем?

— Может, ни при чем. Может, она мне просто не нравится. Она каждый раз после «здрасьте» губы мне подставляет. Я уж устал уворачиваться, — Валяша при помощи собственных пальцев убедительно показал, как он увиливает от настигающего его жадного рта.

На том наш разговор и кончился. Мы дружно вымыли посуду, как часто делали: я мыла, а он вытирал насухо, и отправились спать.

По ночам происходила рокировка — он шел в комнату, где я днем работала, и устраивался на широкой старой тахте, утратившей способность складываться. А я стелила себе на кухне на зеленом диванчике в улыбчивых крокодильчиках, который как раз раскладывался, занимая практически все пространство, а утром снова превращался в скромное сиденье. Я купила его на следующий день после того, как до меня дошло, что Макс не вернется. Тахту, на которой мы когда-то спали вдвоем и которую радостно сломали, я собиралась выбросить. Но не успела, и теперь на ней ночевал Валяша. А ночью произошло одно довольно странное событие.

6

Мое тело было огромным и пустым, как заброшенный аэропорт в полночь. Оно простиралось от одного края Вселенной до другого. И там, на этом другом краю, что-то происходило.

С огромным трудом обратив внимание в ту сторону, я поняла, что там кто-то есть. И этот кто-то зовет кого-то, повторяя странное сочетание звуков, которое вполне могло оказаться именем.

При других обстоятельствах.

Но сейчас мне не хотелось ничего об этом знать.

Некоторое время назад всю мою внутренность, сущность, душу или как там это еще принято называть, вдруг потянуло одним мощным движением. На внутренней стороне темени у меня образовалась черная воронка, которая крутилась все быстрее, и все внутри меня втягивалось в этот вертящийся конус, проталкиваясь через крошечное отверстие в неведомое пространство за пределы тела, которое лежало брошенное, пустое и слишком большое, чтобы его можно было снова заполнить собой. Да мне и не хотелось возвращаться. Но там, на дальнем конце летного поля, продолжалась какая-то возня, которая отвлекала меня, не давала уйти окончательно.

Воронка замедлила свое вращение, затем вовсе остановилась и исчезла.

— Кира! — настойчиво звал голос. — Кирке! Кирюша!

Мне страшно не хотелось возвращаться в оболочку, которая уже успела стать чужой. Так относив последний сезон любимую кофту с вытянутыми локтями, не решаешься ее выбросить и вешаешь в темный угол шкафа с застенчивой мыслью, вдруг еще пригодится, а спустя полгода, случайно достав, замечаешь и шерстяные катышки, и маленькие дырочки от моли, и несешь на помойку уже без тени сомнения. Если по какому-то дикому стечению обстоятельств вдруг пришлось бы на полпути остановиться и снова надеть ее, разве это доставило бы радость? Вот так и мне было безрадостно снова втягиваться в свое тело. Оно словно успело растянуться за это время, стало мне велико.

Но мне пришлось это сделать. Я продиралась сквозь себя, словно через густой кустарник, и одновременно заливалась в себя, как тесто в сложную форму для выпечки. Когда эта невыносимо тяжелая работа была почти закончена, я ощутила, что кто-то держит меня за руку. И что эта чужая рука теплая и живая. Еще через вечность я открыла глаза и поняла, что это Валяша сидит у меня на постели в темноте.

— Что ты?.. — спросила я, не имея сил договорить фразу.

— Ну наконец-то! — обрадовался он.

— Что случилось?

— Ты кричала, верней, выла, как-то дико, на вдохе, и долго. Никогда такого не слышал! И вот я трясу тебя, а ты затихла и совсем перестала отзываться. Я почти испугался. Что за вздор, что это было? — спрашивал у меня Валяша ровно то самое, что я хотела спросить у него.

— Не знаю. Меня утягивало куда-то. И это было приятно.

Теперь мне стало страшно. А вдруг бы я умерла?

Мне не хотелось, чтобы он уходил. Хотя теперь, когда все кончилось, в его присутствии не было необходимости. Я обхватила его ладонь.

— Посиди со мной еще немножко, пожалуйста.

— Посижу, конечно. Не волнуйся. Все в порядке.

Он продолжал говорить бессвязные успокоительные слова, которые все говорят в таких случаях и которые значат только одно: что есть человеческий голос, который готов звучать рядом.

До меня неожиданно дошло, что Валяша совершенно одет. По утрам он обычно являлся к завтраку, завернувшись в одеяло на манер древнеримской тоги, точно так же он выглядел, если ему не спалось и он выходил на балкон курить. Но сейчас он был не только в джинсах и рубашке, но даже в куртке, и на ногах у него были ботинки, те самые, которые нужно было долго и тщательно шнуровать.

— Почему ты одет? — спросила я.

— Собирался уйти.

— Насовсем?

— Как получится. Может, и насовсем. Или вернулся бы.

— А почему?

— Мне не нравятся серьезные разговоры, — ответил Валяша. — После них мне всегда хочется уйти. И как показывает опыт, это определено самое правильное решение.

— Но ты не ушел.

— Нет.

— И не уходи.

— Нет, никуда не уйду. Спи. Воды принести тебе?

— Не надо. Не хочу отпускать. Поговори со мной.

— Давай я стихи тебе тогда читаю, не против?

— Давай. Твои?

— С ума сошла! Сроду такой ерундой не занимался. Не, это так, знакомый один написал. Поляков. Слушаешь?

Да, были времена когда-то,
Иные времена, когда ты
Как юбилея и как даты
Ждала меня, я приходил
Веселый, выбритый, поддатый,
Под мухой, подшофе, под датой,
Под юбилеем, под зарплатой,
И кукиш в масле приносил.
Мы все делили пополам.
Чего тебе недоставало?
Сквозняк гуляет по полам
и просится под одеяло...

Я пошевелилась, и он тут же остановился. Не выпуская его руку из правой, левой я подтянула одеяло к подбородку. Мне было удивительно, что пальцы у меня шевелятся и я чувствую столько всего разного: шероховатость пододеяльника, ватинные комочки внутри, сухой жар валяшиной ладони. Но мне хотелось еще послушать.

- Это конец?
- Нет, это половина.
- Тогда давай дальше.

Да, были времена, когда
Ты подливала мне Агдам
И говорила «нет» как «да» —
Ну все прям, как в Париже,
И повторяя «да» как «ну»,
Привычно двигалась к окну,
А почему к окну? Да так —
Моя рояль, хочу и движу!
Мы все делили пополам.
Я заходил по средам в ясли.
Сквозняк по крашеным полам
катается, как кукиш в масле.

Мне сделалось грустно. Но грустно по-земному, по-человечески. И Валяша сразу почувствовал это и спросил:

- Ну что, ты уже по эту сторону?

Я угукнула, а он встал и подоткнул мне одеяло так привычно, словно делал это миллион раз.

7

«Да, были времена когда-то...» — думала я, стоя посреди коридора с елкой. Я уж и не надеялась, что она у нас будет. Но Валяша ее раздобыл в самый последний момент, за два часа до полуночи, втащил за собой, и квартира сразу стала маленькой от густой хвои и настоящих шишек.

— Роскошная, да? Представляешь, я уже обошел весь район, а у вас тут ни одного базара, дикое место какое-то, и вдруг вижу такая длинноногая идет, лет сорок, но такие губы! И тащит елку, по снегу волочет, а ноги у нее заплетаются, похоже, успела уже где-то славно принять на грудь. Я ей говорю «Давай помогу», а она глаза сузила — Валяша изобразил китайские щелочки, «О, говорит, мы знакомы, оказывается», елку бросила и прямо впилась в меня. Давно я так не целовался! Как птенцы рты разевали, зубами стукались! И вот прикинь, я ей елку дотащил, еле захихнул, она чуть не в приборную доску уперлась, а у нее Форд новый, и я спрашиваю, ты почему с такой машиной сама на базар ходишь, а она только улыбается. Я предложил ей, давай за руль сяду, ты ж пьяная в дым, а она говорит, ничего, как-нибудь, так и уехала, ни телефона не оставила, ничего, еле успел спросить, где тут у них елки. Купил практически последнюю, и это, строго говоря, не елка даже, а пихта, видишь, шишки, так что извини, на праздничный стол уже не хватило.

В детстве я часто думала о том, как мне повезло, — я встречу рубеж тысячелетий! Мне казалось, что это делает меня особенной, выделяет из всего несметного множества людей, живших на планете. Я не пыталась представить, как именно и с кем я проведу эту торжественную ночь. Но если бы пыталась, вряд ли мне пришла бы в голову такая картина — я одна в пустой квартире — с пихтой.

Даже если мне удастся ее распутать, все равно не хватит сил поставить, а украсит не хватит времени. Так что делать мне было особенно нечего, и я пошла за заначкой. Две сигареты Salem были у меня припрятаны наверху кухонного шкафчика, чтоб неудобно было доставать и лишний раз не соблазняться. Они катались в пустой пачке, уже покрывшейся липким налетом жирной пыли, и пахли странно. Но я все равно вышла с ними на лестницу и стала чиркать спичкой.

— Славное море, священный Байкал, — неожиданно запел голос, в котором я не сразу узнала валяшин, а когда узнала, не поняла, откуда он доносится.

— Валя? — осторожно спросила я.

— «Галя»! — немедленно откликнулся он. — Где ты шляешься?

— Я вообще-то вернулась, — возмутилась я.

— А я тебя спасать отправился. И теперь, спасибо тебе большое, буду встречать второе тысячелетие между этажами!

Я принесла из квартиры швабру и с ее помощью раздвинула створки лифта. Валяша смотрел на меня снизу вверх. Его ноги отправились на пятый, но плечи и голова остались на шестом.

— Ты голодный?

— Сама как думаешь?!

В морозилке у нас хранилась бутылка «Праздничной», а вот с закуской не сложилось. Имелись остатки борща, в этой ситуации бесполезного, хлеба не осталось совсем, зато была банка красной икры. Я протиснула ее в щель между створок вместе с консервным

ножом и пристроилась рядом. Но скоро от сидения на корточках у меня затекли ноги, тогда я принесла из коридора обувную табуретку и расположилась даже с некоторым комфортом.

— А ты лифтеров вызвал?

— Сама как думаешь? — повторил Валяша. — Но можешь проверить, если хочешь.

Я проверила, хотя мне пришлось снова спуститься пешком на первый. Раздраженный голос из черной решеточки объяснил мне, что работает одна бригада на весь район, и надо ждать своей очереди.

— Приятно думать, что я не единственный, кто встретит этот год в заточении, — прокомментировал Валяша мое сообщение.

— Но ты, вероятно, единственный, кто питается при этом красной икрой.

Я ждала, что мой заключенный потребует, чтобы я шла к Татке просить хлеба с маслом и уже приготовилась отказываться. Но вместо этого он пустился в воспоминания о том, как встречал Новый год на службе, заодно я впервые узнала, что он был в армии.

— Самогон разлили по пакетам с соком, закусывали овсяным печеньем. На утро о почистить зубы и речи не шло, в раковинах лежало такое, что лучше я тебе сейчас про это рассказывать не буду.

Мы отхлебывали по очереди из бутылки, передавая ее друг другу через щель между дверцами. В доме было удивительно тихо, никто не ходил по лестнице, не выбрасывал мусор, не кричал.

Я вздрогнула, когда вышла Татка с сигаретой в руке. Следом за ней приплыл запах жареной курицы и оживленное болботанье голубого огонька.

— С Новым годом, — сказала я.

— Угу, — откликнулась она задумчиво.

— Ты странная. Что-то случилось?

— Отцарствовал наш Борис Николаич. Не дотянул.

— Да ты что? Не может быть!

— Точно. Только что речь говорил, поздравлял всех, просил прощения. Прощался, — Татка тяжело вздохнула. — Ты не слышала, что ли? А ты вообще что здесь делаешь, а? — обратила она внимание на мое необычное местоположение.

Выслушав объяснение, она нырнула за дверь и вернулась уже с целым подносом. Причем создавалось впечатление, что она вцепилась в него своими птичьими лапками, чтобы не упасть. На подносе размещались: миска салата оливье с торчащими оттуда ложками, пирожки, бутылка коньяку, две стопки и порезанный лимон.

Я обнаружила, что голодна. Хотела отказаться от коньяка, но Татка уредила меня, что это правильней, чем рисковать бутылкой, передавая ее в лифт и обратно.

— А кто будет вместо него? — продолжила я разговор.

— Да этот новый. Тоже к стране обращался. Сказал, выборы пройдут как положено, а пока он тут порулит. Здоровья и счастья Борису пожелал. Уж не знаю, какое теперь счастье будет.

— Татьяна, не мучь себя, иди домой, — распорядился невидимый Валяша.

— Не, я лучше с вами посижу. Сашок все равно у себя в комнате закрылся. Ему со мной неинтересно. Он там свой собственный телевизор смотрит. — Она снова сходила к себе и принесла длинную мясную вилку о двух зубцах, на которую насадила пирожок, чтобы передать его Валяше.

— Ты лучше в пакет положи и просто кинь, — сказал он вместо благодарности. Но пирожок с вилки снял.

Впервые в новом году подал голос мусоропровод, а за окнами начался треск и пальба, то очередями, то одиночными. Мы с Таткой закурили, моя заначка оказалась мерзкой на вкус, Татка предложила мне свои, но и они были не намного лучше.

Появились наконец два недовольных и совершенно трезвых мужика в спецовках и освободили кабину от Валяши за одну секунду. Лифт немедленно загудел и поехал, словно кто-то все это время поджидал его на своем этаже, нетерпеливо нажав кнопку вызова.

Татка звала нас к себе, но мы с Валяшей отказались. Нас хватило на то, чтобы освободить елку от веревок и притулить в угол между шкафом и письменным столом. Водка кончилась, я сделала чаю. Но мы даже не допили его, потому что страшно хотелось спать. Валяша рухнул не раздеваясь на тахту, я присела рядом на край.

— Спокойной ночи, — сказала я.

— Вот не можешь ты без этого, обязательно тебе нужно, чтоб все было правильно, — засмеялся Валяша, и я видела, как в темноте блестят его глаза и зубы. — Все-таки ты настоящая буржуазка.

Теперь это слово казалось уже не обидным, а милым, и я согласилась:

— Точно. Хочу, чтоб правильно.

Я думала о том, что пойти стелиться к улыбающимся крокодилчикам было бы очень правильно, но голова у меня кружилась, и вставать не хотелось.

— И с новым годом, — сказала я.

— Да, и с новым тысячелетием, — Валяша потянул меня за руку, чтобы я легла рядом. — И не выдумывай лишнего, — шепнул он мне в ухо.

Через стену невнятно и возбужденно бухтел Таткин телевизор. Елка угадывалась в неплотной темноте — без единого украшения, зато вся в молодых, испускающих густой смолистый аромат шишках. Мы спали в обнимку, а нас, и сонную комнату, и многоквартирный дом, и весь город обнимало будущее, просторное и неопределенное, как эта ночь, которую вдоль и поперек разрывали и все никак не могли окончательно растерзать беспорядочные вспышки самопальных фейерверков.



Виктор ВОЛКОВ

/ Муром /

* * *

Не страшно, что в грязи Ока,
Что мост над ней — красивый самый,
Не страшно, если с чердака,
Упал, помяв себе бока,
Пьянчужка, вроде рыбака,
Небритый в меру, в меру пьяный.

Не страшно, что канючит лёд,
Хрусталиком сморкаясь в берег,
Не страшно, если не поймёт
Меня и даже не поверит
Товарищ близкий до глотка,
Пока в грязи ещё Ока.

И уж совсем не страшно то,
Что сослуживец койку метит, —
Зато спокоен ты, зато
В тобою избранном предмете
Ты самый искренний король,
С прислугой сказочной у трона.
Да, всё потеряно порой,
Но сердце — сердце без урона.

* * *

По настурциям, по мху — шаг в шаг.
Под малиновку, под град — цок-цок.
И не слезы заливают лицо,
И не трели барабанят в ушах.

Быстро вышел, долго шёл — кретин,
Страшно было, а для всех — смел как!
Я не лесу огоньком вредил,
Я мишенью заманил стрелка.

Пусто в тёплом и земном — родстве,
А в подлunii вздохнуть — ни-ни.
С молодечеством преклонность сверь,
И, без глупости, с пути сверни.

Мягко выстелили, спать — что нá кол,
Ведь не лягу, ведь не лягу — лгу!
Ты, звезда, не падай вечным знаком,—
Без тебя мне грустно спать в стогу.

Прилетишь, и огоньки — в поля,
И за вилы толчея — гуд-гам!
Сколько нехристь дурака валял,
Корча рожицу своим богам?

Сколько буду вторить злу? — Пробел.
Там салюты, или так — тротил?
Страшно стало, а для всех — как смел!
Долго шёл, да в никуда — кретин!



Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва /

ЗАОДНО СО СВЕТОМ

Толя Зверев. Художник. Известнейший.
 Нет, скорее всего — знаменитый.
 Так и было — в далёкие годы.
 Так и есть — всем понятно — теперь.
 Так и будет — в грядущем. Чудеснейший.
 Узаконенный. Именитый.
 С обрётённой толикой свободы.
 С бесконечным шлейфом потерь.

Зверев был человек многогранный.
 Как стакан, привычный, гранёный, из которого он частенько
 пил порою, не морщась, водку или прочие, столь же крепкие, слов-
 но жизнь, пронзительно-жгучие, по традиции нашей, отечествен-
 ной, ритуальные, вроде, напитки.

Словно ясный кристалл, магический, надо помнить, читай —
 провидческий, то есть творческий, сквозь который прозревал он та-
 кие связи и такие улавливал ритмы, что, вселенским единством су-
 щего наполняясь, творил как пел.

Зверев был человек своенравный.
 Одинокий. По-своему славный.
 Безобразничал — и чудил.
 Жил в грязи — и в кругу светил.
 Вдохновлялся — и тосковал.
 Изумлялся — и рисковал.

Зверев был человек своевольный.
 Жестковатый — и хлебосольный.
 Подозрительный вдруг — и вздорный.
 Звук мажорный — призывок минорный.

Словом — сонмы противоречий.
В жизни. Творческой. Человечьей.
В жизни. Той, что была — его.
И вот это — важней всего.

Зверев был — проводник. При даре.
Был — в единственном экземпляре.
Повторений — не может быть.
Чашу жизни — пришлось испить.
Создал мир он. Огромный. Свой.
Зверев — миф? Или — дух? Живой?
Да, живой. Потому что — жив.
Новым граням — лицо открыв.

*

...Зверев — рисует. Где-то в центре Москвы. В какой-то большой, с потолками высокими, с окнами в полстены, с люстрами, отзывающимися на шаги по паркету, натёртому до блеска, долгим, протяжным, мелодичным, хрустальным звоном, просторной, чистой квартире. Пригласили какие-то люди, с виду вполне ухоженные, спокойные, в меру приветливые, художника знаменитого — сделать портреты семейства.

Мы пришли туда с Толей вдвоём, потому что в семидесятых часто вместе, подолгу, неделями, а бывало, что и месяцами, бродяжничали по столице, по домам её, то неприветливым, откуда уйти хотелось как можно скорее, в ночь, в метель или в дождь, всё равно, лишь бы только быть пусть и бездомными, но всяких граждан недобрых, по возможности, независимыми, то на редкость гостеприимным и вполне симпатичным домам, где ночлег был радостью подлинной, и тепло, и беседы с хозяевами, понимающими, радушными, драгоценными были для нас.

Мы пришли. Принесли с собою две коробки школьной, дешёвой, в виде твёрдых прямоугольников, акварели, простой, надёжной, той, которую предпочитал всем другим сортам акварели, даже сверхдорогим, заграничным, неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с собою бумагу и несколько плоских, щетинных, для руки удобных кистей. Отдышались немного, с дороги. Побеседовали, из вежливости, о том да о сём, с хозяевами, которые, вроде, настроились на серьёзность того, что будет вскоре происходить. И работа тогда — началась.

Зверев — работает. Весь, от макушки до пяток, — в работе.
Всклочены волосы Толины.
Цепок и точен его пронзительный, резкий взгляд.
На полу — целым фризом разложены ватманские листы.
Рядом с ними — тазик с водой.
И — коробки со школьной, простой, любимой его акварелью.
В руках у художника — несколько больших, широких кистей.

Зверев — ходит между листами ватманскими, нагибается, делает поочерёдно на каждом листе мазок, выпрямляется, смотрит на то, что получилось, дальше движется, и листы заполняются постепенно цветом, преобразуются — и начинают жить своей, особой, таинственной и полнокровной жизнью.

Семья хозяев — сидит на стульях, напротив Зверева, в полном составе. Смотрят, словно на чародея, на него. Любопытно им — что же в итоге получится? Но пока что — надо позировать. И сидят они все, как миленькие. И позируют. Устают, но, однако, терпят. Так надо. Так сказал художник: сидеть! Двое взрослых, муж и жена. Муж — солидный, немолодой. А жена — молодая, красавица, в лёгком платье, с глазами томными, с поволокой. Двое детей, принаряженных, симпатичных, круглолицых, мальчик и девочка. Обеспеченная, наверное, да и дружная, вроде, семья.

Зверев рисует их — по очереди. Начинает с детей. А потом переходит на взрослых. Он ходит по полу, между листами, машет кистями, брызжет водой из тазика и на паркет, и на бумагу, фыркает, приплюсывает, бормочет что-то своё, хватает акварель, всю коробку, вываливает её на бумагу, шлёпает рукой по бумаге, которая заполняется всё интенсивнее, и это — процесс, который остановить невозможно, творческий, вдохновенный, в полёте, в сплошном движении, и это — действие, загадочное, таинственное, ритуальное, фирменное, коли так можно назвать его, зверевское, так-то проще, и по-русски звучит привычнее, жреческое, магическое, действие его трудов.

Зверев порой говорит:

— Сюда посмотри, детуля!

Или бормочет:

— Так. Не двигайся. Хорошо.

Заворожённая Зверевым, семья послушно, смиренно подчиняется беспрекословно ему, потому что так надо, выполняет его приказы, и смотрит во все глаза на него — жонглёра и фокусника, циркача, актёра и мага.

И расцветчивается бумага.

И на ней возникают — портреты.

Как, откуда? Вроде бы не было их недавно — и вот они, здесь!

Чудеса, да и только! Тайна.

Есть в квартире теперь — новизна.

Здесь присутствует нынче — искусство.

Зверев топчется возле работ.

Говорит:

— Не хватает белого!

Но никто его не понимает из хозяев. Какое белое?

Зверев голос на них повышает:

— Есть у вас порошок стиральный?

— Есть! — ему отвечают. Идут за порошком. Несут порошок в коробке. Протягивают коробку полную Толе.

Зверев берёт коробку, прыгает над работами в странном танце — и сыплет, сыплет порошок, словно снег, на работы.

И работы — преобразаются. Одна за другой, по очереди. Светлеют. Становятся дымчатыми. Да ещё появляется в них — фактурность. По акварелям словно метёт позёмка.

Зверев смотрит на то, что сделал.

Говорит хозяйевам:

— Веник! Поскорее — несите веник!

И ему приносят большой и широкий новенький веник.

Зверев макает веник в тазик с водой — и брызжет на работы. И что-то снова происходит с ними тогда. Сквозь белёсость от порошка прорывается цвет — всё гуще, всё обильнее, пятнами, сгустками, цвет — в котором таился свет, а теперь получил возможность здесь, в квартире чужой, сиять — и решительно всех изумлять.

Зверев бросает веник на пол. Дух переводит. Смотрит на акварели. И говорит хозяйевам:

— Нож! Принесите нож!

Хозяева не понимают его. Озадаченно спрашивают:

— Какой ещё нож? Зачем?

Зверев им объясняет:

— Кухонный нож. Любой.

Хозяйка идёт на кухню. Приносит столовый нож. Протягивает его, с некоторой опаской, надо — так надо, Звереву.

Зверев хватает нож. Делает им на работах белые резкие полосы, всякие загогулины, по сырым цветовым переливам, поверх акварели. Потом пишет ножом на каждой свежей работе, ставшей почему-то воздушной, движущейся, подпись свою — АЗ. И, versteht sich, — год.

Смотрит на акварели.

И говорит:

— Всё!

На пол бросает нож. Выпрямляется. И — улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, да и нужно ведь, отдохнуть.

Члены семьи, которых изобразил художник, с места встанут, порываются посмотреть поскорей на работы.

Зверев их останавливает:

— Нельзя! Работы — сырые.

И говорит помягче:

— Пускай полежат. Потом успеете посмотреть.

Члены семьи соглашаются — ну что ж, потом так потом.

Зверев спрашивает меня:

— Скажи, ну как, получилось?

Я отвечаю:

— Да. Получилось. Ты молодец.

Зверев довольно щурится.

Хозяин зовёт нас к столу — выпить и закусить.

Приглашение мы принимаем.

Сделанные акварели остаются лежать на полу — сохнуть, до той поры, когда их, наверно, тогда, когда разрешит художник, можно будет смотреть.

Время за разговорами, за выпивкой — быстро проходит.

И вот отдохнувший немного от трудов своих долгих художник говорит наконец хозяевам:

— А теперь — смотрите работы!

Вся семья бросается в комнату, где лежат на полу акварели.

Видят их. Восклицают восторженно:

— Ах, какие мы все красивые! Ну, спасибо вам, Анатолий Тимофеевич!

Зверев:

— Не за что. Я — работал. А вы — позировали. Я вас просто увековечил.

Хозяева — деньги ему в аккуратном конверте протягивают — за работу. Зверев небрежно берёт конверт и сунёт в карман. Заработал — и ладно. Пригодятся ещё, на жизнь.

Мы прощаемся с увековеченной семьёй — и выходим на улицу, в гомон столичный, прямо в ненастный осенний вечер.

И Зверев мне говорит:

— Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне с тобой спокойнее как-то. Я рисуется лучше, вроде бы, чем тогда, когда я один.

Я киваю в ответ головой.

Что сказать? Здесь слова не нужны.

Всё и так понятно, без слов.

Мы идём вдвоём, вдоль домов, то теснящихся, то расступающихся чуть пошире, вдоль длинных оград, вдоль деревьев редких, куда-то — в сердцевину безвременья, в даль, за которой возможна и глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни впереди зажглись, где куда-то прийти нам надо, где дождёмся тепла и лада...

*

...Гость нежданный в той комнатухе, где однажды я обитал и куда, навестить меня, заявился, с выпивкой, Зверев.

Гость — случайный. Но, вроде, по делу появился здесь. Как-то мнётся. Но потом — набирается храбрости. Обращается к Звереву:

— Толя!

Зверев, как говорят, ноль внимания.

Гость тогда говорит:

— Анатолий!

Зверев снова — не реагирует на такое вот обращение к нему совсем незнакомого, непонятого человека.

Гость опять говорит:

— Анатолий Тимофеевич! Вы меня слышите?

Зверев, глухо и кратко:

- Слышу.
— Вы могли бы сейчас...
— Что — мог бы?
— Написать трактат.
— Что?
— Трактат. Говорят, вы их здорово пишете.
— Что сказал ты? А ну, повтори!
— Вы могли бы трактат написать?
— Я могу, старик, очень многое написать.
— И трактат?
— И трактат.
— Напишите трактат.
— О чём?
— Как — о чём? Надо сообразить. Об искусстве вы, вроде, писали. Напишите трактат — о погоде.
- Зверев, коротко:
— Десять рублей.
— Что, сумеете?
- Зверев:
— Двадцать.
- Гость опешил:
— Ну, аппетиты...
- Зверев, резко и твёрдо:
— Тридцать.
- Гость подумал немного. Потом произнёс, осмелев:
— Я согласен.
- Зверев:
— Что там сейчас за погода?
- Гость, слегка озадаченно:
— Где?
- Зверев:
— Там, за окном. На улице.
- Гость:
— На улице? Дождь идёт. Зябко, сыро. В общем, невесело.
- Зверев:
— Деньги мне покажи!
- Гость, порывшись в карманах:
— Вот! Ровно тридцать рублей.
- Зверев:
— Ладно. Хорошо. А на чём писать? Да и чем?
- Гость:
— А вот и тетрадь, новенькая. И ручка. Заграничная ручка. Отличная.
- Зверев, хмуро:
— Давай тетрадь. И свою заграничную ручку.
- Гость на стол положил тетрадь. Рядом с ней положил он ручку.

Зверев молча раскрыл тетрадь. Взял в свою артистичную руку заграничную ручку. Подумав, написал заголовок, простой и понятный: «Трактат о погоде». И — немедленно начал писать.

Он писал до тех пор, покуда вся тетрадь не была заполнена размышлениями художника, размышлениями — о погоде.

Он сложил тетрадь. Протянул её, вместе с ручкой, неожиданному гостю. И сказал:

— Теперь — гонорар.

Гость воскликнул:

— А можно мне посмотреть сначала?

И Зверев разрешил ему это:

— Смотри.

Гость сразу же начал читать творение свежее зверевское.

И — втянулся. И прочитал всё, что было в тетради написано.

В это время Зверев смотрел на допитую бутылку вина. И грустнел, на глазах.

Гость закончил чтение. Встал. И сказал:

— Ничего подобного не читал я. Это — шедевр.

Зверев буркнул в ответ:

— Бывает.

Гость сказал:

— Вот, пожалуйста, ваш гонорар. Здесь тридцать рублей. А трактат ваш — я сохраняю.

Зверев деньги небрежно взял. И сказал, со значением, гостю:

— Разрешаю хранить трактат. Деньги есть ещё?

Гость, растерянно и немного волнуясь:

— Есть.

Зверев, грозно, ему:

— Покажи!

Гость достал кошелек свой:

— Вот!

Зверев:

— Слушай, старик! Алейников — гениальный поэт, — и широким жестом, дружеским, рыцарским, щедрым показал на меня, — он бездомничает. И ему, как и мне, нужны тоже средства к существованию. Понимаешь меня?

Гость взглянул на меня и сказал:

— Понимаю.

Обратился Зверев ко мне:

— Ты скажи мне, Володя, — сейчас у тебя в портфеле найдётся хоть один, какой уж там есть, самиздатовский сборник твой?

Я открыл портфель. Посмотрел, что в нём есть. И сборник нашёлся. Положил я на стол его:

— Вот он.

Зверев — гостю:

— Купи у Володи самиздатовский сборник его. Ты об этом не пожалеешь. Будешь долго потом вспоминать нашу встречу. Ты меня понял?

Гость спросил:

— Сколько стоит сборник?

Зверев сразу сказал:

— Четвертную.

Гость сказал:

— Так и быть. Куплю этот сборник, не за четвертную, а за тридцать рублей, маэстро, как и ваш трактат о погоде.

Зверев это одобрил:

— Лады!

Гость открыл кошелёк. Достал ровно тридцать рублей оттуда. Протянул мне деньги:

— Держите!

Я сказал ему:

— Благодарю.

Зверев — мне:

— Подпиши ему сборник. Внуки лет через сколько-то там, да неважно ведь, через сколько, в общем — в будущем, продадут за приличную сумму. Я знаю, так и будет. Им хватит на жизнь.

Подписал я свой сборник — и молча протянул его нашему гостю.

Он сказал:

— Спасибо, Владимир!

Зверев — гостю:

— Давай трактат!

Гость:

— Зачем ещё?

— Подпишу!

— Да, конечно, конечно. Вот он.

— Как зовут? Фамилия, имя, да и отчество.

Гость сказал.

Зверев свой трактат подписал. Протянул его гостю:

— Держи!

Гость воскликнул:

— Спасибо, спасибо!

Зверев:

— Не за что.

Гость:

— Я так рад!

Зверев:

— Слушай, трактат — о погоде. А погода сегодня — скверная. Настроение — тоже неважное. Вот десятка. Сгоняй в магазин. Это близко, здесь, за углом. И купи там побольше выпивки. Ну а если что-то останется, то купи тогда и закуски.

Гость сказал:

— Я согласен. Я мигом!

Подхватил десятку — и ринулся, во весь дух, поскорее, за дверь.

Не прошло и пяти минут, как вернулся он к нам, промокший под дождём, но довольный, с выпивкой и закуской:

— Я всё купил!

Зверев:

— Здорово! Ты молодец.

Гость спросил:

— Мне теперь уходить?

Зверев:

— Нет! Посиди-ка с нами. Обогрейся немного. Высохни. Предлагаю втроём нам выпить. И, поскольку закуска имеется, то немного и закусить.

И мы, разумеется, выпили. И закусили. Втроём.

А потом — говорили мы. Долго. Обо всём на свете. Втроём.

И день дождливый сменился вечером, тоже дождливым, но это ведь — там, за окном, а в комнате нашей — тепло и спокойно. И мы — говорили. Об искусстве, о жизни. И я читал в тот вечер стихи. И Зверев их слушал внимательно, и глаза его были влажными.

А гость сказал нам:

— Я счастлив, что познакомился с вами!

Ближе к ночи наш гость ушёл, унося с собою трактат о погоде, зверевский, с подписью, и мой самиздатовский сборник стихов, тоже с подписью. Был он в самом деле доволен и счастлив.

Жаль, что я позабыл, как звали нежданного нашего гостя.

Важно то, что он — был. Давно. В ту эпоху, что отшумела, вместе с ветром, с дождями, со снегом, со скитаниями, бездомицами, с тем, что сердцу дорого было, вопреки неурядицам всяким и невзгодам, со всем, что выжить нам помогало, что было явью, настоящей, что сердцу дорого и сейчас, потому что в нём было главное — наше творчество, что спасало нас и хранило, если даже нам приходилось временами играть с огнём...

*

Надо теперь сказать обязательно — вот о чём.

Никогда, за все бурные годы дружбы моей со Зверевым, не был я на вторых ролях.

Были с ним всегда мы — на равных.

Были мы с ним, разумеется, людьми совершенно разными.

Прежде всего — по характеру.

Конечно, по воспитанию.

По судьбам. Была у каждого из нас, что вполне понятно, и в прежние сложные годы, и особенно — по прошествии времени, то есть, сейчас, когда многое высветляется и становится даже ясным постепенно, судьба своя.

Да и как иначе? Ведь каждый был из нас, в любых обстоятельствах, и особенно в творчестве, главном в нашей жизни, самим собой.

Но что-то тянуло ко мне постоянно буйного Зверева.

И что-то, что трудно выразить, тянуло меня к нему.

Вместе — мы дополняли друг друга.

Вместе — было нам хорошо.

И вот что важно, замечу, — Зверев мне доверял.

Даже больше — Зверев мне верил.

И я ему доверял.

И абсолютно верил.

Никогда я его не разыскивал.

Нет, он сам обычно меня умудрялся, где бы я ни был, в беспокойной Москве отыскать.

Иногда — по чутью. Иногда — потому что примерно знал, где мог я в бездомные годы находиться, где обитать.

Было у нас друг к другу — уважение, и немалое.

Было у нас понимание обоюдное — кто есть кто.

Было у нас обоих самое важное — дар.

Зверев меня считал гениальным русским поэтом.

Зверева я считал гениальным русским художником.

Никогда мы этого на людях особо не афишировали.

Но мы друг о друге знали, что таких, как мы, — больше нет.

И зачем сейчас мне, седому, чудом выжившему в былую, драматичную и трагичную, героическую эпоху, и огонь, и воду прошедшему, да ещё и медные трубы, на восьмом десятке моей интереснейшей, сложной жизни, написавшему столько стихов, да и прозы, что хватит их не на мост до ясного месяца, серебряного, как говаривал о собственном творчестве Хлебников, а хватит их, полагаю, для того, чтобы запросто выйти за пределы системы солнечной, скромничать и стесняться говорить о себе самом то, что есть, действительно есть?

Я и так никуда не лезу со своими талантами всеми.

Никому себя не навязываю.

И живу — в стороне от хаоса.

Подальше от затянувшегося нынешнего как бы времени.

Да ещё и много работаю.

Зверев был — настоящим тружеником.

Несмотря на жизнь его, странную, для сограждан, и, разумеется, особенно для иностранцев, непонятную им, бестолковую, а на самом-то деле — толковую, потому что в любых условиях он работал всегда, творил.

Сам я тоже труженик. Знаю, что серьёзный и настоящий.

Слава Богу, знают об этом, и давно, мои современники.

И поэтому нам со Зверевым было что рассказать друг другу, было что показать современникам — и стихи мои прежних лет, и картинки тогдашние зверевские.

Никогда у нас не было ревности — к тому, что создал другой. Были только, везде и всегда, — внимание и понимание. Каждый был из нас — личностью. Вот что помнить следует всем сейчас.

Да, со Зверевым было — непросто.

Но зато — интересно. И Толе было, всюду, спокойней со мной.

Наша дружба длилась годами.

Хоть бывали и перерывы постоянно, в общении нашем.

Иногда уезжал я надолго из Москвы. Путешествовал часто. Месяцами жил у родителей, в Кривом Роге, на Украине, в нашем доме, где много работал.

А когда в Москву возвращался, находил меня Зверев — сам.

И тогда — продолжались наши приключения и скитания.

Длилось это до той поры, для меня важнейшей, когда я женился, когда у меня, наконец, семья появилась.

И скитания многолетние завершились, к счастью, тогда.

И так получилось, что видеться со Зверевым я перестал.

И он, человек умнейший, понимал, почему так вышло.

Всё ведь ясно — семья есть семья.

Появились потом у него и другие друзья. И помощники. Да и было знакомств у него предостаточно, хоть отбавляй.

Ну а годы нашей с ним дружбы — что же делать? — остались в прошлом.

Только память о них осталась. Но — какая память! Такая, что живёт — и, я твёрдо знаю, — будет жить и в грядущем, где, безусловно, мы встретимся снова, будем к этому оба готовы, и порукою в этом — слово днесь, и — верность своей звезде.

*

...Мы едем вдвоём со Зверевым. В такси. Как всегда. Так надо. Так Толе намного спокойнее. Так — менты не поймают на улице, не отнимут деньги последние, да вдобавок — не избыют. И, конечно же, так — удобнее, и комфортнее, это ясно и ежу, чем ехать в автобусе, или, вот уж чего не хочется, в толчее людской, где какая-то энергетика нехорошая, с запашком дурным, с едким привкусом безобразия, даже страшная, где любой к тебе может придраться ни с того ни с сего, поскандалить, оскорбить, причём — под землёй, что уже, само по себе, и ужасно, и просто дико, под землёй, в длиннющих туннелях, то грохочущих поездами, то пустых совершенно, тёмных, ехать, мучась ежесекундно, и страдая, и напрягаясь от любого взгляда, любого кем-то брошенного словца, от любого прикосновения, в непрерывном шуме и грохоте, в постоянном чередовании темноты и тусклого света, не наземного, а подземного, ехать к цели своей — на метро.

Зверев меня попросил побыть с ним рядом сегодня. Поддержать его. Потому что для него это было важно.

Помощь другу — дело святое.

Круговая порука наша в годы прежние крепкой была.

Толя за мной заехал туда, где я, подустав от бездомных броженных долгих, временно обитал.

Ворвался ко мне:

— Привет!

Я откликнулся:

— Здравствуй, Толя!

— Ты готов к походу?

— Готов.

— Ну, тогда поедем, Володя. На такси. Потому что в Гиблово у меня, в квартире моей, будет очень важная встреча. С покупателями. С грузинами. Денег нет совсем. А грузины собираются, вроде, купить, так я понял, мои картинки.

— Всё понятно. Поедем, Толя!

Мы вышли на улицу, мокрую от дождя, недавно прошедшего.

Поймали такси. Сказали адрес шофёру. Вместе устроились удобнее на заднем сиденье. Поехали.

Вначале — просто молчали.

Потом — разговаривать стали.

Перед каждой поездкой в Свиблово, или в Гиблово, как его Зверев пронциательно, как оказалось через годы, потом, называл, Толя нервничал — мало ли что может в этой квартире случиться? — и поэтому был я с ним, как и прежде порою, рядом.

Ехали мы по центру столицы. Потом повернули прямо к Москве-реке.

Справа был виден дом. Кирпичный. Отчасти похожий на терем. Старой постройки. Стоящий особняком от прочих домов. Как будто специально — от них в стороне.

Зверев мотнул головой на этот кирпичный дом:

— Вот здесь всё и началось!

Я спросил его:

— Что началось?

И Зверев ответил:

— Да всё. Всё, что потом со мной вскоре произошло. По судьбе, я так полагаю. В этом доме жил Фальк. И я бывал у него нередко. Туда меня Румнев привёл. И Фальк, человек серьёзный, проникся ко мне симпатией. И работы мои тогдашние привели его сразу в восторг. Живопись он понимал. И разбирался в ней намного лучше других. И сказал он тогда, что такие художники, представляешь, как я, да, так и сказал, рождаются раз в столетие. Вот с этого всё, Володя, вскоре и началось.

Я сказал:

— Конечно же, Фальк правильно всё говорил.

Зверев, тихо:

— Думаю, правильно.

И, взглянув за стекло с дождевыми каплями, замолчал.

Мы выехали из центра.

Двигались в сторону Свиблово.

Зверев снова заговорил:

— Всё хорошее нарисовал я, и не спорь со мной понапрасну ты, Володя, до шестьдесят пятого года. Потом — была сплошная халтура.

— Ну что ты заладил, Толя? — сказал я. — Какая халтура? Сколько потом, после этого странноватого рубежа, ты сделал прекрасных вещей! Первокласных вещей. Настоящих. Ты разве забыл об этом? Нет, не забыл. И не надо себя корить и терзать, неизвестно, за что. И откуда нынче взялось такое самоуничижение? Может быть, это всего лишь ностальгия по тем, далёким, дорогим для тебя временам? Жизнь, как видишь, идёт. Продолжается. Ты в хорошей форме. И ты больше всех остальных работаешь. Пастернак говорил: поражения от побед не должен художник отличать. У тебя, согласишься, всё равно — сплошная победа. Ты жив, слава Богу. И ты — искусство своё создаёшь.

Зверев буркнул:

— Да, создаю.

Наконец мы приехали в Свиблово.

Зрелище, надо заметить, унылое. И тоскливое. Скучное. Безысходное. Бетонные серые стены. Спальный, как говорится, район. Глухой. Погребальный. Свиблово-Гиблово. Правильно Зверев его называл.

Мы выбрались из машины.

Зашли в подъезд мрачноватого, угрюмого и безликого, почти нереального дома.

Поднялись на нужный этаж.

Зверев порылся в карманах, достал ключи — и открыл скрипучую старую дверь.

Огляделся по сторонам — никого не видно, порядок.

И тогда мы зашли в квартиру.

И Зверев сразу же, резко, плотно захлопнул дверь.

Шумно вздохнул:

— Добрались!

Я подтвердил:

— Добрались.

Зверев слегка задумался.

Спросил:

— А который час?

Я взглянул на часы:

— Двенадцать.

Зверев:

— Скоро придут грузины.

Покачал головой лохматой.

Посмотрел на шкаф. На шкафу, доставая до потолка, внушительной, плотной кипой, лежали его работы.

Зверев сказал:

— Я чувствую, что эти грузины, желающие мои работы купить, прямо сейчас придут!

И действительно, в дверь позвонили.

Зверев тихо сказал мне:

— Открой!

Я открыл скрипучую дверь.

И в квартиру — ввалились грузины.

Оживлённые, очень шумные.

Хорошо одетые. Свежие. Кто — с усами, кто — без усов.

Были вроде бы это киношники.

Развесёлая, в общем, компания.

Начались восклицанья, приветствия.

— Мы приехали!

— Здравствуйте, Толя!

— Мы нашли вас довольно быстро.

— Где работы? Давайте смотреть.

Зверев руки всем им пожал.

Незаметно, платком носовым, руки вытер незамедлительно.

Сунул смятый платок в карман.

И сказал тогда:

— Всем привет!

И представил меня:

— Володя Алейников. Русский поэт.

— О, поэт! — сказали грузины. — Хорошо. Мы любим поэзию.

Зверев — им:

— Вы садитесь. На стулья. На диван. Поместитесь все.

И грузины уселись, кто где. Все, как Толя сказал, разместились.

Театральная нужная пауза, незаметно образовавшись, как-то слишком уж затянулась.

И сказали грузины:

— Толя, покажите работы. Мы ждём.

Зверев к шкафу придвинул стул.

И достал со шкафа — работы.

Так, не глядя. Целую груду.

Положил их, все оптом, на стол.

И сказал грузинам:

— Смотрите!

Все работы были — на ватманской бумаге. Довольно большими по формату. И чёрно-белыми, и цветными. Все — выразительными, интересными. Разных лет.

Стали грузины бережно перебирать работы.

— О, какая вещь!

— И вот эта!

— И вот эта!

— Ах, красота!

Зверев молча смотрел на них.

Раз пришли, то пусть выбирают.

И грузины спрашивать начали.

— Сколько стоит вот эта вещь?

Зверев, коротко:

— Сто рублей.

— Мы берём. А вот эта вещь?

Зверев:

— Сто пятьдесят.

— Берём. А вот эта? И эта? И эта?

Зверев:

— Эти? По сто рублей.

— Так, берём. А вот эта, очень симпатичная акварель?

Зверев:

— Эта? Двести рублей.

— Хорошо. И эту берём.

Добрались грузины до скромного, не из лучших, рисунка.

Спросили:

— Сколько стоит?

И тут, неожиданно, Зверев молвил:

— Не продаётся.

— Почему? — зашумели грузины — Мы готовы купить рисунок.

Зверев, твёрдо:

— Не продаётся!

Загалдели грузины дружно:

— Почему он не продаётся? Мы готовы его купить!

Зверев, с ноткой стальной:

— Нельзя!

Зашумели грузины:

— Толя, ну, пожалуйста! Ну, продайте!

Зверев сделал вид, что задумался. И сказал им:

— Это шедевр.

И грузины — переглянулись.

И воскликнули:

— Мы его купим!

Зверев этак вроде бы грустно и устало махнул рукой. И сказал им:

— Ладно. Берите.

Взволновались тогда грузины:

— Сколько стоит? Скажите, Толя!

Зверев, резко:

— Триста рублей.

Растерялись грузины:

— Толя, это всё же дороговато. Столько денег мы не найдём!

Зверев, глядя на них в упор:

— Нету денег — так не берите. Пусть шедевр у меня останется.

Так спокойнее для души.

Посоветовались грузины. И воскликнули:

— Мы берём!
Зверев — им:
— Так и быть, берите.
И грузины — ему:
— Хорошо!
Зашуршали грузины деньгами.
Протянули их Звереву:
— Вот. За работы. Спасибо, Толя!
Зверев сунул деньги в карман.
И сказал грузинам:
— Хорэ!
— Что? — спросили грузины.
— Хорэ. Это значит — всё хорошо.
— Интересно, — сказали грузины. — Мы не знали такого слова.
Зверев:
— Да. Это было раньше. А теперь вы его — узнали. И словарь свой обогатили новым словом русским. Бодрит!
— Что? — спросили грузины.
— Бодрит. Всё на свете сейчас — бодрит.
— А, — сказали грузины. — Бодрит? Интересно. Пускай бодрит.
Мы довольны. Берём работы.
Принялись грузины сворачивать, аккуратно, в рулон, работы.
Зашуршала бумага.
Зверев им сказал тогда:
— Осторожнее!
И грузины:
— Да мы стараемся!
И увидели, что одна акварель была чуть измятой.
И спросили:
— Как её выпрямить?
Зверев:
— Просто. Возьмите утюг. Тёплый, помните. Не горячий. И с изнанки работу прогладьте утюгом. Вот и все дела. И работа опять будет ровной.
И сказали грузины:
— Сделаем!
И сказали:
— Спасибо, Толя!
— Благодарны мы вам.
— Спасибо.
Взяли купленные работы, весь рулон. Попрощались с нами:
— До свидания!
И — ушли.
Зверев дух перевёл:
— Ну, всё! Дело сделано. Полный порядок!
Извлёк из шкафа чекушку водки. Плеснул в стаканы быстро:
— Давай дерябнем!

Выпили мы. И Зверев сказал мне:

— Спасибо, Володя!

— За что?

— За то, что был рядом. А то я изрядно нервничал.

— Если это тебе помогло сегодня, то не напрасно был я рядом.

Всё хорошо.

Зверев:

— Точно. Всё хорошо.

Я спросил его:

— Слушай, Толя, почему ты рисунок, средний, согласишься-ка со мной, по уровню, оценил дороже других, тех, что были сильнее, работ?

И ответил тогда мне Зверев:

— Понимаешь, Володя, это был — театр. Абсурда, наверное. Только нужный и важный театр. Я назначил цену высокую специально. Чтобы грузины вдохновились — мол, это шедевр, как сказал я им, тоже — нарочно, чтобы этот рисунок мой, и действительно, не из лучших, так себе, среднего качества, который отдать не жалко и даром, они купили. Разыграл спектакль перед ними. И — добился ведь своего.

Я сказал ему:

— Ты и артист, и режиссёр, выходит.

Зверев, скромно:

— Я просто художник.

И сказал я:

— Да, ты — художник. Да ещё какой! Настоящий.

Зверев — мне:

— Понимаешь, зато деньги есть. Я отдам их детям. И отдам их матери. Надо мне родным своим помогать.

И сказал я:

— Ты правильно, Толя, поступаешь. Людям родным в мире нашем, весьма суровом, а нередко и слишком жестоком, надо, пусть и непросто это, несмотря ни на что, помогать.

Зверев:

— Да. Золотые слова.

Я взглянул на часы:

— Ого! Надо ехать мне. Через час у меня назначена встреча.

Зверев:

— Я подвезу тебя. На такси. Пора нам отсюда уезжать как можно скорее. Собирайся. Давай, пойдём!

И вышли мы из квартиры. И поймали такси. И уехали. Зверев — к родственникам своим. Я — на встречу, довольно важную для меня. Решили, что вскоре мы увидимся вновь. И действительно, мы встретились, дня через два.

Дружба — есть на Руси. Была? Там, в минувшем, осталась? Нет. Продолжается. И живёт. Ясным светом и днесь исцеляет.

*

...Когда-то — ну и зачин! — да что же поделать, если действительно это было, как ни крути, — когда-то.

Когда-то, в семидесятых, обитал я, конечно, временно, сколько-то дней всего, у хороших людей, которые приютили меня у себя, на Грайвороновской улице.

Грай вороний — вроде бы не был слышен на этой улице.

Зато тишины в квартире, когда уходили хозяева на работу, меня оставляя совсем одного, в пустоватой, холодноватой комнате, было — хоть отбавляй.

Тишины — одиночества. Долгого. Сросшегося со мной.

Тишины — с которой смиряться приходилось мне каждый день, из нескольких дней, проведённых на Грайвороновской улице.

Залетал в открытую форточку сырой, беспокойный ветер.

Будоражил меня. Потом — улетал куда-то обратно.

И тишина — въедалась в сознание, проникала в мысли, томила, мучила, изуверски меня раздражала.

Вроде бы раньше я любил тишину — но сейчас она, довлея над временем, идущим слишком уж медленно, сгущаясь над головой, нависая над всеми сложностями жизни моей невесёлой, становилась невыносимой.

Никто не звонил мне. И я никому не звонил. Зачем? Кому я что-то скажу хорошее? Чем порадую знакомых? Нечем их радовать. Лучше — перетерпеть. Лучше — выстоять сызнова мне. Как и прежде — просто держаться.

Вот и держался. Выстаивал.

Это ведь — не впервой.

Многому научила меня бездомная жизнь.

Она затянулась надолго.

Было в ней мало толку?

Нет, предостаточно. Смысла — тоже, хоть отбавляй.

Закалка была — суровой.

Испытаний на прочность, неожиданных, непредвиденных, постоянных, неизбежных и океанных, было столько, что несть им числа.

Но судьба — меня берегла.

Передышки давала мне. И возможности отдышаться, постепенно прийти в себя, чтобы с новыми силами дальше уходить в горнило скитаний, в завихренья ненастных дней.

И поэтому дорожил я вот такими, на время, пристанищами, как эта квартира тихая на Грайвороновской улице.

Хозяева мне оставили много бумаги — рулоны помятые, с чертежами, с какими-то мелкими цифрами.

Наверное думали — стану что-нибудь я писать.

Но стал я тогда — рисовать.

День за днём — рисовал, рисовал.

И лежали груды рисунков — на столе, на полу, везде.

Ну а я — продолжал рисовать.

В чём спасение? Только в творчестве.

И — защита, от лютой, гнетущей, как туман, день за днём, тишины.

И рисунки ведь получались — интересными. Понимал я: эти серии — выражение всех моих одиноких дней.

И однажды утром раздался в дверь квартиры — громкий звонок.

Я открыл тяжёлую дверь.

На пороге стоял — Толя Зверев.

И воскликнул я:

— Толя! Ты?

Зверев:

— Я!

— Как меня ты нашёл?

— Сколько раз ты мне задавал этот странный вопрос? Нашёл.

— Проходи.

— Прохожу.

— Сюда. Здесь живу я. Вот в этой комнате.

— Вижу.

Зверев присел на стул. Огляделся вокруг. Увидел сразу груды рисунков моих.

И спросил, для порядка:

— Твои?

— Да.

— Хочу посмотреть.

— Смотри.

Зверев долго смотрел рисунки.

И сказал:

— Послушай, Володя! Ты меня порадовал нынче. Всё — твоё в рисунках. Узнать их можно будет за километр.

Я ответил:

— Спасибо, Толя!

— Из спасибо, — сказал мне Зверев, — шубу, помни, мой друг, не сошьёшь.

И стал выбирать рисунки, один за другим, так быстро, что руки его мелькали стремительно, как у факира, выхватывая листы и складывая их в сторонке, — и вскоре образовалась изрядная стопка рисунков.

И Зверев сказал:

— Ну, хватит.

Я спросил:

— Зачем ты их выбрал?

И Зверев сказал:

— Собирайся. Поедем с тобой к Стивенсонихе. Буду я там работать. А рисунки твои — берём с собой. Подарим хозяйке. Надо тебя рекламировать. Она их охотно возьмёт.

Сказал я:

— Ладно, поедем.

Быстро собрался. Мы вышли из квартиры вдвоём. Рисунки Зверев свернул в рулон и сунул себе подмышку.

На улице, по традиции, Зверев поймал такси.

И с улицы Грайвороновской мы поехали в центр Москвы.

Стивенсо́ни́ха — то есть известная Нина Андреевна Стивенс — встретила нас радушно в своём, отдельном, внушительном, собственном, вопреки большому вопросу квартирному, испортившему москвичей, существующем особняке.

Стройная, крепкая дама.

Уверенная в себе.

Молодящаяся — слегка.

Хозяйка особняка.

В Гагаринском переулке.

Не где-нибудь на окраине, а в самом центре столицы.

Я подумал: «Небось казачка. Есть в ней эта порода, есть!»

Фамилия Нины Стивенс, девичья, была — Бондаренко.

И родом, насколько я помню, была она из Оренбурга.

Так что была она, скорее всего, казачкой.

Вроде, была она в юности пламенной комсомолкой. Но жизнь её изменилась, когда она вышла замуж за Эдмунда Стивенса, крупного журналиста американского, поселившегося в Москве на долгие годы, вместе с русской своей женой. И стала она, со временем, проявлять интерес немалый, постепенно всё возрастающий, к творчеству наших художников, авангардных, подпольных, так можно сказать об этой странноватой и колоритной, притягательной, пёстрой братии, независимой, бурной, пьющей, но при этом работоспособной, не имеющей никакого отношения к официозу, разрастающейся непрерывно и ряды свои пополняющей, вопреки запретам и сложностям всей советской тогдашней жизни. И стала она общаться и даже дружить вот с этими художниками. И стала работы их покупать. И даже стала она работы их выставлять — не в Союзе, а за границей. И её особняк стал известным местом встреч и сборищ богемных. И сама она тоже стала одной из самых известных в нашей древней столице дам. И к ней, хозяйке чудесного московского особняка, жене журналиста Стивенса, собирательнице авангардной живописи и графики, статной, прекрасно одетой, с манерами аристократки, вышедшей из простых, рядовых советских людей, и поэтому демократичной со всеми, порой по-простецки, но со значением, знай, мол, наших, помни об этом, ведущей себя с гостями, приехали мы со Зверевым.

— Здравствуй, Толя! — сказала приветливо Нина Стивенс, — ну вот и встретились наконец! Я рада тебе.

Зверев ей представил меня:

— Познакомься. Это Володя Алейников. Друг мой хороший. Генеральный русский поэт.

Нина Стивенс — приветливо — мне:
— Я знаю о вас. И даже читала ваши стихи. Рада видеть вас у себя.

Я — в ответ — ей:

— Что ж, я тоже рад.

Нина Стивенс, широким жестом:

— Проходите в дом, проходите!

Мы зашли в особняк. Оказались в светлой, чистой, просторной комнате.

Нина Стивенс спросила Зверева:

— Толя, что у тебя за рулон?

Зверев:

— Это рисунки Володиной. Он поэт, и все это знают. Но ещё и хороший художник. Даже очень хороший, поверь.

Нина Стивенс:

— Как интересно!

Зверев — ей:

— Вот рисунки. Бери.

Нина Стивенс:

— Я посмотрю?

Зверев — ей:

— Посмотри, конечно!

Нина Стивенс тут же, немедленно, посмотрела рисунки. Сказала:

— Да, рисунки очень хорошие.

Зверев:

— Это тебе. В подарок.

Нина Стивенс:

— Правда? Спасибо!

Зверев — ей:

— Пусть рисунки будут у тебя. Они тебе, знаю, пригодятся ещё, потом.

Нина Стивенс — мне:

— Значит, это в самом деле подарок? Ваш? Так, Володя?

И я сказал ей:

— Ну конечно, подарок. Берите!

Нина Стивенс:

— Благодарю!

И взяла рулон. Унесла его, просияв, улыбаясь, куда-то.

Мы со Зверевым закурили.

Хорошо здесь. Просторно, тепло.

Нина Стивенс вернулась:

— Толя! Будешь ты рисовать сегодня?

Зверев:

— Буду. Ведь я обещал.

Нина Стивенс — ему:

— Смотри!

И широким, свободным жестом показала на стол, где лежали коробки, большие, пёстрые, с заграничной, такой и не сыщешь днём с огнём у нас, акварелью, и, на выбор, кисти различные, заграничные тоже, и плотная, самых лучших сортов, бумага.

Нина Стивенс — Звереву:

— Толя, это всё — для тебя. Для работы.

Почему-то Зверев поморщился. И насупился. Помрачнел.

Я взглянул не него удивлённо.

Не вошла, а впорхнула в комнату нарядная девочка, маленькая, весёлая:

— Здравствуйте, дяди!

Мы ответили, вместе:

— Здравствуй!

Нина Стивенс — Звереву:

— Толя, вот её будешь ты рисовать!

Зверев:

— Нечем её рисовать!

Нина Стивенс:

— Как это — нечем? Акварель, и бумага, и кисти — на столе!

Это всё — для тебя!

Зверев:

— Нет, мне нужна другая акварель.

Нина Стивенс:

— Какая?

Зверев:

— Мне нужна акварель — моя. Та, которой привык я работать. Та, простая, твёрдая. Школьная. Та, дешёвая акварель.

Нина Стивенс:

— Но где её взять?

Зверев — ей:

— Акварель мы найдём! Где найдём? В магазине. Ближайшем.

Нина Стивенс:

— Чудишь ты, Толя!

Зверев:

— Нет! Чудить и не думаю. Мне нужна моя акварель. Не какая-нибудь, а моя. Та, которую я люблю. Понимаешь? Моя, родная.

Нина Стивенс:

— Ох, Толя, Толя!

Зверев — мне:

— Володя, пойдём! Акварель мою — мы найдём!

Я сказал:

— Если надо — пойдём.

Зверев:

— Нина, мы скоро вернёмся!

И — стремительно ринулся к выходу.

И пришлось мне идти за ним.

На улице Зверев быстро огляделся. Сказал:

— Туда! Там, я помню, есть магазинчик. Называется — канцтовары. Там найдём акварель мою.

Мы прибавили ходу. И вскоре оказались уже в магазине.

И действительно, там продавалась необходимая Звереву школьная акварель.

Зверев бросился к продавщице:

— Три коробки — вот этой, школьной, акварели. Да поскорей!

Продавщица сказала:

— Пожалуйста!

Зверев мелочь извлёк из кармана. Заплатил ей — за акварель.

Сунул все три коробки в карман. И воскликнул:

— Вперёд, Володя!

Мы вернулись, с покупкой, обратно в особняк Нины Стивенс, отдельно от окрестных построек стоящий, независимо и спокойно, словно всем своим видом, особенным, не советским совсем, неприступным для людей чужих, любопытных, говорящий — мол, что ему, крепкому, как орешек, и время, и власти, если вот он, стоит себе, в центре этой древней столицы, годами, нерушимо, сам по себе.

Нина Стивенс встретила нас:

— Быстро вы. Что, нашли акварель?

Зверев — ей:

— Конечно, нашли!

Нина Стивенс:

— Будешь работать?

Зверев:

— Буду. Вперёд! Бодрит!

И чудесная девочка маленькая появилась, как светлая фея, перед нами вновь, чтобы Звереву, для портрета, сейчас позировать.

Зверев:

— Миска с водой нужна!

Нина Стивенс:

— Понятно. Сейчас.

Принесла глубокую миску, наполненную водой.

Поставила миску на стол.

Зверев — девочке:

— Слушай, красавица! Ты сиди — и смотри на меня. Буду я тебя рисовать.

Нина Стивенс:

— Увековечишь?

Зверев:

— Точно. Увековечу.

Он открыл сразу все три коробки с акварелью школьной. Швырнул плитки твёрдые красок в миску с расплескавшейся вмиг водой. Размешал эти плитки, растёр, словно кашу готовил, в миске. Разноцветной стала вода.

Он смахнул со стола все кисти — кроме самой широкой, одной, и проверил её на прочность, и зажал её в кулаке.

Он убрал со стола коробки с заграничной, ненужной ему, пусть и качественной, но чужой, не родной совсем акварелью.

Он сбросил на пол бумагу, приготовленную для работы.

И оставил — один-единственный, приглянувшийся почему-то, лист бумаги, пока ещё — белый, не заполненный красками, чистый.

Он взгляделся в девочку-фею.

И сказал ей властно:

— Сидеть!

И ответила девочка:

— Да.

И тогда — Зверев начал работать.

Всё мелькало, кружилось, падало и взлетало в его руках — акварель, и кисть, и бумага, и расплёснутая вода.

Он из миски цепко выхватывал размягчённые плитки школьной акварели — и тыкал ими, резко, точно, быстро, — в бумагу.

Он размахивал кистью широкой — и водил ею, тоже быстро, и прицельно, и артистично, по листу бумаги, который, под неслыханным натиском зверевским, начинал уже оживать.

Он был весь — в синкопическом, джазовом, так сказать мне хочется, ритме.

Он работал. Был весь — в работе.

Он — портрет создавал. Творил.

Наконец он шумно вздохнул.

Поглядел на работу свежую.

И сказал усталое:

— Всё!..

Распрямился. И улыбнулся.

И добавил, с достоинством:

— Есть!

Подбежала девочка-фея.

Посмотрела портрет:

— Это я!

Зверев — ей:

— Ну конечно, ты!

Подошла Нина Стивенс. Взглянула на портрет:

— Толя, это шедевр.

Зверев:

— Пусть сначала высохнет. Он ещё станет лучше — потом.

Нина Стивенс:

— Ох, Толя, Толя! Ты волшебник.

Девочка:

— Правда? Он волшебник?

Я:

— Да. Это правда.

Нина Стивенс:

— Он чародей!

И сказала девочка-фея:

— Дядя Толя, сделайте чудо!

Зверев — ей:

— Ну, это я запросто!

Помахал волшебной рукой — и достал, неизвестно, откуда, из-за пазухи, может, а может быть, из кармана, откуда — неважно, просто взял и достал — шоколадку.

Протянул её девочке:

— Вот!

И сказала девочка:

— Ой! Это чудо. Люблю шоколадки.

Нина Стивенс:

— Чудо — портрет.

Зверев:

— Вырастет — всё поймёт. Без подсказок. И без шоколадок. Всё поймёт, я знаю. Сама.

Нина Стивенс:

— Надеюсь, поймёт.

Зверев — ей:

— Я устал, похоже.

Нина Стивенс:

— Вот деньги, Толя. За портрет отличный. Держи!

Зверев деньги, не глядя, взял и засунул, поглубже, за пазуху.

Пробурчал привычно:

— Хорэ!

Нина Стивенс — обоим нам, улыбаясь:

— Хотите выпить?

Я сказал ей:

— Спасибо. Нет.

Зверев:

— Нет, не хочу. Совсем.

Нина Стивенс:

— Ну, как хотите.

Зверев — ей:

— Мы пойдём. Бывай!

Нина Стивенс — нам:

— До свидания!

Зверев — ей:

— До встречи. Пока!

Я:

— Всего вам самого доброго!

И покинули мы особняк стивенсонихин, в центре столицы горделиво стоящий, личный. Тот, в котором есть, в наше время, или, лучше сказать, безвременье, как ни странно, закономерные, потому что связаны с творчеством, всевозможные чудеса.

Зверев — мне:

— Мы опять на воле!

Я ответил:

— Пожалуй, Толя!

Зверев, горестно:

— Выпить, что ли?

Я сказал:

— Да лучше — не пить.

Зверев:

— Правильно. Перебьёмся.

Я:

— Давай-ка сейчас пройдемся.

Зверев:

— Свежим подышим воздухом.

Я:

— Не знаю, как дальше мне быть.

Зверев:

— Как это?

Я:

— С Грайвороновской я ушёл. Не хочу там больше оставаться.

Уже неловко. И ключа от квартиры нет у меня. Так что снова придётся мне искать сегодня ночлег.

Зверев:

— Что-нибудь да придумаем!

Я:

— Наверное. Дай-то Бог!..

День вставал впереди — с загадками. Или — с тайнами. Не случайными. С чудесами. Давно привычными. С необычными — иногда. Может, будет ночлег. А может быть, и не будет. Неужто всё-таки, дорогим, сквозь разные сложности, станет прошлое — навсегда?..

*

...Над Москвой — ненастное небо. Нависающее над нами всю тяжестью влажной своею, то седое совсем, то свинцовое, но дождём пролиться готовое на районы столичные хмурые, на людей, спешащих куда-то, по делам, или просто идущих, не спеша, неизвестно, куда и зачем, на крыши домов, на деревья в скверах окрестных, на машины, шуршащие шинами по шоссе, на всё и на всех, здесь, в огромном и грустном мире, городском, со своим укладом, со своими законами странными и понятиями старинными, то приветливом, то не приветливом или даже, порой, враждебном, то распаханном всем навстречу, то закрытом от всех, глухом к надоевшим ему вопросам, заставляющим думать сразу о хорошем и о плохом, то лучащимся добротой, непривычной и непростою, то на помощь стремящимся вдруг, но всегда, неизменно, разным, деловым, бестолковым, праздным, удивляющим тем, что жив, несмотря

на любые беды, на невзгоды, и все победы никогда, ни разу, не скрыв, продолжающим — быть, и в этом есть родство, на века, со светом, не случайно ведь встарь воспетым, да и нынче, хвала поэтам, нет им смысла душой кривить, и нельзя его, этот город притягательный, не любить.

Зверев поднял глаза:

— Володя, день какой сегодня у нас?

Я ответил ему:

— Понедельник.

— Понедельник! — воскликнул Зверев. — Ну, конечно же. Едем к Пинскому!

Я спросил его:

— Но зачем?

— Понимаешь, — ответил Зверев, — понедельник — особый день. В понедельник я езжу к Пинскому. Постоянно езжу. Так надо. В понедельник Пинский, запомни, каждый раз выдаёт мне десятку. Выдаёт аккуратно, всегда. За мои картинки, понятно. У него их, в его квартире, целый склад. Продаёт их Пинский, помаленьку. И выдаёт мне десятки, по понедельникам. Называется это — на жизнь. Или, можно сказать, — на питание. На кормёжку, если проще говорить. Благодетель такой. Для меня это — вроде игры. Проезжаю к нему в понедельник. Получаю десятку. Беседую с ним, о жизни и об искусстве. Человек он весьма интересный. Пожилой. Сидел в лагерях. Образованный. Даже очень. Филолог. Знаток Возрождения серьёзный. Шекспировед. Пишет книги свои. Помогает, в меру сил своих и возможностей, он не только мне, — между прочим, Ерофееву Вене он помогает, я это знаю. Может, станет он помогать и тебе? Почему бы и нет? Почитаешь ему стихи. Он, я думаю, их поймёт. И решит и тебе помогать. Раз в неделю. По понедельникам. По десятке начнёт выдавать. А десятка тебе, Володя, очень даже не помешает, согласишься. Поехали к Пинскому! Время дорого. Собирайся!

Я сказал тогда:

— Кто такой Леонид Ефимович Пинский, мне известно, уже давно. Он дружен с Оскаром Рабиным, с лианозовцами. Сапгир мне рассказывал часто о нём. Он Бахтину помогал с изданием монографии о Рабле. Человек он смелый. За Синявского с Даниэлем заступался. Галича знал. О богеме нашей имеет, пусть и выборочно, представление. И тебе помогает, по-своему. Говорил мне Дима Борисов, что работы твои купить, по тридцать рублей, за любую, при желании, можно у Пинского. И поэзию он понимает, безусловно. Можно, пожалуй, познакомиться нынче с Пинским. Так и быть. Хорошо, поедем.

За минуту собрался. Накинул куртку старую. Взял свой портфель.

Мы со Зверевым вышли на улицу.

Хоть и жаждал Толя сегодня получить десятку от Пинского, но какие-то деньги были у него, как всегда, — и поэтому он рукой помахал у обочины и привычно поймал такси.

Мы вдвоём поехали к Пинскому.

И — приехали. Встретил нас пожилой человек в прихожей, невысокий, бледный, спокойный, поздоровался с нами приветливо. Пригласил к себе в кабинет. Сел за стол. Посмотрел на нас наблюдательным, цепким взглядом.

Зверев — Пинскому:

— Познакомьтесь. Это друг мой, Володя Алейников. Между прочим, не просто хороший, или даже отличный, что, в общем-то, замечательно, я не спорю, но, заметить хочу сейчас и желаю сказать вам это, гениальный русский поэт.

Пинский — мне:

— Леонид Ефимович!

Я:

— Володя!

Пинский:

— Я рад. Я давно уже знаю о вас.

Я:

— Серьёзно? Очень приятно.

Пинский — мне:

— Ну конечно, серьёзно. И читал я ваши стихи.

Я:

— Понравилась?

Пинский:

— Да.

Зверев:

— Вот и прекрасно. Хорэ!

Пинский:

— Толя, возьмите деньги!

Приоткрыл он ящик стола. В нём лежала стопка купюр. Он достал из неё десятку. Протянул её Звереву:

— Вот!

Зверев взял десятку:

— Спасибо! По-французски будет — мерси. Мы приехали к вам на такси. По-немецки будет — а ну-ка, дайте вспомнить мне — данке шён. Кто чего-то в жизни лишён? А по-русски будет — ну как? Не забыли совсем? Благодарствую!

Пинский:

— Толя, вы пейте поменьше. Берегите себя. Питайтесь понормальнее, регулярно, каждый день. Вам ведь надо работать. А для этого силы нужны.

Зверев сунул десятку в карман. И сказал:

— Хорошо. Постараюсь.

Пинский ящик стола закрыл. Посмотрел на нас дружелюбно.

Зверев хрюкнул — и закурил.

Я тогда огляделся вокруг.

И увидел, что треть кабинета занимали работы зверевские, окантованные, под стеклом, на полу рядами стоящие.

Я спросил у Пинского:

— Можно посмотреть?

Он сказал:

— Смотрите!

Часть работ посмотрел я. И понял — были вещи там перво-классные. Удивила меня вариация портрета известного Гейнсборо — дамы с пышными, голубыми, башней поднятыми волосами, сделанная акварелью. Был ещё там великолепный, выразительный автопортрет — в рубашке, пронзительно белой, с распахнутым воротом, Зверев смотрел изумлённо на мир.

Зверев — мне:

— Что скажешь, Володя?

И сказал я:

— Работы сильные.

Зверев:

— То-то!

Пинский:

— Володя, почитайте свои стихи.

Я:

— Сейчас?

Пинский:

— Да, сейчас.

Зверев — мне:

— Почитай, Володя!

Я сказал:

— Хорошо, почитаю.

Зверев — рядом сидел, на стуле.

Ну а Пинский, желающий слушать стихи мои прямо сейчас, сидел напротив меня, за столом. Над его головой, на стене с обоями блёклыми, одиноко висела ранняя работа Оскара Рабина — скособооченный старый барак.

У другой стены, на полу, громоздились работы Зверева.

Пинский взглянул на меня своими немного выпученными, изпод нависших век и мохнатых бровей глядящими, усталыми, но внимательными, с огоньком интереса, глазами:

— Володя, читайте, читайте!

Я встал тогда — и почитал те, что вспомнились мне, стихи.

Читал, как всегда, глаза прикрыв, отрешившись от всех, словно в трансе. Читал — как пел.

Наконец, закончил читать.

Пинский, сразу:

— Стихи отличные!

Я:

— Спасибо. Рад, что понравились.

Пинский — мне:

— Володя, вы можете принести мне стихи, да побольше, на машинке перепечатанные?

Я:

— Попробую. Нет машинки, к сожалению, у меня. Но какой-нибудь сборник мой самиздатовский, я надеюсь, у знакомых моих найдётся. Там, где я бумаги свои на хранение оставлял.

Пинский — мне:

— У вас нет жилья?

Я:

— Бездомничаю. Так вышло. Ничего. Я уже привык.

Пинский:

— Так... Стихи — приносите. Я попробую вам помочь с публикацией. Может, получится. Обещать ничего не стану. Потому что не так это просто. Но надеяться — можно всегда. А сейчас — подождите-ка. Вот...

Отодвинул он ящик стола.

И достал оттуда — десятку.

Протянул мне:

— Возьмите, Володя. Пригодится это, на жизнь. Приходите ко мне иногда. Буду вам помогать, деньгами. Понемногу. Ну а стихи — приносите, да поскорей.

Взял десятку тогда я:

— Спасибо.

Пинский:

— Не за что. Приходите.

Зверев:

— Ну, Леонид Ефимович, мы пойдём!

Пинский:

— Что, пора?

Зверев:

— Именно. Нам пора!

Пинский:

— Что же, пора так пора. Навещайте меня. Буду рад.

Попрощались мы с Пинским. И вышли из квартиры тихой — на улицу.

Зверев — мне:

— Вот видишь, Володя, будет Пинский тебе помогать. Как и мне. И десятка тебе очень даже не помешает. Это всё-таки деньги. На них можно выпить и закусить. Или несколько раз поесть, где-нибудь, в обычной столовой. А стихи — разыщи ты. И Пинскому принеси их, как можно скорее. Вдруг поможет их напечатать? У него ведь большие связи. Уважают его везде. Человек он, в общем-то,

добрый. Навидался всякого в жизни. Но сумел уцелеть. Учёный он серьёзный, это уж точно. Помогает людям талантливым выживать в наше трудное время. Так что — честь ему и хвала!

Мы потом куда-то поехали. Где-то были. В каком-то доме. У кого? И зачем? Кто знает! Всё равно. Разве вспомнишь теперь!

Столько было визитов этих непредвиденных, безоглядных, и ночных посиделок долгих, и надежд, и частых потерь!

Всё в тумане былого скрыто.

Это нитками белыми шито.

Может, где-то была защита.

Ну а где-то был и ночлег.

Вспоминать всё подряд — не надо.

Хорошо, что были нам рады.

Иногда. Но и в том — отрада.

Свет маячный. Желанный берег.

...Раза два приезжал я к Пинскому. Он вручал мне тогда — десятку. Говорил со мною — о жизни, о поэзии. Был со мной неизменно приветлив, добр. И светились в его глазах — и внимание, и понимание. И звучали в его словах — и сочувствие, и участие. И таким я запомнил его.

Я привёз ему сборник стихов, самиздатовский, машинописный.

Пинский взял его. Полистал. И сказал мне:

— Буду читать. Покажу стихи кое-кому. И посмотрим потом, что выйдет.

И прошёл, наверное, месяц.

Позвонил я Пинскому. Он мне сказал:

— Приезжайте, Володя!

И тогда я приехал к нему.

Пинский сборник мой самиздатовский из стола достал. И сказал:

— Ничего не выходит, Володя! Я пытался помочь, но — увы... Не хотят они вас издавать. Вам, надеюсь, ясно сейчас, что «они» — это те, наверху. Те, которые ныне у власти. В том числе, и в среде писательской. Почему — непонятно. Хотя догадаться можно, пожалуй. Из-за СМОГа, в первую очередь. Из-за ваших, пусть и не частых, публикаций стихов за границей. В зарубежных разных изданиях. Из-за вашей, такой очевидной, непохожести на советских стихотворцев. Из-за того, что поэт вы очень серьёзный, настоящий. Из-за того, что не станете вы идти на какие-то компромиссы. А уж в этом, поверьте, я ни секунды не сомневаюсь. Так что время для публикаций ваших, здесь, в отечестве нашем, как ни грустно мне говорить вам об этом, ещё не пришло. И поэтому надо ждать просветления, там, в грядущем, в жизни общества и в политике. И тогда, я уверен, будут вас на родине издавать. Вы работайте, вы пишите. И — мужайтесь. Вам надо выстоять. Всё равно вы уже состоялись, как поэт,

и довольно давно. Всё равно вы такой, как есть. В самиздате вас любят и знают. И поклонников много у вас. Так что вы — уже победили. А невзгоды вас не сломают ни за что. Вас они закалят. Жизнь сурова, что тут поделаешь. Но зато ведь и хороша. Вы об этом прекрасно знаете. И когда-нибудь всё у вас наилучшим образом сложится. И спасёт вас именно творчество. И никто вас не остановит, не заставит идти на попятную. Всё равно вы вперёд идёте. А куда же ещё вам идти? Вы — поэт, и всё этим сказано. Всё равно — вы на верном пути!..

Взял я сборник свой самиздатовский.

И сказал:

— Да, я всё понимаю хорошо. Я пойду. Мне пора.

Пинский — мне:

— Но возьмите деньги! Пригодятся. Ещё приходите. Буду вам и впредь помогать.

Я сказал:

— Нет, денег не надо!

И простился с Пинским. И вышел, из квартиры тихой, в пространство. Там я был — на верном пути.

Не в моих это правилах — быть от кого-то зависимым, нет. И навязываться ни к кому, никогда, ни за что, я не стану.

Как живу я, так и живу.

Никого ни о чём не прошу.

Я такой, какой есть. Алейников.

Независимый человек.

Что важно для меня? Свобода.

Был всегда я — сам по себе.

И таким — навсегда останусь.

Неизменно — самим собою.

Налетевший внезапно ветер прошумел вдоль улицы. Небо помрачнело, потом — посветлело. Стало близким, ясным, высоким. Облака исчезли куда-то. Различил я звезду над собой.

Значит, в путь! Всё дальше и дальше.

Надо выстоять. Надо держаться.

Несмотря ни на что. Упрямо.

И дано мне это — судьбой...

*

...В семьдесят пятом году.

В тёплую пору, когда людей столичных, изрядно стосковавшихся, в месяцы прежние, по солнцу, доброму, щедрому, радовала природа свободным своим цветением и зеленью новой своей в окрестных парках и скверах, и люди, на солнышке шурясь, незаметно, неудержимо, становились и сами светлее, и легче им было дышать, и птицы повсюду пели о том, что выжить сумели, о том, что спеть не успели, но могут всё наверстать сейчас, и ветер весёлый, хмельной,

летал над столицей, и всё, что встарь небылицей казалось, легко и просто уже превращалось в новь, и явь становилась былью, и всех чудес изобилие, как свет, проникало в кровь.

Наверное, в самом конце бурной этой весны.

Или в самом начале желанного для всех нас, нового лета.

Позвонил мне однажды Зверев.

Как нашёл меня? Как всегда.

По чутью своему, звериному.

— Алё! Это я. Привет! Приглашаю тебя на обед.

— Куда?

— К одному писателю. Советскому. Это так, для справки. Но человек он, так я думаю, вроде хороший. Собирает мои картинки. Покупает их иногда. Я решил, что тебе, как следует, надо поесть. Да и мне тоже не помешает. Повидаемся снова. А то мы давненько с тобой не виделись. Придётся?

— Хорошо, приду.

— Тогда записывай адрес.

И Зверев продиктовал мне этот писательский адрес.

Я спросил его:

— Толя, скажи мне, можно с дамой туда прийти?

Зверев хмыкнул:

— Что, дама голодная? Как и ты?

Я сказал:

— Конечно. А ещё — ей будет приятно познакомиться там с тобой.

Зверев хрюкнул:

— Да пусть приходит. Можно, раз уж она — с тобой. А еды там хватит на всех. Жду обоих вас. Ну, до встречи!

В нужный день, в нужный час я приехал, вместе с дамой, к писателю этому, не припомню, как звали его, но, как Зверев сказал, советскому.

Разыскали мы, пусть и с трудом, на окраине, блочный дом. Перед ним — пустырь. А подальше — симпатичный, густой лесок.

Поднялись на нужный этаж. Позвонили несколько раз.

Дверь открыл нам — советский писатель.

Невысокий. Почти невзрачный. Но — приветливый. И весёлый.

— Заходите, друзья, заходите!

Мы зашли в небольшую квартиру. Двухкомнатную. А может, и трёхкомнатную. Но — компактную. С невысокими потолками. Как и сам советский писатель.

Навстречу нам ринулся Зверев:

— Приехали? Ну, хорэ!

Я сказал:

— Добрались. Нашли.

Зверев, щуря пристально глаз:

— Это дама твоя?

— Как видишь!

Зверев, глядя в упор:

— Хороша!

Дама в самом деле была не хорошенькой, а красивой. Стройная, словно воздушная. Длинные тёмные волосы. Не голубые, а синие, магнетически притягательные, искрящиеся глаза. Лёгкое платьице ситцевое казалось на ней нарядом загадочной сказочной феи. Да и тайна в даме была. Но ещё и тяга к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых. Но мистичность в даме не просто увлечением модным была, а её сокровенной сутью. Позже я убедился в этом. А пока что я принимал всю её, со всеми загадками, недомолвками, откровениями неожиданными, туманными, иногда, но чаще — пронзительно, удивительно ясными, с явной ирреальностью, но и действительно, как ни странно, вполне реальными, не случайными вовсе, но к месту возникавшими, точными, вовремя изрекаемыми, с улыбкой, ироничной или блаженной, с вырывающимся в пространство грозным или довольно мирным, обострённо чутким ко всем переменам в мире, живучим, жгучим пламенем синих глаз, то прикрытых слегка, то вдруг широко и смело открытых, прямо в жизнь, и куда-то дальше, за какую-то грань, куда лишь одна она была вхожа постоянно, — такой, как есть.

Держалась она спокойно, с достоинством, без кривляний. Цену себе она знала. И в богеме — знали её.

Дама сказала Звереву:

— Познакомиться с вами я рада!

Зверев молча кивнул головой.

В квартире была — чистота. В квартире был — полный порядок. Пол был натёрт до какого-то астрального, что ли, блеска.

На стенах, в хороших рамах, висели работы зверевские.

В основном, пейзажи. Добротная, сильная живопись, маслом.

Но были там, разумеется, и портреты. Как же — без них?

Один из пейзажей — лес — был сверху, прямо по живописи, усыпан пожухшей хвоей — иголками, сохранившими упругость свою, сосновыми.

Я спросил у Зверева:

— Толя, объясни мне, а это — зачем?

Он ответил:

— Я рисовал, я старался. И вдруг захотелось, чтобы в этой моей работе появились частички леса, настоящего. И тогда я отправил хозяина — в лес. Тот, который там, за окном. Вот он, видно его. За хвоей. И принёс мой заказчик иголки сосновые, целую пригоршню. И я, с превеликой охотной, усыпал ими работу, прямо по свежей живописи. И они здесь легко прижились. Что ты скажешь? Хороший ход?

Я сказал:

— Ход — именно зверевский.

Зверев:

— Стал мой пейзаж, отличный, подчеркну, на ежа похож.

Пока мы смотрели работы, хлопотал писатель на кухне. Что-то он жарил, варил. Доносились оттуда в комнату возбуждающие аппетит, ароматные, тонкие запахи.

Потом писатель из кухни приносил различные блюда — и ставил их, как заправский повар, быстро и ловко, в той комнате, где втроём находились мы, на просторный, застеленный свежей скатертью, заполняемый снедью стол.

Наконец писатель сказал:

— Всё готово. Прошу к столу!

И уселись мы все за стол.

И трапеза — началась.

Были тосты. Писатель их говорил — со знанием дела.

Словно в Грузии где-то мы пировали, а не в Москве.

Был писатель таким хлебосольным! Угощал нас всех — от души.

— Ешьте, пейте, друзья!

И мы с удовольствием ели и пили.

А потом — начались разговоры.

И писатель спросил меня:

— Что, Володя, вас не печатают?

Я ответил:

— Нет, не печатают.

— Как же так? — воскликнул писатель, с показным, излишне бравурным, огорчением, — я читал ведь, в самиздате, ваши стихи! Ничего в них крамольного нет. Никакой нет антисоветчины. Есть — поэзия. Почему же не печатают? Непонятно.

Я сказал ему:

— Нет, понятно.

— Что? Скажите!

— Да всё очень просто. Непохож ведь я на других.

— Вот и правильно, что непохож. Лично я приветствую это.

— Непохож потому, что я не советский, а русский поэт.

— Понимаю, — сказал писатель, — не советский, а русский.

Здесь возразить действительно нечего. Сразу всё становится ясно. Трудно будет вам. Вы ещё молоды. Вы готовы, скажите, к трудностям?

Я ответил:

— Да, я готов.

Зверев:

— Трудности мы одолеем.

Дама:

— Главное — живы стихи.

Зверев:

— Живы. И все мы — живы.

Дама:

— Будет писать Володя, с каждым годом, всё лучше и лучше. Он читал недавно стихи, у знакомых своих. Я слушала их внимательно — и заплакала. И тогда поняла я: это — непрерывное, неудержимое и по сути своей могучее, со вселенскими ритмами связанное неразрывно духовными нитями, сквозь пространство и время, вдаль и вперёд, прямым в грядущее, возрастающее движение животворной и светлой речи.

Зверев:

— Дама твоя, Володя, разбирается, вижу, в поэзии. Интересно — что она скажет о моих картинках сейчас?

Дама:

— Толя, твои работы достоянием станут вскоре государственным. А потом, не пройдёт и полсотни лет, даже меньше, в Москве откроется, вижу это я, твой музей.

Зверев:

— Надо же! Мой музей!

Дама:

— Да!

Зверев:

— Ты провидица?

Дама:

— Можешь и так считать.

И писатель — тост произнёс.

За победу русской поэзии.

За победу искусства русского.

За победу моих стихов.

За победу зверевской — всей — живописи и графики.

И пришлось нам за это — выпить.

Был обед — отменным, вкуснейшим. Да, писатель — умел готовить. И доволен был тем, что его кулинарное, высшего класса, категории высшей, искусство оценили мы все высоко.

Сразу столько слов о высоко прозвучало, в квартире этой, с невысокими потолками, в честь хозяина, гостеприимного, невысокого роста, приятного и приветливого человека, и писателя, пусть и советского, принимавшего нас у себя!

И ему — это было приятно. Раскраснелся он весь — и стал говорливее, стал вести себя всё свободнее и свободнее.

Зверев что-то рассказывал нам, увлечённо и артистично. В роль вошёл он, изображал персонажей, тех, о которых говорил, иногда гримасничал, делал жесты руками, гибкими и подвижными, хохотал, то и дело стихи читал, и свои, и чужие, но, в основном, конечно, свои, привставал со стула, ходил, то вперёд, то назад, по комнате, иногда совершал круги, и, вполне возможно, магические, и обратно за стол присаживался, словом, был художник в ударе.

Синеглазая дама изрядно захмелела — и вдруг ему, ни с того ни с сего, похоже, огорошив его, сказала:

— Тебя никогда не били!

Зверев так побледнел, что лицо его стало вмиг совершенно белым.

Он взглянул на даму горящими так, что боль в них пылала, глазами:

— Это меня не били?

И схватил он стакан с вином — и с размаху плеснул вином в лицо синеглазой даме.

Дама вскрикнула — и зарыдала.

И вскочила из-за стола.

И бросилась — вон из квартиры.

И за нею хлопнула дверь.

Зверев поднял взгляд на меня и сказал:

— Ты её догони. И верни сюда, непременно.

Я выбежал из квартиры. И увидел возле подъезда синеглазую даму, плачущую от обиды и потрясения.

И сказал ей:

— Напрасно ты глупость такую брякнула! Это Зверева, что ли, не били? Ты представить себе не можешь, сколько раз его избивали. Он весь изломан, запомни. Хорошо, что живучий. Чудом оставался он часто жив.

Дама, всхлипывая, сказала:

— Ничего я не знала об этом, поначалу. Потом — увидела всё, что было с ним в прежнее время — и увидела сразу, внезапно, всё, что будет с ним впереди. Ну а там такое, что лучше мне об этом не говорить. И решила я Толю тогда подколость, так, слегка, немного. Пошутить, грубовато, знаю, чтобы этим его защитить. Неудачно всё получилось. Зверев смысл моей фразы не понял. Но чутьё у него звериное, это сразу стало мне ясно. И о чём-то он догадался. Потому и плеснул вином — не в меня, а в то, что почуял за словами моими резкими. Может, надо мне было всё же промолчать тогда? Нет, не надо. Лучше было — сказать. И я всё сказала ему, напрямую. Признаю, получилось жестоко. И теперь я, конечно, раскаиваюсь. Но — не полностью. Потому что я должна была это сказать. И ещё я чувствую — Зверев начинает всё понимать.

Я сказал:

— Пойдём-ка обратно. Успокойся. Нас ждут. Пойдём.

И вернулись мы с ней в писательскую, с хлебосольным застольем, квартиру.

Дама, сразу:

— Прости меня, Толя!

Зверев:

— Ладно уж. Бог простит.

И наполнил вином стаканы.

И сказал, обращаясь к даме благодушно:

— Старушка, выпьем! Успокойся, да поскорее. Не сержусь я уже несколько на тебя. Ну, за дружбу! Мир!

И просиявшая дама выпила вместе со Зверевым.

И мы с писателем — выпили.

Зверев — тихо и грустно — даме:

— Почему ты это сказала — что меня никогда не били?

Дама:

— Честно?

Зверев:

— Конечно.

Дама:

— Видела я, что тебе предстоят испытания в будущем — и похлеще всех предыдущих. Будут бить тебя, к сожалению. И сильнее, чем раньше били. Потому-то я и сказала, что тебя никогда не били. Но куда страшнее побоев — и душевные муки твои, и житейские сложности разные, что изматывают тебя, не дают покоя тебе никогда, ни ночью, ни днём. И спасением станет любовь для тебя, запомни — любовь. За неё ты крепче держись. И тогда ещё поживёшь. И в искусстве многое сделаешь.

И задумался Зверев о чём-то. К даме вдруг обратился:

— Послушай! Неужели ты всё же провидица? Ну откуда ты знаешь, что будет, через сколько-то лет, да не где-нибудь, а в Москве у нас, мой музей?

Дама:

— Толя, поверь, так бывает — часто вижу я всё наперёд.

Зверев:

— Надо же! Значит — бывает!..

Дама:

— Да.

Зверев:

— Ясно. Хорэ!

И писатель сказал:

— Ура! А теперь — давайте-ка выпьем!

И воскликнул Зверев:

— Давайте! Ну, хозяин, скорей наливай!

И застолье наше продолжилось.

И пришёл незаметно вечер.

И настала пора покидать нам троим — квартиру писательскую.

Попрощались тогда мы с хозяином.

И на улицу вышли, втроём.

Зверев, я и притихшая дама.

Загорались окна в домах. И стеною тёмной казался тот лесок, в котором писатель собирал иголки сосновые, для пейзажа свежего зверевского.

Толя — мне:

— Вы теперь куда?

Я:

— Пока что и сам не знаю.

Дама:

— Что? Мы поедем ко мне.

Зверев — нам:

— Я вас довезу.

Помахал рукой на обочине.

Остановил такси.

Пригласил нас:

— Ну, залезайте!

И поехали мы, втроём, на такси, в сердцевину тёплого, в огоньках, повсюду мерцающих, разгорающихся, под звёздами в ясном небе, столичного вечера.

И довёз нас, меня и даму синеглазую, Зверев до места.

И сказала Звереву дама:

— Толя, ты уж прости меня!

И ответил ей Зверев:

— Забудь!

Я сказал:

— Что ж, до встречи, Толя!

Зверев — мне:

— Постой. Погоди.

Из-за пазухи вынул бутылку коньяка. Протянул её мне:

— Пригодится ещё. Держи.

Взял бутылку я:

— Вот спасибо! Просто чудо! А как же — ты?

Зверев — мне, улыбнувшись лукаво:

— У меня есть ещё две бутылки!

И потряс полый пиджака. Там действительно что-то булькнуло, мелодично, тихонько звякнуло.

Я:

— Понятно. Тогда — всё в порядке.

Зверев — даме:

— А это — тебе!

И достал из-за пазухи две шоколадки, лимон, апельсин и большое румяное яблоко.

Протянул это даме:

— Держи!

Дама:

— Толечка, вот спасибо!

Зверев — ей:

— Старушка, держись! Будь поласковее с Володей.

Дама — Звереву:

— Постараюсь!

Я достал из портфеля свой сборник самиздатовский:

— Толя, дарю!

Зверев:

— Это серьёзный подарок. Не коньяк, не лимон, а стихи. Подпиши-ка мне сборник свой.

Я спросил:

— А чем подписать? Ручки нет у меня. Потерялась.

Зверев:

— Ручка всегда найдётся. Или, может быть, карандаш.

Он порылся в карманах. Достал карандаш оттуда:

— Держи!

Сборник свой я ему подписал.

— Вот, готово. И ты держи. Карандаш свой возьми, пригодится.

Зверев сунул сборник за пазуху. Карандаш — положил я карман.

Я сказал ему:

— Почитай ты стихи мои, на досуге.

Зверев:

— Будет в жизни досуг. В перерывах, после работы. И поэтому не сомневайся — почитаю твои стихи. Потому что мне они нравятся. А верней — они мне по душе. И плевать, что тебя не печатают. Напечатают, будь уверен. Всё, до строчки, потом напечатают. Наше время — там, впереди. Там, в грядущем, высоким слогом говоря, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Ты — стихами, а я — картинками. Это будет именно так. А пока что — пускай стихи твои не печатают оглоеды и тупицы советские всякие. И картинки мои пускай гады всякие не выставляют. Ни следа от них не останется, от тупиц, оглоедов и гадов. Даже мокрого места и то не останется. Так, пустота. Ну а мы с тобой — победим.

Я сказал:

— Да, мы — победим.

Синеглазая дама слушала наши речи — и вдруг заплакала.

Я спросил её:

— Что с тобой?

Дама:

— Ах, вы такие хорошие, оба! Жаль мне вас почему-то. Но и я понимаю: вы оба обязательно победите.

Зверев:

— Слушай, Володя, пророчицу. Значит, видит всё наперёд.

Шофёр — из машины:

— Кто-нибудь поедет дальше? Я жду. Ну а счётчик, понятно, крутится. Так что вы поскорей решайте — кто поедет, а кто остаётся.

Зверев:

— Надо мне ехать. Дела у меня. Мы ещё увидимся.

И уехал он. На такси.

По делам. По своим, по зверевским.

Дел немало ведь у художника.

Даже вечером. Да и ночью.
Мы остались вдвоём. И дама мне сказала:
— Какой он славный, этот Зверев! И одинокий..
И покрепче взяла меня под руку.
И глаза её синие вспыхнули благодарным, горячим огнём.
В небе звёзд было вдосталь. И вечер был на редкость тёплым.
И нынче кто же вспомнит и кто нам скажет, что таилось когда-то в нём?..

*

Память — не просто загадочна.
Память — сплошная тайна.
Память — хранилище странное всего, что бывало в прошлом,
что в жизни моей, такой уж, как есть, как она сложилась, когда-то происходило.
И что-то — порой забывалось, как будто вдали скрывалось.
А что-то — как-то внезапно, само ко мне приходило.
Само ко мне возвращалось.
И, значит, со мной не прощалось.
Просто ждало — когда же вернётся оно ко мне.
И — оживало снова.
И слышал я каждое слово.
Из лет, встающих из мрака, воскресших в ночном огне.
И видел тогда я — многое.
И прошлое было — рядом.
И здесь, в настоящем, сызнова становилось оно родным.
В отборе событий — строгое.
Но — щедрое. С певчим ладом.
И, значит, живое, личное, — быть не могло иным.
Да, выжившее упрямо.
Сквозь все прошедшее драмы.
Сквозь все трагедии. Вырвавшись, из сонма невзгод, вперёд.
К желанному свету. К людям.
Сюда, где мы есть — и будем.
Туда, где в грядущем встретимся. Где кто-то зовёт и ждёт.
И, стало быть, продолжается движение неуёмное.
Наверное, по спирали.
Конечно, и вглубь, и ввысь.
И — вдаль. Ну, само собою.
Поскольку дано — судьбою.
Как дар или мир — огромною.
И — звёзды над ней зажглись.

Так что же мне рассказать?
Как нити опять связать?
Незримые нити. Прочные.

Пусть что-то само придёт.
Ведь встречи привычно ждёт.
В словах и деталях — точное.
Возникнет призывный звук.
Расширится речи круг.
Услышу — музыку чистую.
Увижу — заветный знак.
Смелее — и только так!
Скажу — и, как прежде, выстою.

Вспоминаю семидесятые, на события разные щедрые, на любые драмы богатые, для меня — всё равно крылатые, как и прежние годы, поскольку, несмотря на всякие сложности, я работал много тогда и спасался этим всегда.

Вспоминаю семидесятые, с их скитаниями постоянными, с их тревогами окаянными, с их сражениями неизбежными с оголтелыми силами зла, словно были это не мирные, а военные годы, когда приходилось всё время держаться, не сдаваться, упрямо выстаивать, вопреки обстоятельствам трудным, быть всегда начеку, в строю, оставаться самим собою, принимать всё, как есть, с достоинством неизменным, идти упорно, сквозь невзгоды, туда, где виден впереди был волшебный свет.

Вспоминаю семидесятые, с их невысказанной протяжённостью и во времени, и в пространстве, потому что столь много в них умещалось тогда историй, приключений невероятных, огорчений, соннений, долгих, одиноких, глухих ночей, дней голодных и зим холодных, летних улиц с жарой палящей, смутным ветром вблизи пылящей, затихающим там, вдали, где осенние зрели зёрна, где опомниться не зазорно, как терзать меня ни могли расставания с тем, что было драгоценным, что впрямь томило, угнетало порой, но вновь, побеждая в борьбе суровой с прежним горем, с весною новой наконец-то ждала любовь, и тогда жизнь казалась раем, но за гранью, за рваным краем яви, вновь проливалась кровь, и опять, посреди страданий, приносивших за вестью весть, озарений и ожиданий было столько, что их не счесть.

Вспоминаю Оксану Михайловну Синякову-Асееву, зверевскую небывалую, фантастическую и неистовую любовь.

Мы однажды приехали к ней.

С нами был ещё и «трубач», так вот Зверев его называл, музыкант, довольно известный в мире джаза, Герман Лукьянов, оказался — сын Музы Павловой, поэтессы и переводчицы, рослый, странный, меланхоличный человек, и его подруга, почему-то в корсете, высокая и одетая странновато, по давнишней, вроде бы, моде, из двадцатых или тридцатых, довоенных, совсем далёких от теперешней жизни, годов.

Приняла нас Оксана Михайловна, как всегда, приветливо. Стала угощать нас чаем с вареньем и беседовать с нами. О чём? Да почти ни о чём. По-светски. Щebetала — совсем по-птичьи. Слово Хлебников сочинил эти звонкие речи её.

Зверев чай из чашки фарфоровой пил — и слушал её задумчиво. И — помалкивал больше. Лишь изредка говорил что-нибудь простое.

Но зато Лукьянов — охотно говорил. Непрерывно, много.

И вдобавок сказал, что он, музыкант, — тоже пишет стихи.

И немедленно их прочитал.

Были в них — эпохальные строки:

«Нервы, нервы, стервы, стервы».

Как-то нам неуютно стало.

И смутилась Оксана Михайловна.

И напрягся, набычился Зверев.

И вздохнул я: ну что за дела!

Но зато подруга Лукьянова горделиво на всех поглядела — вот, мол, знайте, какие бывают современные суперстихи!

Почему-то представил тогда я, что Лукьянова нет здесь, с подругой, со стихами его модернистскими, лаконичными, «нервами-стервами», нет, и всё тут, и вот что вдруг, вы представьте, произошло, — он исчез куда-то, немедленно, вместе с модной подругой, пропал, вместе с «нервами-стервами», где-то, ну а где — да кто его знает, растворился в столичном воздухе, чтоб в квартире своей оказаться, где ждала его снова труба, или, может, корнет, словом, нужный инструмент, на котором он станет, с удовольствием, вскоре играть.

(И действительно, шёл я однажды, ранним утром, к знакомым своим, в том районе, где жил Лукьянов, — и услышал, как он играет, на трубе или на корнете, и увидел его, стоявшего на балконе, меланхоличного, отрешённого, в тишине, растревоженной резкими звуками беспокойной мелодии джазовой, видно, в дружбе с «нервами-стервами», но усвоенной им вполне...)

Вспоминаю семидесятые.

Словно пламенем вдруг объятые.

Их героев. С ума палатую.

Или с удалью. Речи их.

Лица — в шумной толпе предпраздничной.

В толкотне бесконечной, будничной.

Их глаза — вопрошеньё вечное.

Их — чужих. И — почти родных.

Ну куда же теперь — без этого?

Столько прожитого и спетого!

Ну а может быть — недопетого?

Наверстаем ли? Как сказать!

Сохраним. Вопреки забвению.
Не стоять на месте — мгновению.
Длиться — вешнему вдохновению.
Значит, выстоять. И — дерзать.

...И снова мы навестили однажды, вдвоём со Зверевым, Оксану Михайловну. Вечер был на редкость хорошим тогда.

Была Оксана Михайловна прекрасна. Глаза сияли. Казалась она мне сказкой. Волшебница? Нет. Звезда.

«И все они были красивы», — сказал когда-то о сёстрах Синяковых их друг Велимир.

Но в Оксане Михайловне всё же было что-то больше обычной красоты. В ней была и тайна.

И Зверев — чувствовал это.

Хребтом своим — понимал.

Потому её и любил.

Потому-то к ней и тянулся.

Потому-то её непрерывно рисовал. Он её — воспевал.

Он её — создавал. Молодою делал вновь. Он видел её — не подвластной времени. Вечной. Не стареющей никогда.

Самой близкой. Самой родною.

Кем? Подругой? Или женою?

Всем на свете. Почти святою.

Даром свыше — сквозь все года.

И сотни сделанных Зверевым портретов Оксаны Михайловны остались — песнью художника о верности и любви.

Остались. Живут. И жизнь их продолжится и в грядущем. При мером союза прочного — уж как его ни зови.

Портреты. Прозрений зверевских свидетельства несомненные.

Портреты. Терзаний зверевских признания откровенные.

Портреты. Символы. Знаки. Образы — сквозь века.

Сказочные. И — реальные. Не взятые с потолка.

Портреты. Воображение — средь будней. Плоды труда.

Портреты. Преображение былого. И — навсегда.

Портреты. В ночи — сияние. В судьбе — поворот и взлёт.

Блаженное состояние. А счастье — авось придёт.

Портреты. Души метания — в бесчасье, где жизнь трудна.

Бессмертия очертания — сквозь явь. На все времена.

...Оксана Михайловна слушала стихи мои — и глаза её становились влажными, светлыми, лучистыми и прозрачными, озёрными, как сказал бы об этом друг её, Хлебников.

И лицо её преобразалось, молодело. Морщинки вдруг исчезали куда-то. Губы шевелились слегка. И волосы над закинутой головою золотистой сияли короной.

Царица? Волшебница? Лада. Так её называл Асеев, поэт и муж её, в прошлом — азартный игрок, футурист.

А Зверев её называл — старухой. Бубнил: «Старуха!..» А сам — любил её. Страстно. Неистово. Так, что всё вокруг кувырком летело — кастрюли, тарелки, книги асеевские, картинки, фотографии, — так, что двери выламывал сгоряча в буйстве диком своём и в ярости, в грозном гуле клокочущих чувств и желаний своих — быть рядом со старухой своей, и немедленно, быть сейчас же, надолго, вместе, опекать её, помогать ей, говорить ей слова хорошие, воспевать её в письмах, в стихах, рисовать её снова и снова, обнимать её иногда, приникать к ней, совсем по-детски, знать, что в ней лишь — его спасение, знать, что это — любовь и жизнь, и единственный выход из ада, и надежда его, и отрада.

...В кабинете асеевском Зверев мне показывал папки с работами многочисленными своими.

И на каждой папке была обозначена им — оценка.

Четыре. Четыре с плюсом. Но чаще, конечно, — пять.

И работы здесь были — отборные.

И распорядилась ими — конечно, Оксана Михайловна.

И увидел я на одной из толстенных папок с картинками, на виду, прямо сверху, броскую, многократно художником сделанную, в самых разных, порой непредвиденных, вариантах, всегда впечатляющую, знаменитую подпись — АЗ.

И спросил я у Зверева:

— Что это?

И ответил мне Зверев так:

— Понимаешь, это мои, как ты сам сейчас видишь, подписи.

Да, они, безусловно, разные. Но — мои, и всё этим сказано. А то ведь эти, — тут Зверев посмотрел куда-то за стену и рукой показал туда, — эти самые, злопыхатели, прохиндеи всякие нынешние, говорят, что я почему-то не умею, надо же так расстараться, чтобы меня подколоть, рисовать эмблемы. Нет, умею. И вот они, перед нами. Вот они, подписи. Необычные иногда, но всегда легко узнаваемые. Все — мои. Вот моё — АЗ.

В кабинете асеевском Зверев мне показывал груды тетрадей — со стихами своими, с поэмами, иногда не только большими по объёму, но просто огромными, смесью лирики с эпосом, синтезом этих жанров, новаторским, смелым, авангардным, но и с почтением к нашей русской традиции, текстами необычными и уникальными, — груды общих тетрадей, исписанных им от корки до корки, размашистым, но при этом вполне разборчивым, синкопическим, быстрым почерком.

Так что здесь, в кабинете асеевском, до поры до времени, видимо, находились, в полной сохранности удивительные сокровища.

Где теперь они — кто это скажет?

Где-нибудь. У кого-нибудь — есть.
И не надо гадать об этом.
Как говаривал Ворошилов о работах своих — прорастут.
Вот и зверевские сокровища, полагаю, — давно проросли.

...Смотрит нынче с портретов, созданных в годы прежние Толей Зверевым, на людей Оксана Михайловна, на людей столетия нового, смотрит пристально, грустно, радостно, смотрит — вся в сиянии зверевской, бесконечной, вечной любви.

Смотрит так, что многие чувствуют возрастающий жар в крови.
Смотрит — муза. А может — музыка. И — поэзия. Жизнь. Судьба.
И — надежда на понимание. И внимание. И мольба.
Смотрит — живопись. Или — светопись.
Песнь. И ей-то — звучать и впредь.
Или — тайнопись. Может, летопись?
Весть, которой нельзя стареть.

*

...Снова вспомнилось давнее чтение стихов, моё чтение в семьдесят седьмом, непростом для меня и бурном весьма году.

Один мой знакомый, случайно, устроил мне это чтение, или творческий вечер, так ведь звучит намного солиднее, в театре, который, как выяснилось из беседы с ним телефонной, деловой, как сказал он мне тогда, находился в Царицыно.

Что ж, Царицыно так Царицыно.

Можно будет и там побывать.

Место, всем в столице известное.

Всем ли? Вряд ли. Зачем скрывать?

Далеко не все приезжали москвичи когда-то — туда.

Почему? Да кто его знает! Как-то сложно живут города.

А в Царицыно сохранилась, вместе с ладом былым, старина.

Пусть там что-то всё ж изменилось. Но звала туда — тишина.

Но манили — покой и воля. Но вели — и чутьё, и свет.

Где избавиться вмиг от боли? Лучше места — пожалуй, нет.

И поэтому надо было оказаться в Царицыно снова.

Рай? Неужто? Да что-то вроде рая ближнего, право слово.

Пусть — остаток, пусть — отзвук рая. Пусть — фантазия, пусть — мечта.

Существуют ведь, не сгорая, удивительные места.

Сохраняются. Выживают. Изменяются — но слегка.

Долго тайны свои скрывают. И загадочны — сквозь века.

Читал я стихи свои в ту пору довольно часто.

И, тем более, был обещан мне за чтение — гонорар.

А средства к существованию были мне очень нужны.

И решил я с собою взять, на чтение это, Зверева.

Я сказал ему:

— Толя, меня приглашают стихи читать, в театре одном, в Царицыно.

Зверев буркнул:

— Да? Хорошо.

Я сказал ему:

— Толя, представь, мне за чтение это — заплатят.

Зверев хмыкнул:

— Ну, наконец-то понял кто-то, что чтение, друг мой, и не чьё-нибудь там, а твоё, подчеркну, особое чтение стихов, которое было, и есть, и будет всегда уникальным, неповторимым, — это тоже большая работа.

Я спросил:

— Ты поедешь со мной?

Зверев сразу ответил:

— Поеду.

И вот, в назначенный день, мы поехали с ним в Царицыно.

Разыскали театр, в котором предстояло стихи мне читать.

Нас встретили шумной толпой симпатичные люди, актёры. Молодые, весёлые, дружные. Приветливые, оживлённые.

Молодые женщины, очень интересные, — как же, актрисы! — надо марку держать им, быть привлекательными всегда.

Парни, крепкие, даже спортивные, так могло показаться, подтянутые, словно все, как один, готовые к репетициям и спектаклям.

Все актёры театра в Царицыно.

Все встречали сегодня нас.

Ну и что с того, что не знали их мы доселе, что мы их видели, сразу всех, нарядных, взволнованных и общительных, в первый раз!

Важно — то, что мы с ними встретились.

Труппа славная. Коллектив.

Так скажу я. В них был, заметил я, добрый свет, сплошной позитив.

Актёры:

— Приехали! Здравствуйте!

Я:

— Здравствуйте!

Зверев:

— Привет!

Актёры:

— Давайте знакомиться!

Назвали свои имена. Так много их было, что я, признаться, теперь их не помню.

Я — актёрам:

— Позвольте представить: Анатолий Зверев, художник.

Зверев, щурясь:

— Да, это я.

Всполошились актёры:

— Зверев? Это вы? Тот самый? Серьёзно?

Зверев — им:

— Конечно. Тот самый.

И актёры:

— Ну, чудеса!

Зверев — им:

— Доживём, надеюсь, мы сегодня и до чудес.

Актёры:

— Вот это встреча! Сам Алейников к нам приехал, да ещё и вместе со Зверевым!

Я — актёрам:

— Значит, судьба.

Привели нас актёры в театр.

И настало время читать мне актёрам стихи свои.

И читал я стихи. Говорить мне приходится часто об этих, в годы прежние, чтениях. Так уж получалось. Выходит, нужны были чтения эти людям. Что с того, что меня не печатали? Наплевать на это. Подумаешь, что ни шаг, то сплошные запреты! Люди слушать умели тогда. Люди сами решали, что им было близким, а что — далёким. И стихи мои были в ту пору, героическую, орфическую, — им действительно необходимы.

И надо сказать, что слушали актёры меня — замечательно.

Внимание их оказалось — поистине изумительным.

Такого теперь, посреди затянувшегося «как бы времени», с его абсурдом и хаосом, с дичайшей подменной ценностью, с бессмысленной вседозволенностью всеобщей, давно уже нет.

А тогда, в минувшие годы, со всеми их, оптом, сложностями, жива была — человечность, и радость была жива.

И если стихи читал я собравшимся слушать людям, то в душах их оставались надолго мои слова.

После чтения моего пригласили меня и Зверева все актёры в большую комнату, где накрыт был длиннющий стол.

На столе — бутылки с вином. И закуски. Всё честь по чести.

Вот какие были актёры. Было всё у них — по-людски.

Мне вручили конверт с деньгами, заработанными, за чтение.

Поместились все за столом.

Все мы — выпили и закусили.

Начались потом — разговоры.

Зверев — мне:

— Хорошо ты читал. Да ещё вот и заработал. Молодец, Володя!

Хорэ!

Я:

— Ты знаешь, устал я, Толя. Напряжение было большим.

Зверев — мне:

— Значит, надо выпить.

И налил в стаканы вина.

И мы с ним вино это — выпили.

Один из актёров, рослый, стройный, весёлый парень, был за столом — тамадой. И тосты он говорил — затейливые, забавные. И шутил. И ритм задавал особый — застолью нашему.

И в руках его появилась — гитара. И стал он петь задушевно — романсы старые. И пел он их — замечательно.

Зверев слушал его с удовольствием. И спросил его вдруг:

— Старик! Помнишь песню — «Цыплёнок жареный»?

И ответил актёр:

— Да, помню.

Зверев, этак лукаво:

— Спой!

И актёр тогда — спел «Цыплёнка».

И воскликнул Зверев:

— Бодрит!

И сказали ему актёры:

— Нарисуйте что-нибудь нам.

Зверев их оглядел. Сказал:

— Сколько вас? Поскорей считайте. И несите сюда бумагу. Что-бы столько было листов, сколько здесь, за столом, людей. И несите — чем рисовать. Всех я нынче увековечу!

И актёры разволновались. Побежали — искать бумагу. И нашли какую-то мятую, желтоватую пачку листов. И какие-то карандаши. Принесли. Положили на стол.

Зверев — стал рисовать. С прибаутками. Но на деле — вполне серьёзно. Виртуозно, как и всегда. Острым взглядом посмотрит внимательно на актёра или актрису, изучая лицо, — и вскоре на листе возникает рисунок. Да ещё и какой! Чудесный. Так вот — всех актёров, слегка обалдевших от артистизма и порыва свободного творческого, вдохновенный художник стремительно, словно в трансе, нарисовал.

Положил карандаш на стол.

Хрипловато сказал:

— Ну, всё!

И в руках у актёров — у каждого — был портрет его, нарисованный, прямо здесь, в их театре, — Зверевым.

И смотрели они на Зверева изумлённо, как на волшебника.

И сказал тогда Зверев актёру-тамаде, с гитарой в руках и с портретом своим:

— Старик! Если можешь, то спой «Цыплёнка»!

И воскликнул актёр:

— Могу! Я сейчас!

И немедленно спел.

И Зверев был очень доволен.

И выпил вместе с актёром.

И хорошее настроение было общим за нашим столом.

Так вот внёс артистичный Толя в театральное наше застолье элементы перформанса, так ведь называется это действие в новом веке, с его новациями, чьи истоки — найдут в былом.

И потом провожали нас все актёры:

— Спасибо!

— До встречи!

— До свидания!

— До свидания!

Всё осталось теперь — вдали.

В дымке призрачной. Там, в Царицыно. Там, совсем далеко. Далече. Там, где наши звучали речи. Где беседы мы встарь вели. Там, давно. Так давно! Когда-то. Где актёры в театре — с чудом повстречались. Оно — живое. Для людей. И — для всей земли.

*

...Но когда это всё началось — эта дружба моя со Зверевым, эти наши скитания, вместе, по Москве, днём и ночью, годами, в слишком трудных моих, бездомных, незабвенных семидесятих?

Вспоминаю: с семидесятого — и до лета, и впрямь дарованного мне, скитальцу, наверное, свыше, когда жизнь моя изменилась и бездомницы, наконец, стали пусть и недавним, но прошлым, — до лета счастливого семьдесят восьмого, на радости щедрого, на открытия и события, на прозрения и наития, на любовь и на творчество, ставшего переломным, знаковым, года.

Года — явленной новизны.

Обретений и откровений.

Года сказочных вдохновений.

Тех, что мне и теперь верны.

Года ясной моей звезды.

Года праздника — сквозь невзгоды.

Года певчей моей свободы.

С ней в единстве — мои труды.

А до этого — что до этого?

Столько было всего — не воспетого.

Не записанного почему-то.

Впрочем, помнится — до минуты.

До секунды даже, порой.

Было всё-таки не игрой.

Было — жизнью нашей. Сражением.

С чем? Со злом. И — надежд свершением.

Было — подвигом. Эрой труда.

Было — правдою. Навсегда.

Были — встречи. Было — знакомство.

Много встреч. И знакомство — давнее. С осени шестьдесят четвёртого года, когда стал я жить в Москве и учиться в МГУ — и со всей богемой, день за днём, непрерывно, знакомился, ну а с некоторыми людьми начинал уже и дружить.

Были — встречи. Было — знакомство.

Что об этом скажет потомство?

Может, скажет, что были мы странными?

То ли трезвыми, то ли пьяными?

Непохожими на других, на советских людей, положительных?

Скажут: не были небожителями?

Скажут: в общем-то, чудаки?

Все гадания — пустяки.

Были мы — героями яви.

Вспоминать о былом я вправе.

Если я не скажу — то кто и когда же об этом скажет?

Кто мохристые нити судеб узелками событий свяжет?

Речь — жива. И память — жива.

С ними в дружбе — мои слова.

Или — встречи в период нашего легендарного СМОГа, когда в одночасье я стал знаменитым, интересным решительно всем и в Москве, и в провинции, всюду, где любили стихи, молодым, но уже и серьёзным поэтом, в середине шестидесятых.

(Зверев — был в нашем СМОГе. Был. Вот представьте себе. Представьте: был — и всё тут. И выставлялся на обоих наших, смогистских, легендарных теперь, вечерах, на которых были и выставки авангардных тогдашних художников, в библиотеке имени Фурманова, находящейся на Беговой улице, в феврале и в марте Змеиного шестьдесят пятого года.

Когда мы решили с Губановым, что стихи стихами, что их мы почитаем людям, это само собой, а вот стены библиотеки надо украсить работами неофициальных художников, устроить большую выставку, пусть провисит она хотя бы два-три часа, но и это станет событием, так же, как наше чтение, то сразу же, в первую очередь, подумали мы о Звереве.

С Толей был я уже знаком — с осени прошлого года.

Он появлялся — вдруг —

в какой-нибудь шумной компании, где читали стихи, выпивали, о чём-нибудь жарко спорили, — у Сапгира, в его тогдашней небольшой коммунальной комнате, у Алёны Басиловой, в доме на Садово-Каретной, где все мы собирались тогда постоянно, вся Москва, вся богема, и в прочих, всем знакомых местах, где было что-то вроде салонов, где людям, и особенно людям творческим, было вместе всегда хорошо, интересно и даже полезно, потому что общение было совершенно необходимо всем нам в годы былые, когда были мо-

лоды мы, и силы нас действительно переполняли, и единство наше давнишнее, пусть и разными все мы были, ощущалось, как свет целебный, даровало радость свободы и возможность всем проявить себя, состояться, собственным творчеством утвердить за собою право быть достойным внимания общего, быть своим, совершенно своим в столичной богемной братии, —

он появлялся вдруг, неожиданно, ещё безбородый, то выбритый гладко, в чистой, хоть слегка и запачканной красками, заграничной одежде, подаренной покровителями его, то небритый, заросший щетиной, в пиджаке измятом, в задрипанных и местами порванных брюках, но всегда, несмотря на то, был он выпившим или трезвым, по-особому внутренне собранным, и в компании все понимали, не сговариваясь: это — личность, он какой-то совсем другой, гость залётный, словно явился он из другого совсем измерения, или, может, из параллельного, есть ведь где-то такой вот, мира, —

он появлялся, присутствовал, здесь, среди всех, был рядом, — и так же неожиданно, как и появился здесь, вдруг, не успеешь глазом моргнуть, опять исчезал, чтобы потом, со временем, появиться в другой компании, возникнуть, побыть там немного, выпить вина, улыбнуться чему-нибудь, пошутить, поговорить немного с кем-нибудь, произнести слово своё, возможно, магическое: «Хорэ!» — и раствориться в пространстве.

Но всё-таки я нашёл его.

И Зверев дал мне — для выставки, на время, — свои акварели.

И пару его работ, для выставки, дал мне Ситников.

И эти работы зверевские — украсили нашу выставку.

И люди, на вечер пришедшие, заполнившие до отказа помеще-ние библиотеки, смотрели работы, развешенные на стенах, рядами плотными, и — слушали наши стихи.

И Зверев — пришёл на вечер.

И слушал стихи внимательно.

И я, в тишине всеобщей, услышал его «Хорэ!»

А потом я увидел, что Зверев внезапно забеспокоился. Стал оглядываться. Показал мне на окна, где различил я брожение странноватое, и на дверь, откуда просачивались в библиотеку менты и какие-то люди в штатском.

Кто-то мне тихо шепнул: «Пришли менты с кагебешниками!»

Всё стало ясно. Нам следовало отсюда скорей уходить.

Зверев мне помахал рукой — мол, ещё увидимся вскоре, — и вдруг, раздвигая толпу, стремительно ринулся к выходу, мимо ментов с кагебешниками, и — в дверь, и — в кружение снега, в мороз февральский, на улицу, в темноту и огни столпцы, где можно от всяких скрыться неприятностей, — и растворился где-то там, в темноте и огнях.

Мы, читавшие людям стихи, тоже тогда успели уйти из библиотеки, через дверь, во двор выходящую.

Кагешники и менты, жаждавшие скандала и готовые всех нас хватать и везти на расправу скорую, просчитались, остались ни с чем.

Выставку нашу менты с кагешниками не тронули. Видно, не сообразили. Осталась она цела. И работы со стен мы вскоре сняли и отдали всем нашим друзьям-художникам.

И Звереву отдал я его акварели. И Ситникову — зверевских пару работ, которые он давал для выставки, да и его, ситниковские работы.

Молва по Москве разнеслась — о вечере нашем, о выставке. Повсюду звучало слово, всем известным ставшее: СМОГ!

А в марте ещё один вечер, всё в той же библиотеке, состоялся — чудом, наверное. И читали стихи мы, и снова на стенах висели картины, которые дали для выставки наши друзья-художники, в том числе, охотно, и Зверев, и пришедших на вечер людей было столько, что все они поначалу не умещались в довольно просторном зале, но как-то потом уплотнились и всё-таки поместились, — и мы рисковали, конечно, сознательно, весь этот вечер был дерзостью, это был вызов тому, что мешало нам всем, тому, что творилось вокруг, всей косности жизни, запретам на ту новизну, что была нам, как воздух, необходима, на свободу, ставшую вскоре неразрывно связанной с творчеством. Потом — начались неприятности, гонения. Власти начали принимать советские меры, чтобы нас уничтожить. Не вышло ничего у них. СМОГ оказался долговечным. Он жив и сейчас.

И Зверев порой, лукаво улыбаясь и щурясь, говаривал, выразительно поднимая указательный палец вверх, к небесам ненастным: «Я — СМОГ!..»)

Или — встречи в домах, где мы собирались когда-то, чтобы пообщаться, стихи почитать и, конечно, выпить немного, по традиции, так уж, представьте, было принято в прежние годы, в ту эпоху, с которой вряд ли разорвётся и нынче связь — до того она крепко, надёжно и навечно с нами срослась.

Или — встречи в подвальных чьих-нибудь мастерских, а то и чердачных, где холсты громоздились вдоль стен, пахло красками, веяло сырьём из окна приоткрытого, высились за окном силуэты зданий и деревьев редких окрестных, где стояли рядами тусклыми на полу пустые бутылки, где звучала тихая музыка из транзистора или же слышались голоса зарубежных, вражеских, всем известных радиостанций, где художники, то бородатые, то сознательно безбородые, создавали свои шедевры, непохожие принципиально на искусство официальное, где свобода была такой же всем понятной необходимостью, как и воздух столичный, в котором ощущалось присутствие странное неизменно желанных, радостных, удивительных перемен.

Были встречи — на протяжении тех крылатых шестидесятых, что остались надолго в памяти, стали теми моими стихами, что и ныне дороги многим современникам, слышавшим их на моих тогдашних, привычных для меня и довольно частых в ту эпоху, былую, которая, безусловно, была орфической, и читавших их в самиздате, стали прозой моею, новой, необычной, прозой поэта, стали книгами самиздатовскими, стали книгами, всё же изданными, пусть, так вышло, увы, с запозданием, но пришедшими всё-таки к людям и ценным ими сейчас, в наши дни, в столетии нынешнем, что пришло на смену минувшему и совсем на него непохоже, потому что всё в мире — в движении, только времени, видимо, нет, есть — светил и судеб кружение, есть — кровей и мыслей брожение, в небесах над землёй — положение всех известных ныне планет, нет старения, есть — горение, вдохновение и дарение, всем землянам, наших искусств, есть — природа творчества, светлая, есть — энергия жизни, смелая, сила духа, есть — рать несметная всех людских бесконечных чувств, есть любовь, что ночей бездоннее, и земная, и неземная, есть прозрения, есть гармония, о которой давно я знаю, есть — победа над злом, всегдашняя, торжество грандиозной битвы, есть сражения врукопашную, есть надежды и есть молитвы, есть всё то, что свыше даровано, что ведёт вглубь, вперёд и ввысь, вот и смотришь порой очарованно, как над миром звёзды зажглись, есть призвание — и создание, в этой жизни, своих миров, есть — великое созидание, есть земной, да и звёздный, кров, есть — свой путь, что упрямо тянется из далёких, туманных лет, есть всё то, что навек останется, что хранит драгоценный свет, есть — сияние, и — слияние с мирозданием всем, тогда прояснится и расстояние — от бывшего до настоящего, до грядущего, предстоящего, чтобы стать родным — навсегда.

Были встречи. Столько, что все они бесконечной встают чередой там, вдали, посреди отшумевшей на ветрах, минувшей эпохи, были, были, вовсе не сплыли никуда, ведь память жива, ну а с нею живы слова, для которых пространство и время не помеха вовсе, а просто что-то вроде среды обитания, были, помнятся все детали, были, нынче легендами стали, явью, былью ненастных лет, сберегли сокровенный свет, значит, были нужны, важны, значит, было в них нечто такое, что хранило сердце людское в годы трудные, душу спасало, достоянием общим стало всей богемы — хвала ей и честь. Были — значит, доселе есть.

Миновали шестидесятые. Крылатые, молодые.

И на смену им тут же пришли — суровые семидесятые.

На события всевозможные и на беды сплошные богатые.

Для кого-то — просто тяжёлые. Для кого-то — совсем седые.

В этом тексте своём, похожем на поэму или на эпос, говорю я о Толе Звереве — и не только о нём, конечно.

В этом тексте я говорю об эпохе былой, о времени, том, которого, как утверждают знатоки разномастные, нет, потому что весь мир — иллюзия, виртуальная вроде реальность, сон, и всё же, как ни крути, это явь, уж такая, как есть, и такая, какой была эта явь когда-то, давно, и такая, какой эта явь будет, видимо, и в грядущем, там, где встретимся все мы, герои андеграунда, нашей богемы, в том, что создали мы, чем жили, в нашем творческом щедром единстве, в нашей жизни земной и в нашем несравненном, великом горении, словно в светлом и радостном мире, в благодарной, надеюсь, памяти человеческой, той, желанной и заслуженной, осянной несказанным светом прозрений, в понимании добром людском.

В этом тексте я говорю немало всего о наших, общих, для всей богемы столичной, семидесятых, но всё-таки — и о моих, личных, так я скажу, и сделаю правильно, знаю, бездомных семидесятых, невероятно сложных, закаливших меня, конечно, тех, в которых я выжил, в которых был поддержан, да и спасён, вопреки всем невзгодам, — творчеством.

(...Оказался я, набродившись по Москве, в чьей-то маленькой комнатке, расположенной в глубине коммунальной огромной квартиры.

Знакомый какой-то шапошный оставил меня у себя. Наверное, из сострадания. Чтобы я отдышался здесь. А сам ушёл на работу.

Был измучен я, до предела.

И, похоже, ещё и болен.

Поднялось давление снова.

Приходилось терпеть. Лекарств никаких и в помине не было.

Я прилёг на тахту. Смотрел за окно. Там шумела улица. Проезжали машины. Слышались голоса людские. Чирикали воробьи. Там кипела жизнь.

Ну а здесь, где лежал я, не было ничего — ни еды какой-нибудь, ни воды, шаром покати.

Пусто. Тихо. И темновато.

Лишь стекло оконное, грязное, в мутных пятнах, давно немываемое.

Лишь тахта, скрипучая, старая.

Лишь тоска. И усталость. И — боль.

В голове моей поневоле зазвучала какая-то музыка.

Я достал тогда из кармана чуть измятый, вчетверо сложенный, желтоватый бумажный листок.

Записал на нём строки стихов.

И тогда-то в дверь комнаты, где я лежал и писал стихи, постучала громко соседка и сказала мне:

— К вам пришли!

В коридоре раздался топот.

Отворилась дверь. На пороге появился вдруг — Толя Зверев.

Он воскликнул:

— Привет, Володя!

Изумился я:

— Ты откуда? Как сумел ты найти меня?

Зверев сел на единственный стул и промолвил:

— Ты мне приснился.

— Как — приснился?

— Да так. Приснился. Мне приснилось, что ты — в беде, и тебя мне надо спасти.

— Как нашёл ты меня?

— По чутью. Как всегда. Я это умею.

Зверев сунул руку за пазуху и достал оттуда бутылку армянского коньяка. Открыл бутылку. Нашёл на столе гранёный стакан. Сполоснул его коньяком. Содержимое выплеснул на пол. Налил половину стакана золотистого коньяка. Протянул мне стакан:

— Быстро выпей!

— У меня давление, Толя.

— Пей. Не будет сейчас давления.

Взял стакан я. И выпил коньяк.

— Скоро будешь совсем здоров! — произнёс тоном лекаря Зверев.

И действительно, мне стало легче.

И сказал я тогда:

— Помогло!

— Ну, вот видишь! Я знаю, что делаю.

Я присел на краешек скрипнувшей старой, ржавой пружинной тахты.

Закурил. Посмотрел на Зверева.

Он сидел на стуле, как будто на коне боевом, в седле.

Я спросил его:

— Выпьешь, Толя?

Он ответил кратко:

— Потом! А тебе надо выпить снова.

И плеснул мне в стакан коньяк:

— Ну, давай! Немедленно выпей.

И пришлось мне выпить коньяк.

И себя я почувствовал лучше.

Зверев снова налил коньяк, половину стакана:

— Пей!

— Эх, была не была! — я выпил.

Потеплело в груди. Боль прошла.

Зверев пристально посмотрел на меня — и сказал:

— Ты здоров!

И действительно, я почему-то был теперь совершенно здоров.

Я сказал:

— Ты волшебник, Толя. А ещё и целитель, пожалуй.

Зверев хмыкнул:

— Что есть, то есть. А теперь тебе надо — поесть.

И — достал из своих бездонных и волшебных, наверно, карманов кусок ветчины свежайшей, буханку белого хлеба, луковицу, головку чеснока и румяное яблоко.

И сказал мне:

— Всё это — съешь!

И, представьте, я всё это — съел.

И стал — совершенно здоровым.

Зверев был доволен. Он хрюкнул. Произнёс наконец: «Бодрит!» Улыбнулся лукаво. Полез, как заправский фокусник, ловко и привычно, к себе за пазуху. И достал оттуда — кусок ветчины, да побольше первого, и буханку белого хлеба, и большую жёлтую луковицу, и головку белого, твёрдого чеснока, да ещё и два яблока. И потом, после некоей паузы, артистично, конечно, выдержанной, достал и поставил на стол две бутылки сверкнувшего золотом армянского коньяка.

И сказал:

— Теперь поедим. Вдвоём. И, понятно, выпьем.

И мы с ним поели. И выпили.

Я сказал ему:

— Знаешь, Толя, ты вернул меня к жизни. Я очень благодарен тебе за это.

Зверев сразу ответил:

— Не за что. Ты меня столько раз выручал. Да ещё и спасал не единожды. Всё я помню. Дружба есть дружба.

Я сказал:

— Да, дружба есть дружба.

Мы сидели вдвоём, в задрипанной и неубранной чьей-то комнате. Говорили. О том да о сём. Как всегда. Было нам спокойно. И уютно даже. Коньяк согревал нас. Никто не мешал нам. И никто нам не досаждал. В самом деле, дружба есть дружба.

И сказал мне Зверев:

— Старик! Почитай мне стихи свои. Это надо сейчас. Почитай!

И читал я стихи. И Зверев их внимательно очень слушал. И сказал мне своё:

— Хорэ!

А потом — ушли мы куда-то. Побродить, как прежде. Вдвоём.

По московским весенним улицам, где вечерний синел окоём.

А потом — всё дальше и дальше.

В глубину эпохи былой.

Той, что трудной бывала раньше.

Донимавшей ненастной мглой.

Ввысь. В грядущее. К звёздам ясным.

К новым подвигам — там, вдали.

Тем, что светом сильны прекрасным.

Он вовек не уйдёт с земли...)

Было — что-то, чего и не выразишь так вот, сразу, не сформулируешь, потому что это и жизнь, и судьба, да и многое прочее, не случайность, а неизбежность, то, что было нам предначертано свыше, видимо, что привело, нас обоих, в итоге, к дружбе.

К дружбе — той, что дороже многих.

К дружбе — той, что осталась в памяти, несмотря на всякие сложности жизни прежней и несмотря на характеры наши, разные, и на разные наши судьбы, непрерывным, неугасающим и поныне, таким, который исцеляет и поднимает над обыденным и жестоким, надо всем, что мешаает творчеству, над землёй, сквозь дождь или снег, сквозь любые приметы времени, сквозь пространство, с его причудами, парадоксами и загадками, сквозь любые тайны, сквозь явь, за которой настанет правь, сквозь невзгоды, туда, где новь, ну а с нею и та любовь, что спасла меня в те года, что пришла ко мне навсегда, золотым, драгоценным светом.

Дружба — дар.

И творчество — дар.

И гадайте нынче, мои современники и читатели, что, да как, почему, да зачем это было. И есть — доселе.

В самом деле?

Да, в самом деле.

Было. Есть. И останется — жить.

В том грядущем, что встречи ждёт.

Что когда-нибудь — вдруг придёт.

И — раскинет вновь за собою звёздный шлейф давнишних, волшебных, да, представьте себе, волшебных, пусть и были они земными, под ненастными небесами, небывалых порой событий, встреч, историй, в диапазоне от забавных до драматичных или даже трагичных, поскольку были годы наши минувшие, несомненно, трагичными, да, это так, это было, как данность, грубой нитью багровой прошло наши судьбы и наши надежды на желанное, лучшее время, но и радости было в них тоже предостаточно, потому что было главным для всех нас — творчество, созидательный, непрерывный, благородный, отважный труд.

Вот поэтому нас называют — андеграундом. Так уж вышло. Так сложилось. Но что же, всё-таки, для теперешних поколений, этот самый, родной, привычный, наш, отечественный андеграунд?

Что ж, зажгу, словно встарь, свечу.

Разобраться попробую в этом.

Пониманья от вас хочу.

Речь — в ночи, заодно со светом.



Александр ГАБРИЭЛЬ

/ Бостон /

70-е. ФРАГМЕНТ С ПОПУГАЕМ

Было лето жесточе, чем к Цезарю Брут:
минский август скорей походил на Бейрут
и деревьям обугливал ветки.
И жара миражами качала дома,
и сходила с ума, и сводила с ума
от соседки по лестничной клетке.

И с огнём, получившим прописку в глазах,
мы швыряли вещички в раздутый рюкзак:
майки, плавки, потёртые книги...
Наконец дождались мы, с жарой совладав,
и вобрал нас в себя неохотно состав,
в Симферополь ползущий из Риги.

Всюду — курица, яйца, батон, самогон,
звуки музыки всласть наполняли вагон:
«Песняры», Магомаев и Верди...
Был соседом прибалт из местечка Тракай,
чьим попутчиком был небольшой попугай,
прозябающий в клетке на жерди.

А в соседнем купе слышен «ох!» был и «ах!»,
даже воздух вокруг знойной страстью пропах,
словно был там с Рахилью Иаков.
Там друг друга любили взахлёб, допьяна,
а ведь были-то, в принципе, муж и жена —
но из двух независимых браков.

А другой пассажир, лейтенант из ментов,
был по пьяни за мелочь цепляться готов —
вот ко всем и цеплялся, мудило.

Чай был просто нагретой водой с сахарком;
не предложишь такой ни в райком, ни в обком,
а для нас — как для плебса — сходило.

Поезд двигался к югу, как гибкий варан;
пшённой кашей давился вагон-ресторан;
мух гуденье, невытые миски...
И — обратно, в купе, в неродную среду,
где беззвучным комочком грустил какаду,
наклоня свой профиль семитский.

АСАДОВ-БЛЮЗ

Где? Когда? Для контекста незначимо, право.
В старом доме среди мрачноликих портьер
жил старик удивительно склочного нрава
и собака породы шотландский терьер.
Старикана оставили други и дети:
он же сам разогнал их и создал барьер.
Выносила капризы нелепые эти
лишь собака породы шотландский терьер.
И когда старика забирали по скорой —
потому что пора, потому что судьба,
он, предчувствуя встречу с небесной конторой,
санитарам шептал: «Не бросайте соба...»
Санитар, добротой природной ведомый
и достойный носитель хороших манер,
из остывшего и опустевшего дома
взял собаку породы шотландский терьер.
Две недели ей ласковой было и чище,
с новым домом соседствовал солнечный сквер...
Но ушёл в небеса, не притронувшись к пище,
не меняющий взглядов шотландский терьер.
А мораль, хоть банальна, как старые гири,
но достойна, чтоб ею закончить рассказ:
понимаешь, мой друг, в этом сумрачном мире
кто-то любит и нас. Кто-то любит и нас.

БЕЗ ДВУХ ДВЕНАДЦАТЬ

Если вас тяготило бремя реинкарнаций —
паникуйте, тревожно вперясь в зрачок колодца.
На часах планеты, по слухам, без двух двенадцать.
Это значит, что в скором будущем нить порвётся.

Как-то глупо думать про деньги да о престиже.
От протухшей воды амбиций мутнеет разум...
Символический зверь песец — он всё ближе, ближе...
Что с того, что и он накроется медным тазом?

Одинаков финал героя или паяца,
ибо всё в божественном плане — продукт рутины.
На часах планеты, по слухам, без двух двенадцать,
и секунды летят, как головы с гильотины.

Через шторм плывёт человечества ялик утлый,
сквозь холодную тьму и молний тугие плети,
растянуть стараясь последние две минуты
на расшатанные пружины тысячелетий.

НАБЕЛО

Я циник доверху и дочиста, и сердце платит дань рассудку:
от слов «поэзия» и «творчество» меня корёжит не на шутку.
Хоть выпью зелья приворотные, капризности задраив шлюзы —
но подступают массы рвотные от «вдохновения» и «музы».

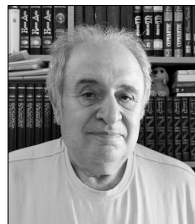
Как умницы давно подметили, из слова высекая искры:
стократ сильнее любой патетики иронии фонтанчик быстрый.
Иначе, верный томным магиям, в цветном кругу льстецов и гурий
ты пишешь книгу под названием: «Портрет меня в литературе» —

и сразу набело, без вычистки. Бывает, ты ещё в постели —
а профиль твой негероический ваяет скульптор Церетели;
шерстишь ты критиков по матери, загадочен, как мишки Гамми.
Тебя заносят в хрестоматии (хоть иногда вперёд ногами).

А тут — планида напорочила быть из чуток другого теста.
Ведь тем и хороша обочина: в ней тишь дерев и больше места.
Как в чеховской волшебной Греции, всё есть. Лишь нет огней неона
и беспощадной конкуренции за спёртый воздух Пантеона.

Марат БАСКИН

/ Нью-Йорк /



ПТИЦА, СПУСТИВШАЯСЯ НА ПРОГУЛКУ

Маленький роман

Приходит время,
когда мы все хотим начать
новую жизнь.

Роберт Пенн Уоррен

Птица, спустившаяся на Прогулку —
Не знала, что я видела...

Эмили Дикинсон

1

Дайте срок всю правду вам
Про себя скажу я сам!

Н.А. Некрасов

Сегодня с утра дождь. И желающих прокатиться по Мичигану на катере нет. И мы можем поговорить, мистер Баскин, про жизнь. Мне мама рассказывала, что мой папа любил говорить про жизнь. Но он в разговорах мечтал о будущем, а мне всегда хочется поговорить о прошлом. Иногда так хочется высказать кому-нибудь о том, что на душе, а рядом никого нет. И я начинаю, как сумасшедший, разговаривать с собакой. И Пит слушает. Он знает всю мою жизнь, от начала и до конца.

Моего отца в Краснополье все звали Гриша-матрос, хотя матросом он никогда не был. Всю жизнь он проработал механиком в МТС, и море он видел один раз в жизни, во время войны, когда пехотинцем сражался за Севастополь. И кто знает, почему полюбилось море простому еврейскому парню из местечка, в котором даже не было настоящей речки, а так себе ручеек возле сушильного завода, который я в детстве мог перейти пешком с одного берега на другой. Как рассказывала мама, папа всё время мечтал уехать к морю.

— Устроюсь матросом на пароход, механики им всегда нужны, — часто говорил он маме, — и заживём мы там кум королю! Купим домик у моря, что бы ты из окна могла видеть, как я возвращаюсь из плавания!

Носил папа всегда тельняшку и искренне радовался, когда его называли матросом.

— Он был счастлив от этого, — говорила мне мама.

И ещё он мечтал иметь сына и очень хотел, чтобы сын полюбил море, как он. Я думаю, что мы бы понравились друг другу, но нам не довелось встретиться. Я родился в день смерти Сталина, где-то под утро, и папа всю ночь, дежуривший у роддома, ошалевший от счастья, что у него родился сын, бросился в пляс, а потом с криком "Ура!" побежал по сонным улицам Краснополя, возвещая о рождении первенца. Но радость его была слишком короткой: от роддома до Советской улицы, на которой находилась милиция и жили мы. Стражи порядка, наверно, ошалели, увидев пляшущего человека в трагический для родины час, и попытались задержать папу, совсем рядом с нашим домом, но он, не поняв, что они от него хотят и, причём тут товарищ Сталин, поняв только, что они его хотят остановить, вырвался и побежал в сторону райкома и тогда милиционеры застрелили его, как врага народа, радуящегося смерти товарища Иосифа Виссарионовича.

Вот так началась моя жизнь. Мама назвала меня по папе — Гришам, хотя папа мечтал назвать меня Нахимам. И вы знаете в честь кого? Никогда не догадаетесь. В честь адмирала Нахимова. Папа считал адмирала Нахимова евреем, и в первый же день знакомства с мамой, вместо того, чтобы говорить с ней о любви, поделился с ней своим великим открытием.

— Понимаешь, Цыля, это и дураку понятно: Нохем, Нахем, Нахим, Нахимов. А они сделали его русским! Но кому это скажешь в наше время?

Мама часто рассказывала мне о папе, рассказы эти были настолько подробные, что сейчас мне иногда кажется, что я знал папу живым. Кроме мамы, мне больше никто о папе не рассказывал: родни у нас, можно сказать, не было: был папин брат, но его жена не разрешала ему дружить с нами, когда папа был жив, а когда его не стало, мы, вообще, стали как чужие. Мама рассказывала, что вся сора произошла из-за неё: папа, вернувшись с фронта, поселился у брата, и его жена Хая решила засватать папу за свою двоюродную сестру Броню, но тут папе на глаза попала моя мама и всё пошло не по Хайкиному плану. Кстати, я вам хочу сказать, что сам папин брат мучился такими отношениями между нами, и перед моим отъездом в Америку, он сказал мне об этом и плакал, вспоминая папу. Хаи уже к этому времени не было в живых, дети уехали в Израиль, и дядя Зелик жил один. Работал он всю жизнь в Краснополе парикмахером и всегда, несмотря на разобщённость наших семей, постригал меня бесплатно и иногда давал рубль на кино.

— Бери, — говорил он, — моя Хайка никогда не знает, сколько у меня в кармане денег. А зарплату я ей отдаю!

Была ещё одна у нас родня, да и сейчас есть, это мамина сестра Голда. Жила она тогда в Саратове, замужем была за нквэdistом, и мама ей почти ни о чём не писала, обменивались они короткими письмами типа «жив, здоров, целую, Петров» и всё. Я как-то пытался расспросить про неё у мамы, но мама ничего мне не рассказала, сказав только:

— Не в наших Голда пошла! Пусть будет счастлива, не я ей судья.

Позже, я как-то случайно, от соседей узнал, что Голдин муж работал раньше в Краснополье и пересадил здесь не один десяток людей.

После своего замужества Голда никогда не была в Краснополье, не приехала она и на мамины похороны, хотя ей дали телеграмму, но скажу вслед за мамой, не буду ей судьёй, всё — таки в Америку я приехал благодаря ней.

Но всё это было потом, а вначале было детство. Рос я тихим мечтательным ребёнком, главной радостью которого были книги. Мама говорила, что дай Гришеньке книгу, и он забудется, кушал он сегодня или нет. Я часто болел и, как говорил наш краснопольский врач Пузенков маме, у вас не мальчик, а пособие по педиатрии. И поэтому мама очень волновалась всегда за меня и как могла, оберегала от всех трудностей и забот, беря их на себя. Мне часто приходилось слышать слова о том, что в детстве надо приучать ребёнка к трудностям. Но я вам скажу, что это не всегда так и может быть чаще не так. Я думаю, что Набоков очень умно сказал: дайте ребёнку радость сейчас, когда вы можете её дать, ибо кто знает, что его ждёт в будущей жизни и принесёт ли кто-нибудь ему потом радость?

Об этом мне говорил и старый индеец Айра, бывший хозяин этого судёнышка и мой друг: жар костров, у которых мы грелись в детстве, согревает наши кости в старости.

После школы я поступил в радиотехнический институт, поступил не, потому что мне это нравилось, а потому что мама считала, что это хорошая профессия, работать буду всегда в городе и, вообще, эта работа легче, чем работа инженера-машиностроителя и тем более учителя. Я говорю тем более, потому что мама эту профессию знала не понаслышке, сама всю жизнь проработала учительницей немецкого языка. Успокоившись с моим образованием, мама отыскала новую проблему: стала подыскивать мне невесту.

Как водится, в наших еврейских семьях, она стала перебирать всех своих знакомых, у кого были на выданье дочки, и остановилась на своей школьной подруге, которая к этому времени жила в Осиповичах.

— Гриша, — сказала мне мама, — а что если тебя познакомить с Сониной дочкой? Я её как-то видела, ашэйне мэйдале! И специаль-

ность у неё хорошая, она в этом году поступила в Могилёве, в технологический на общественное питание: всегда будешь с блинцами, как говорила наша бабушка! Ну, как ты на это смотришь?

— Никак, — честно признался я, вложив в это слово полное отрицание встечи.

— Никак — это значит не против, — поняла по-своему мои слова мама и сказала так, как будто всё это дело зависело только от неё. — Я поговорю с её дедушкой, и потом ты подъедешь на выходные к ним в Осиповичи, это же рядом с Минском, и познакомитесь. Что ты теряешь?

— Ничего, — ответил я, в душе надеясь, что ничего из этого знакомства не получится.

И я вам скажу, так оно и вышло: ничего не получилось из этого знакомства. Но оно увело из-под ног моих палубу, повернуло мою судьбу из зюйд-веста на норд-вест. И все, потому что я влюбился в Любу, так звали эту девочку, а она в меня нет. Влюбился с первого взгляда, неожиданно для себя и потом долго и мучительно избавлялся от этой любви. Писал ей письма, она не отвечала, звонил ей, телефон брали её мама или брат и говорили всегда одинаково, что Любочки нет дома.

А потом её дедушка Моня — Анэмес, как его звали в Краснополье за абсолютную искренность, сказал моей маме:

— Они не хотят. Соня говорит, что у вашего Гриши какой — то болезненный вид. Когда он у них был, он почти ничего не ел и не пил и, как говорит моя Соня, подуешь на него, и он упадёт. А я вам скажу, честно, мне ваш сын нравится, и я им сказал, попробуйте, найдите лучшего бохера! Но они разве меня слушают?

Когда мне мама рассказала про этот разговор, я очень расстроился, долго переживал и в конце концов, как последний дурак, решил доказать ИМ, что я и не слабый, и не больной... Маме я ничего не сказал про свои глупые замыслы и сейчас я виню себя за это, ибо она остановила бы мой детский порыв, но тогда идея охватила меня, и я больше ни о чём не думал. Только вперед, как говорил капитан Гаттерас. И вы знаете, какой способ я избрал для доказательства? Как мне сказал Айра, старый индеец — чиппевайи, я из древесных людей, неся тепло другому, они сгорают сами.

— Риша, — говорил он мне, — с тобою хорошо, но поверь старому Айре, глаза которого видели многое и уши которого слышали не меньше, ты последний из этого племени, в жизни никому ничего не докажешь, если будешь всё время всё доказывать на себе. Будь немножко другим.

Но я не могу быть другим. Когда я был у Любы, её брат гордо рассказывал, как ему удалось отвертеться от армии.

— Что мы только не делали, — говорила его мама, — но теперь, слава Богу, всё позади. Наш Наумчик такой слабый!

Науму позволено было быть слабым, а мне нет. И поэтому доказательством своей силы я выбрал армию. Я не пошёл сдавать летнюю сессию, сам пошёл в военкомат, хотя до призыва мог ждать до осени, напросился в подводники, и ушёл на дно... Попал на атомную подлодку и почти на год ушёл в плавание... Первый раз в жизни мама осталась на такой большой срок без меня, и даже без вестей от меня, и она не перенесла всего этого и умерла, не дождавшись моего возвращения. Как рассказывали мне соседи, она таяла на глазах и в последние дни была похожа на скелет. Всё время ходила в военкомат и спрашивала обо мне.

Когда я получил первый отпуск и поехал в Краснополье, там меня уже никто не ждал. Я долго стоял у маминой могилы и просил у неё прощения. Я знаю, если бы она была жива, она простила бы меня, но теперь мне никогда не получить этого прощения, и эта моя вина будет со мной до последних моих дней... Лишь одно есть у меня оправдание — то, что я стал моряком, как хотел мой отец.

Мой отпуск был длиною всего в неделю, но я успел поставить маме памятник и даже остались сутки, что бы заехать в Осиповичи: я не надеялся ни на что, я не получил ни одного письма от Любы за два года службы, но мне очень хотелось увидеть её. Я скажу вам честно, в мой первый армейский год я часто видел во сне Любу и никогда не видел маму. В Могилеве я взял билет на Осиповичи и, когда оставалась до отъезда буквально несколько минут, столкнулся на вокзале с любиным дядям, бывшим прокурором, и узнал от него, что Люба вышла замуж, уже полгода назад. И ещё он мне сказал, что читал мои письма к ней.

— Софа была у нас перед свадьбой, выбирали наряды, и Любочка нам их читала. Гриша, ты настоящий талант! Так писать может только писатель, я пишу здесь в газету кое-что из юриспруденции и знаю, что такое хорошее слово, — сказал он и добавил, похлопав меня по плечу, — а Наумчик сказал, что меняет в твоих письмах имя и шлёт своей Белке и та говорит, что он Пушкин! Эту Белку, как и Любочке мужа, нашла им моя Клара. Она тут на старости лет стала бесплатной свахой. Если хочешь, она и тебя познакомит. Ну, как?

Я ему ничего не ответил. В Осиповичи я, конечно, в тот день не поехал, полдня походил по Могилёву и ночным московским уехал назад, в Мурманск. А Люба не ушла с моих снов, только сны стали похожи на фантазии Эдгара По: сдвигались под давлением воды стены кубрика, взрывался реактор корабля, хищные акулы дырявили бок лодки и среди этого кошмара, спокойно и безмятежно гуляла Люба, как будто не замечала этого. И я кричал, пытаюсь докричаться до неё, и просыпался в холодном поту. Я во сне пытался спасти её...

А потом мы ушли снова в плавание, и сон стал явью: забарахлил реактор, а всплыть мы не имели право, вверх были чужие воды, а до нейтральных было далеко. Решили произвести ремонт реактора на месте. И попросили добровольцев сделать шаг вперед, как

пишется в военных книжках. И я сделал этот шаг. Не потому что я герой, а потому что мне не хотелось жить: меня никто не ждал на берегу... И ещё потому, что я был единственный еврей на лодке и я не мог позволить, что бы еврея посчитали трусом. Я помню, как называл «Воякой из Ташкента» наш пьяница-сосед безногого партизана Хаима, которому дали первую в поселке трёхколёсную машину — инвалидку. Потом все инвалиды получили по «Москвичу», а Хаим так и остался с трехколёской... Скажу вам по правде, я не знаю, какая из этих двух причин перевешивала тогда. Сейчас я думаю, что первая.

— Гришка, — сказал мне сосед по кубрику Валька-филолог, — ты же один в роду остался. Подумай.

— Подумал, — сказал я и добавил, — может, встречу с отцом...

А потом была долгая дорога до базы... Маленький северный порт, потом Мурманск, потом Ленинград... Я ничего не помню про эту дорогу. Ничего. Пришел я в себя в госпитале в Ленинграде. И первое лицо, которое я увидел не сквозь пелену, было лицо хирурга Ивана Доминикавича, двойного тезки Янки Купалы

— Я мужык — беларус, — пан сахі и касы, цёмны сам, белы вус, пядзі дзве валасы, — первое, что я услышал, ещё не раскрыв глаза, ещё не придя в себя после операции, а потом, я увидел доброе морщинистое лицо, украшенное белыми роскошными усами. И увидел по-отцовски добрую улыбку на этом лице и услышал, — нечага, земляк, валяцца, трэба з хваробай змагацца!

Родом Иван Доминикавич был из деревни под Молодечно, после войны все время жил в России, но певучий белорусский говор остался с ним. Я вам скажу, если бы не он, я бы, наверное, сейчас не разговаривал с вами. Я был совсем плох и телом, и душой. Почти, как у Чехова... Только с минусом.

И он понял моё состояние.

— Хлопча, — сказал он по-белорусски, — так нельга! Ты ещё молодой — жить и жить надо! Выкладывай, что на душе!

И я рассказал ему и про отца, и про маму, и про Любу... И почему-то, про Хаима-партизана...

— Жизнь, парень, не простая штука, — сказал он, посерьезнев, — в ней всякого дерма хватает. Мои родители были партизанами, и их выдал немцам племянник... Он и сейчас в нашей вёске живет. Говорят, смотрит за могилой моих родителей... Когда я приезжаю, зовет меня в гости..., — он мотнул головой, как лошадь, отгоняя назойливого оводня, и резко перешел к другому. — На адной дзеуцы свет клінам не сышоуся!? — он подмигнул мне и добавил, — я тебе прыгажуньку найду, Любку свою и не вспомнишь!

И в моей палате появилась Катя. В рифму получилось. Как будто строчка из детского стихотворения.

Она пришла и принесла большой яблочный пирог.

— Это всё, что я умею, — виновато сказала она. — Но он вкусный. Особенно, с молоком.

Она как-то по-особому уместилась на старой табуретке, стоящей у моей кровати: подтянула под себя невероятно длинные ноги и такой же длинной рукой оперлась на край табуретки, и замерла, поблёскивая влажными глазами. И вся наша палаточная братва тоже замерла, не в силах отвести от неё взгляда. Я даже испугался, что её сглазят, и про себя прошептал мамино заклинание, которому она меня научила в детстве:

— Залц им ин ды эйгун, фефер им ин ноз... Соль им в глаза, перец в нос...

На следующий день Иван Доминикавич, внимательно посмотрев на меня, сказал:

— Помнишь, как у Максима, ціім каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачау, — и, подмигнув мне, добавил. — Теперь ты понимаешь, для чего надо жить?

— Понимаю, — кивнул я.

Она приходила ко мне довольно часто, но пока мне не разрешали вставать, все наши разговоры проходили на глазах у всей палаты, и я её почти ни о чем не спрашивал, в основном слушал, и только иногда глазами я пытался сказать что-то большее. И мне казалось, что её глаза отвечают тем же.

А потом мы стали выходить во двор госпиталя.

И я спросил, боясь своего вопроса:

— Ты еврейка?

— А что, похожа? — спросила она.

— Не знаю, — растерянно сказал я.

— Ой, какой ты смешной, Гриша, — рассмеялась Катя. — Ну, еврейка я, так что?

— Ничего, — сказал я и добавил. — Просто я обещал маме, что женюсь на еврейке.

— Так женись, — сказала она.

— На ком? — спросил я.

— На еврейке, — ответила Катя.

А потом добавила:

— Я — еврейка, но еврейского у меня ничего, кроме записи в паспорте. Может быть, перепутали в метриках. Я попала в детдом прямо из роддома. От меня отказались. Разве такое бывает в еврейской семье?

И я вспомнил про Лильку, с которой я учился в первом классе. Она доучилась до седьмого, потом бросила школу, куда-то уехала, а потом по Краснополю пошла гулять история, что Лилька нагуляла ребенка и отдала его в детдом. Её мама, Сорра-Злата, на каждом углу кричала, что всё это неправда, что всё это придумала её соседка Хаша, потому что её Райка в прыщах, и что все умрут от зависти, когда увидят с каким женихом Лиличка появится в Краснополье. Но в Краснополье Лилька не появилась, а Райка тети Хашы

вышла замуж и на удивление всем Сорра-Злата готовила для этой свадьбы тэйглах, потому что лучше её печь тэйглах в Краснополье никто не мог.

— Всё бывает, — подумал я, но ничего не сказал Кате, промолчал.

И мы заговорили о чём-то другом.

Как-то я её спросил, где она живет.

— На улице Бассейной, — сказала она.

— Где человек рассеянный? — спросил я.

— А кто это такой? — спросила она.

И я прочитал ей стихок Маршака.

Она долго смеялась над приключениями рассеянного человека, а потом честно сказала, что слышит это стихотворение впервые.

А я честно признался, что думал, что такой улицы в Ленинграде нет.

А однажды она сказала:

— А ты знаешь, что сегодня пасха?

— Какая? — спросил я.

— Еврейская, — сказала она.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— А меня угостили мацей, — сказала она и добавила. — Я ее вчера первый раз пробовала.

— Кто угостил? — спросил я.

Она на минуту замолчала, потом сказала:

— Один знакомый, банкир из Квебека. Знаешь, он привёз с собой еду на целую неделю. Говорит, что у нас в Ленинграде не такая еда.

— Не кошерная, — догадался я.

— Да, он, кажется, так сказал, — кивнула она.

— А откуда ты его знаешь? — спросил я.

— Это моей подруги знакомый, — сказала она и добавила: — Она изучает французский язык.

— А у тебя значит английский лорд в знакомых, раз ты изучаешь английский? — пошутил я.

Катя ничего не ответила. Вообще, она сама очень любила задавать вопросы и совершенно не любила отвечать на мои.

Я как-то у неё спросил, откуда её знает Иван Доминикавич.

— А он разве тебе не говорил про это? — удивленно спросила Катя.

— Нет, — честно сказал я.

— И ничего про меня не рассказывал? — спросила она.

— Ничего, — сказал я.

Катя задумчиво посмотрела на меня и сказала:

— Ничего, как говорила наша воспитательница, это пустое место. Вот и я — пустое место! А про пустое место нечего рассказывать.

Пока я не вставал, Катя приходила ко мне едва ли не каждый день, потом стала приходиться два — три раза в неделю, потом, когда мои дела пошли на поправку, она стала приходиться раз в неделю, и когда я ей сказал, что меня где-то через пару недель выпишут, она почему-то посмотрела на меня грустными глазами и тихо сказала:

— Вот и закончился наш роман.

— Почему закончился? — спросил я.

— Всё когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое, — тихо сказала Катя и добавила. — А хорошее всегда заканчивается намного раньше плохого...

И ушла. И две последние недели в госпитале стали казаться мне бесконечными: я каждый день ждал Катю, а она не приходила. И я не выдержал и спросил о ней у Ивана Доминикавича.

Он, посмотрев в мои грустные глаза, сказал:

— Знаешь, Рыгорка, у тебя и у неё разные в жизни дороги...

— Почему? — спросил я.

— Как бы тебе сказать деликатнее, — Иван Доминикавич покрутил ус, что он делал всегда, когда волновался. И сказал, глядя куда-то поверх меня. — Прости меня, что я свел тебя с Катей, но я хотел тебя заставить бороться за жизнь... Ты был совсем плох... Совсем... А в Катю не влюбиться нельзя... Это Богом данное ей! Правда, употреблённое всуе... — он вздохнул и, глядя сквозь меня, сказал, — она — ночная бабочка, или по понятнее — прости, господи! ... Я не виною её за это: кто может быть судьёй блуднице? — он на минуту замолчал, а потом сказал. — Я познакомился с нею на операционном столе: какой-то мерзавец исполосовал её ножом, как бог черепаху, и все думали, что она не выживет. Меня пригласили для консультации, расписаться в безнадежности. А я взял её в наш военный госпиталь, в нарушении всех уставов, и спас... Три операции подряд — я боялся, что не выдержит её сердце... Но выдержала... И её я попросил спасти тебя... А теперь она ушла, потому что знает, что ты не для неё... Мавр сделал свое дело, мавр ушел... Не ищи её...

— Я найду её, — сказал я.

— Матрос, — сказал Иван Доминикавич, — я тебе показал, что новая любовь лечит старую. Иного лекарства нет. Ты еще молодой и встретишь не одну Катю...

— Я найду её, — повторил я. — Даже, если вы мне не скажете, где её искать!

И я её нашёл.

Она удивилась, увидев меня, потом спросила:

— Иван Доминикавич тебе обо мне рассказал?

— Да, — сказал я.

— Я намного хуже... — тихо сказала Катя и добавила. — Он не всё обо мне знает.

— А я не хочу больше ничего знать, — сказал я. — Мы начнём жизнь сначала, с нуля. Как будто до этого у нас ничего не было.

— А можно ли начать жизнь с нуля? — спросила она.

— Можно! — сказал я.

— Прошлое остается с нами, даже если мы этого не хотим, — сказала Катя и грустно добавила. — Как не стирай ношенное платье, оно не станет новым. Я пыталась изменить жизнь, но не смогла... Смогу ли сейчас, не знаю...

— Сможешь, — сказал я и добавил. — Мы сможем!

— Ты после будешь жалеть о сегодняшнем дне, — сказала она и добавила. — И я боюсь этого. Я не хочу этого! Я не хочу принести тебе горе...

— Ты принесёшь мне счастье, — сказал я и дотронулся рукой до её лица. И вытер ладонью слезу. Её.

— Мы уедем, — сказал я.

— Куда? — спросила она.

— Далеко, — сказал я.

А потом она спросила:

— А мне можно взять с собою Пита?

— Кого? — переспросил я.

— Это щенок, — пояснила Катя, — единственный мой друг.

— Друга возьмём, — сказал я.

И мы уехали в Краснополье. Поселились в старом мамином доме. Катя устроилась учительницей английского языка в ближайшей от Краснополья деревне, у неё за плечами были три курса иняза, а я со своими двумя курсами радиотехнического устройства в Доме пионеров вести радиокружок. Как ни удивительно, но Катя быстро втянулась в нашу местечково-деревенскую жизнь, и в отличие от меня, родившегося и выросшего в местечке, лучше меня справлялась и в огороде, и по дому. Даже наша соседка тётя Рива назвала её бэрьей.

— Какой Берия? — спросила меня Катя, которая по-идиш не понимала ни слова.

И я ей объяснил, что так по-еврейски называют умелицу. И она потом при любом моем успехе называла меня «бэрием».

Так она перевела в мужской род это слово.

И может быть, мы спокойно вот так провели бы всю свою жизнь в Краснополье, если бы не началась Америка. Потихоньку евреи стали уезжать, и как ни удивительно, одной из первых уехала моя тетя Голда с чекистом. Кстати, узнав, что я женился, она впервые за все годы, прислала подарок: верблюжье одеяло и пуховый платок. Стали уезжать и краснопольские евреи. Уехала и Любина родня. Когда её дедушка увидел Катю, он специально остановил нас, долго рассматривал её, и сказал:

— Ашейнэ мэйдалэ ду гефинд! Красивую девушку ты нашел! — а потом как-то встретил меня одного и долго рассказывал про Любимого мужа. — Ты думаешь, за кого они отдали Любку? Нашли бохера из Могилева. Моя Соня сказала, что он умеет делать деньги. Ну и что? Большой пориц! Большой барин! Я помню, как Мойша Брагин говорил, мешок с деньгами — это не перина, на нем не совсем удобно спать. А Мойша толк в деньгах знал. И в перинах тоже.

Из этого разговора я понял, что Любин муж Анэмэсу не совсем понравился. Меня это не радовало и не расстраивало: меня это просто не интересовало. У меня была Катя.

Когда стали уезжать краснопольские евреи, я как-то сказал Кате:

— Как они там смогут приспособиться к совсем иной жизни? Мне кажется, что я бы не сумел.

— А я не знаю, может быть и сумела б, — сказала Катя, — я знаю одно, там такие же люди, как и здесь: и добрые, и злые.

Я вам скажу честно, я боялся ехать и радовался, что меня никто туда не зовет, но года через три после того как Голда уехала в Америку, неожиданно пришло от неё письмо (Гришечка, как ты там? У вас, наверное, ни одного еврея не осталось? Кто у меня есть кроме тебя?), а потом через полгода пришел вызов, и я, как и все, махнул на все страхи рукой (Как-никак, не на край света едем, а в Новый свет! — пошутила Катя.) и мы поехали. Втроём: я, Катя и Пит. Пит к этому времени превратился в большую серебристо — пушистую собаку похожую на волка.

— Сибирская лайка с какой-то долей волка, — определил её породу Иван Доминикавич.

Перед отъездом мы заехали к нему. Он очень обрадовался нам. Пробыли мы у него всего одни сутки, на завтра уехали в Москву, у нас рейс на Нью-Йорк был из Шереметьево.

Все эти сутки в основном говорил я, а Иван Доминикавич слушал. Катя тоже молчала. Говорил я про всё, только не про Америку, как будто, мы просто так заехали в гости. И Иван Доминикавич не касался этой темы. А потом я вдруг сказал:

— Не знаю, правильно ли мы делаем, что едем. Завтра улетаем, а я всё думаю...

— Как у нас говорили, рада да рады — и бог дапомачы. Пусть поможет тебе Бог! Он должен помогать добрым людям! — сказал Иван Доминикавич и добавил. — Хочу тебе сказать, что здешняя жизнь не сладкая ягода. А какой она ещё будет, одному Богу известно. А когда здесь плохо, всегда евреи виноваты. А там все-таки Америка...

А на вокзале, когда куда-то на минутку отлучилась Катя, он спросил:

— Ну, как у тебя жизнь с Катей?

— Хорошо, — сказал я и добавил. — Я её люблю!

— Люби! — сказал Иван Доминикавич. — Люби и береги!

А потом в самолете, над Атлантикой, Катя мне сказала, что Иван Доминикавич спрашивал её обо мне.

— Он сказал мне, что бы я тебя берегла! — тихо сказала Катя и прижалась ко мне. — И что бы тебя любила. А я и так тебя люблю и берегу!

— И я тебя, — сказал я...

В Нью-Йорк мы прилетели к вечеру и приблизительно через час пересели на самолет на Чикаго.

— Хорошо, что у тебя родственники в Чикаго, а не в Нью-Йорке, — сказала Катя.

— Почему? — спросил я.

— Почти все ленинградцы в Нью-Йорке, — сказала Катя, — а мне не хочется встречаться с моим прошлым... Я его боюсь...

— Со мной и с Питом тебе никого не надо бояться, — сказал я...

В аэропорту Chicago-O'Hare нас встречал муж тёти Голды Николай Львович, или как его звала моя мама Чекист. Я его раньше никогда не видел, кстати, тетю тоже, но моё представление о нём было совершенно другое, чем то, которое явилось мне в аэропорту. Я представлял Николая Львовича высоким, худым, с орлиным взглядом, чем-то похожим на Дзержинского, а передо мной стоял низенький толстенький еврей в кипе. А тётя Голда оказалась очень похожей на маму.

Сняли они нам квартиру вблизи от своего дома.

— Что бы вам недалеко от нас было, и мы могли когда-нибудь заходить к вам, — пояснила тётя Голда свой выбор. — Коля её вам нашёл: он уже все и всех здесь знает!

А потом дядя Коля целую неделю показывал нам город, а в воскресенье купил нам экскурсию по Мичигану.

В маленький элегантный белоснежный прогулочный катер я влюбился сразу и Катя это заметила.

— Тебе нравится? — спросила она.

— Да, — сказал я и мечтательно добавил, — вот бы устроится сюда матросом.

— А я сейчас спрошу, — сказала Катя. — Может, как раз им нужен матрос.

— Что ты, — сказал я, — такого не бывает.

— Не бывает, — подтвердил дядя Коля.

— Всё бывает, — возразила Катя.

А тетя Голда её поддержала:

— За спрос не бьют в нос! Иди, спроси.

И она пошла.

И как ни удивительно, меня взяли.

Айре, хозяину этого катера, я понравился. И понравился потому, что я служил в русском флоте.

— Русские, хорошо, победа! — сказал он по-русски, а потом по слогам произнёс, знакомые мне слова: — Му-р-ма-нск! Гремящий!

Больше по-русски он ничего не знал. А потом по-английски он рассказал, что во время войны служил в северном караване, который вёз продукты в Россию. Катя переводила. Он долго говорил с нами и из этого разговора я понял, что он знает, что такое русский матрос, и что это очень хороший матрос, и что этот матрос спас индейца из племени чиппевайи, то есть его — Айру! И еще я понял, что он взял меня на работу. В ту минуту это было для меня самое главное.

На первую зарплату Катя устроила маленький пир для нас двоих: она купила мексиканское тако, японские суши, китайского лобстера, итальянскую пиццу и ещё всякой разности, о которой мы никогда не слыхали. И испекла свой любимый яблочный торт.

В этот вечер она сказала:

— Как я счастлива, что ты у меня есть! Что было бы со мной, если бы я не встретила тебя?

— А если бы я не встретил тебя? — спросил я.

— Ты бы нашел другую. И, наверное, лучше меня, — сказала Катя и вздохнув, добавила. — А я лучшего бы не нашла.

— И я не нашел бы лучшую, — сказал я.

— Нашел бы, — возразила мне Катя. — Ты сам не знаешь, какой ты хороший!

В тот вечер я ей сказал:

— Слава Богу, у меня есть работа, так что теперь ты спокойно можешь идти учиться, ты же знаешь английский.

А она ответила:

— Я пойду работать, — и спросила: — Хорошо?

— Плохо, — сказал я.

И тогда она сказала:

— Я не хочу, чтобы весь груз забот свалился на одного тебя. Пойми, я не смогу ничего не делать, когда работаешь ты, — она посмотрела задумчиво на меня и сказала, — но если ты очень хочешь, я буду учиться по вечерам, после работы... Хорошо?

Я ничего не ответил... И Катя пошла работать. Дядя Коля вычитал в газете про агентства по уборке квартир, она пошла туда, и её взяли на работу. А по вечерам она стала учиться в колледже на медсестру.

Зарабатывали мы с Катей не так много, но нам вполне хватало на жизнь. Как говорила Катя, до среднего класса не доросли, до нижнего не опустились, но есть надежда впереди...

— Только на тебя надежда! — шутил я.

— Почему только на меня? — не соглашалась Катя.

— Потому что ты будешь дипломированной медсестрой с окладом тысяч на сорок! — говорил я.

— Может быть, — не возражала Катя и добавляла. — Только раньше твой Айра, так как ты его лучший матрос и лучший друг, оставит тебе в наследство катер, и ты станешь бизнесменом. Идёт?

— Идиот! — смеялся я

И досмеялся...

Айра стал оставлять все чаще катер на меня, стал по несколько месяцев в году уезжать во Флориду и однажды, вернувшийся после очередного месячного уикенда, сказал:

— Знаешь, Гриша, я решил поселиться во Флориде и эту посудину продать. Мне, конечно, хочется, что б она осталась в хороших руках, — он посмотрел на меня, вздохнул и сказал. — Может быть, ты купишь? — и назвал цифру.

Таких денег у меня не было. И он понял это по моим глазам. И сказал:

— Это дело неспешное, Гриша, я полгода ещё здесь побуду. Так что подумай.

Вечером я обо всём рассказал Кате.

— Это же твоя мечта! — обрадовалась Катя.

— Мы столько денег не найдём, — безнадёжно сказал я. — Это пустая мечта.

— Так не говори, — возразила Катя, — я по твоим глазам вижу, что он очень тебе хочется. И ты будешь его иметь! У нас ещё целых полгода впереди! Что-нибудь придумаем. Я найду себе ещё подработку на вечер.

— А колледж? — спросил я.

— Потом, — сказала Катя. — Учеба никуда от меня не убежит. Через год продолжу.

И я не возразил. Я сказал только, что тоже подыщу себе что-нибудь. И, через неделю, подвернулась работа ночного секурите на нашем пирсе. И мы с Питом пошли зарабатывать деньги на катер. Кате так быстро, как мне не повезло с работой, долго ничего не подворачивалась, она очень переживала от этого, и сама себя винила:

— Тебя втянула в это дело, ты день и ночь работаешь, а я лишнего рубля не могу заработать!

Ну, а потом, где-то недели через три, вдруг неожиданно, она сказала, что её берут сиделкой на ночь к старушке-миллионерше. И назвала сумму, которую ей будут, платит. От этой цифры мы с Питом стали на передние лапы, как говорит Катя, если слышит что-то невероятное.

— Вот видишь, — сказала она. — Теперь катер будет твой!

— Наш, — поправил я её и сказал. — И надо тебе было переживать, что нет подработки?! Когда надо, всё само собой отыщется. Это мама моя так всегда говорила.

— Да, — сказала Катя и почему-то грустно добавила, — хоть и говорят, что не в деньгах счастье, но без них не обойтись.

Эти полгода мы почти не виделись друг с другом, только обменивались коротенькими записочками. И при такой жизни, Катя ухитрялась готовить еду и для меня, и для Пита, который был со мной эти полгода круглые сутки.

Голда тоже принимала активное участие в нашей покупке, она обошла всех Колиных родственников, а мишпоха у него была довольно большая, и надолжала нам несколько тысяч. И, в конце концов, через месяца четыре я принёс Айре деньги. Он искренне обрадовался этому:

— Слава Богу, что катер будет у тебя, — сказал он и, как будто говорил о ком-то из родных, добавил. — Я теперь за него буду спокоен.

За неделю мы оформили документы, и я стал владельцем прогулочного катера. В тот же день я уволился со второй работы и принялся доводить катер до ума. Своего. Я перекрасил борта, обновил обшивку, кое-что заменил в салоне и главное — сменил название. Я назвал катер «Катя»...

Когда я сказал об этом Кате, она расплакалась.

— Почему ты плачешь? — спросил её.

— От счастья, — сказала она и почему-то добавила, — если бы ты знал, Гриша, как я боюсь потерять тебя!

— Почему ты меня должна потерять? — удивился я.

— Не знаю, — сказала Катя, — но я сейчас так счастлива, как никогда. А я этого не заслужила!

— Ты говоришь глупости, — сказал я, — но я понимаю — это всё от усталости! Давай, немного отдохнём, забудем про все дела и слетаем на недельку, на Ямайку. Я в детстве мечтал там побывать. Плуем на все дела, всё никогда не переделаешь, и прямо завтра полетим!

— Завтра не могу, — сказала Катя. — Я должна у старушки отработать до конца месяца, я забрала зарплату вперед.

А до конца месяца оставалось ещё целых две недели...

В воскресенье пришёл прощаться со мною Айра: он улетал навсегда во Флориду. Доживать свой век, как сказал он мне. И попросил меня на прощание прокатить его по Мичигану.

— По нашему маршруту? — спросил я.

— Да, — сказал он, но, когда мы прошли шлюзы, он попросил взять правее и где-то минуты через две попросил остановить катер.

— Риша, — сказал он, — пожалуйста, запомни это место. Здесь покоятся души моих предков.

— Души? — переспросил я.

— Да, сказал Айра, — души! А их самих здесь нет. Это место, с которого можно начать жизнь во второй раз, если она не удалась в первый. Так говорили старики нашего племени. И здесь покончили со старой жизнью и начали новую и мой прадед, и мой дед, и мой отец, — Айра вздохнул, вытер, выступивший на лице пот, и сказал, — а я знаю, что, как бы я не изменял свою жизнь, в ней всё равно будет ВОЙНА! Это не зависит от меня! И я не хочу её второй раз переживать! Не хочу! Я сыт ей по горло за один раз! И поэтому поеду спокойно умирать во Флориду, в Дайтона-Бич. Да простят меня мои предки!

Потом склонился над водой и долго что-то бормотал, отрешенно глядя на темную ночную поверхность озера. А потом сказал:

— А теперь поехали по нашему маршруту. Я попрощался с душами моих предков, а теперь попрощаюсь с Мичиганом.

На обратном пути неожиданно выпорхнул из-под носа катера дикий гусь. Он резко, как будто выпущенная из лука индейская стрела, пошёл вверх.

— Чья-то душа начала новую жизнь, — сказал Айра, задумчиво глядя вслед исчезнувшей в ночном небе птице, и вздохнув, добавил, — что ждёт её в новой жизни?

Мы долго кружили по озеру... Когда вернулись к пирсу, было уже далеко за полночь.

— По домам? — спросил я.

— Нет, — сказал Айра, — я хочу на прощание с тобой выпить немножко вина и много водки, как мне говорил русский капитан в Мурманске. Поедем в ночной бар. Возьмём твою Катю и устроим маленький праздник.

— Она работает, — сказал я.

— Тогда мы можем поехать в стриптиз — бар, — сказал Айра и подмигнул мне. — Ты когда-нибудь видел такое?

— Нет, — сказал я.

— Поедем в абстэйт, — сказал Айра, — там открылся бар с русскими девушками, — он порылся в кармане, вынул флаерс и подал его мне, — вот адрес, поехали. Вспомним Россию. Мой сосед там был. Говорил, рашен гёрл-окей!

Мне не хотелось ехать, но я не мог отказать Айре, и мы поехали. Мы долго плутали по хайвэю, ища нужный экзит, и где-то только через час нашли этот проклятый бар. Я запарковал машину недалеко от входа, оставил в ней Пита, и мы пошли...

В первую минуту я стал высматривать в полутьме зала свободный столик и только потом, найдя его, повернулся в сторону маленького освещенного пятачка возле стойки бара. На нем танцевала совершенно голая девушка. Мой взгляд почему-то сначала заскользил по её босым ногам, потом пополз вверх, проскочил по ложбинке между её грудями и уткнулся в её глаза... Наши глаза встретились. Это была Катя...

Дальше все поплыло передо мной, как будто я внезапно ослеп. Я слышал её, но не видел.

— Гришенька, — били в моих ушах колокола, — прости меня... Прости... Я больше нигде не могла заработать столько денег... Нигде... А я хотела, чтобы ты смог купить этот катер... Прости...

Я зажал уши руками и выбежал из зала...

Пришел в себя я на хайвэе. Не знаю, с какой скоростью я вёл свой «Корвет», но он летел над дорогой, как самолёт. Копы у нас на дорогах охотятся днём и ночью, но в ту ночь они мне не встретились...

Потом я вывел катер из пирса и повел его к душам айриных предков. Я желал начать жизнь сначала. Всю её повторить по — иному...

Остановил я катер точно в том месте, где мы стояли с Айри. Стал на носу. Посмотрел на сверкающий огнями ночной Чикаго, потом долго смотрел на фотографию Кати, которую всегда носил с собой, потом поцеловал в морду Пита и потом сделал шаг вперед... за

борт... И Пит бросился меня спасать. Я отбивался от него, но он волчьей хваткой вцепился в меня, и мы вместе пошли на дно. Последнее, что я увидел, это диск луны, размытый водой, и, смотрящие на меня глаза Пита.

2

*Когда мои мечты за гранью прошлых дней,
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.*

Афанасий Фет

Мама меня разбудила где-то к обеду.

— Гришенька, — она легонько подергала за одеяло, — пора вставать.

Я открыл глаза и посмотрел на маму, мне показалось, что я её не видел сто лет.

— Ну, как выпускной вечер? — спросила мама.

— Хорошо, — сказал я.

— Вот и стал ты взрослым, — сказала мама и, вздохнув, добавила, — как был бы рад сегодня папа..., — а потом неожиданно сказала: — А что это ты за собачку вчера принёс?

— А где она? — спросил я.

— На диване спит, — сказала мама.

Я вскочил с кровати и выбежал в зал: свернувшись калачиком на диване, спал маленький щенок. И тогда я вспомнил ВСЁ.

— Это Пит, — сказал я маме.

— И кто интересно его тебе дал? — спросила она.

— Никто, — сказал я. — Я его нашёл.

— Значит, он чей-то, — сказала мама.

— Чей-то, — согласился я, — если найдется хозяин. А не найдется, то будет мой. Хорошо?

— Хорошо, — согласилась мама.

И Пит остался у меня. Хозяин на него не нашёлся, несмотря на то, что мама о нём рассказала, чуть ли не каждому в Краснополье...

А потом мы стали с мамой обсуждать, куда мне пойти учиться. Мама хотела, чтобы я поступал в Минский радиотехнический, а я сказал, что хочу в кораблестроительный, в Ленинград.

— Для чего тебе так далеко, — сказала мама. — И радиотехнический — более перспективный.

И ещё она говорила, что еврею в Ленинграде поступить в институт невозможно.

— Почему? — спросил я.

— Так все говорят, — сказала она.

— А я поступлю, — сказал я и добавил, — и папа мечтал, что я буду строить корабли!

— Ты думаешь, он знал, что он мечтал?! — вздохнула мама. — Он хотел, чтобы ты был матросом! Хорошенькая еврейская мечта, от которой мне тогда было плохо!

— Но я же не в матросы иду, а в инженеры, — успокоил я маму.

— А если ты не поступишь, то тебя сразу осенью заберут в армию, — сказала мама. — И что тогда будет?

— Тогда я пойду в матросы, — спокойно сказал я и уверенно добавил, — но я поступлю!

Я так сказал, но в душе не был уверен в этом. Мне просто необходимо было поехать в Ленинград, ибо там должна была быть Катя. И, как ни удивительно и для мамы, и для меня, я поступил в корабелку, а вот Катю я не нашёл... Я слишком мало знал её прошлое, а в моей новой жизни оно, наверное, в чем-то изменилось, и наши пути не пересекались... И тогда я нашел Ивана Доминикавича. Я встретил его утром по дороге в госпиталь. Он меня не знал. И я его не должен был знать. Но я его остановил:

— Извините, меня, — сказал я, — но я хочу вас спросить об одной пациентке.

— Пожалуйста, — сказал он и по привычке, подкрутил пушистый пшеничный ус.

— -Её звали Катя, — сказал я.

— Не знаю такой, — сказал он и добавил: — У меня в основном пациенты мужчины. А женщин за всю мою жизнь оперировал я только трёх. И всех их я помню, — он сочувствующе посмотрел на меня и спросил. — А где она служит?

— Она не военная, — сказал я.

— Значит она не у нас, — сказал он, — гражданских у нас не бывает. И рад помочь да не в мочь, как говорил старец Пафнутий, когда его просили о чуде.

... Я часто стал приходить к госпиталю, надеясь, что, все-таки Катя окажется там, Иван Доминикавич стал даже узнавать меня и приветственно при встрече кивал головой, но Катя за все годы моей учебы в Ленинграде, там так и не появилась...

Однажды на Витебском вокзале меня остановила цыганка:

— Молодой, красивый, — сказала она, — не ищи своё прошлое.

Я удивленно посмотрел на неё и спросил:

— Почему? — и протянул ей все деньги, что лежали у меня в кармане. В тот день я получил стипендию. И я отдал её всю ей.

— Большие деньги даешь, — сказала она, — не стоит мой совет таких денег.

— Бери, — сказал я, — только скажи, почему я не должен искать свое прошлое?

— Потому что, океан между твоим прошлым и будущим, — сказала цыганка и добавила. — А в одиночку ты его переплыть не сможешь! Забудь прошлое, женись и живи! Если прошлому надо, оно найдет тебя само!

Больше она ничего не сказала, и я понял, что Катю мне не найти.

После института меня направили в Могилев, на маленький судоремонтный заводик. Я мог, конечно, выбрать что-то другое, но мне хотелось поближе к дому и, когда я увидел, что в распределении есть Могилёв, я сразу же выбрал его. Каждый выходной я стал приезжать в Краснополье, и для мамы большего счастья не надо было. И Питу — это тоже было по душе. Каждую пятницу он с мамой встречал меня на автовокзале и радостно прыгал на меня стараясь лизнуть в щеку. А потом дома он ложился на половичок возле грубки, я садился рядом на маленькую скамеечку, просматривал газеты, что мама собрала за неделю, а Пит смотрел на меня. Зимой я растапливал в грубке дрова, и мы смотрели на огонь.

— Это ваше любимое место, — говорила мама. — Вы так можете, молча просидеть весь вечер. О чем вы интересно думаете?

«О Кате», — мысленно отвечал я ей, а вслух говорил совершенно иное.

И тогда мама начинала разговор о моей женитьбе.

— Гриша, — говорила она, — уже все твои друзья давно имеют детей, а ты всё никак не можешь жениться. Я с этой мыслью ложусь спать и встаю. А тебя я вижу, это не волнует.

— Волнует, — честно говорил я, — но ты же видишь, никого нет поблизости.

Волнуясь обо мне, мама написала даже письмо тете Голде, с которой раньше не имела ни каких дел. И, что самое удивительное, тетя Голда активно принялась за поиски невесты для меня, и мы стали получать от неё письма с фотографиями саратовских красавиц. Маме они все нравились, а мне ни одна. Мама уговаривала меня в отпуск съездить к тете Голде, но я отказывался, и, в конце концов, тетя Голда прислала нам, а мэйдэлэ в гости. Мама всем в Краснополье объявила, что приезжает племянница. Племянница, в первый же день попросила меня купить ей сигареты, и я, зная свою маму, честно ей сказал, что маме это не понравится.

— Неужели она у тебя такая местечковая? — сказала она и презрительно фыркнула.

И я купил ей пачку «Космоса».

В тот же день мама позвала меня в огород и сказала:

— Я знала, что Голда ничего хорошего не найдет!

Племянница погостила у нас неделю, порадовалась ассортименту нашего сельского универсама, потом мы нагрузили её подарками, и она уехала в свой Саратов, вычеркнув из маминых кондуитов тетин адрес навсегда.

Но отказавшись от Голдиной помощи, мама не успокоилась и поиски невесты не прекращались ни на день. Но все было безрезультатно и мама в сердцах начала каяться, что отказалась от «дамы с папирсой», как она называла саратовскую невесту.

— Лучше она, чем оставаться на старости одному. Кто тебе подаст стакан воды, когда меня не будет! — вздыхала она, глядя печальными глазами на меня. — Посмотри на Иосика тети Рахили: всё выбирал, а теперь на кривой Хайке женился бы, так она его не хочет! А годы на месте не стоят. Ты сейчас смеешься, что такое мама говорит, а тебе, слава Богу, уже за тридцать! Сколько ещё можно ждать?

Всеми этими разговорами мама довела меня до такого состояния, что я, как Рахилин Иосиф, был готов жениться на первой встречной, только бы успокоилась мама.

И тут появилась Люба. Мама не дождалась моего приезда в выходные и позвонила среди недели мне на работу.

— Что такое? — перепугался я.

— Гришенька, — радостно сообщила мне мама, — не волнуйся. Всё хорошо: вчера у меня была Соня, дочка Мони и Хаи, что живут в Садовом переулке. Я с ней в школе училась до войны, сейчас она живет в Осиповичах. И знаешь, почему она зашла ко мне?

— Не знаю, — сказал я, инстинктивно догадываясь, о чем идет речь.

— Она хочет тебя познакомить со своей дочкой! Представляешь, она тоже живет в Могилеве! И работает заведующей производством в столовой. Она мне показывала её фотографию. Ашэйнэ мэйдалэ! Я тебе хочу сказать, что если она в свою маму, то ты не пропадешь!

— Мама, — сказал я, — ты так говоришь, как будто все решено. А если я ей не понравлюсь?

— Понравишься, понравишься, — сказала мама. — Я буду Бога просить и папа, там, на небе, за тебя слово замолвит!

Я, помня свою прежнюю жизнь, про себя подумал, что ни чего из этих маминых желаний не получится. Но моя новая жизнь была совсем иной, совершенно не похожая на первую. И в ней я понравился и Любиной маме, и Любиному папе, и Любиному брату... И Люба понравилась мне.

Свадьбу сыграли в Осиповичах, в офицерской столовой, на ней был весь высший свет городка и даже с Краснополя приехал второй секретарь райкома, который с Любиным папой учился в партшколе. Самой счастливой на свадьбе, наверное, была моя мама, она сидела возле меня и не переставала мне говорить:

— Гришинька, ты видишь, какая у тебя свадьба? Я о такой свадьбе даже не мечтала. Всё Краснополье только о тебе и говорит.

И я грешным делом подумал, что в новой жизни я буду счастливее, чем в старой. Но я ошибался...

Когда гости разошлись, и мы с Любой остались одни, она вдруг сказала:

— А ты знаешь, Гриша, почему мы спешили со свадьбой?

— Не знаю, — сказал я, удивленный её вопросом.

Люба отвернулась от меня к окну и, не оборачиваясь, тихо сказала:

— У меня будет ребенок.

— Чей? — не знаю, почему спросил я.

— А тебе не всё равно, — сказала она.

— Всё равно, — сказал я и спросил: — А мама твоя знает об этом?

— Да, — сказала она и добавила, — я думала избавиться от ребенка, но было уже поздно, и врач сказал, что это опасно для меня. И тогда мама нашла тебя... Папу собираются перевести в обком, и мама сказала, что я могу испортить папину карьеру...

— Почему ты мне об этом не сказала раньше? — спросил я.

— А ты бы тогда женился на мне? — спросила она и, не дожидаясь моего ответа, сказала. — Мама бы тебе не разрешила, она у тебя слишком правильная! Я права?

Я ничего не ответил и тогда, повернувшись, наконец, ко мне она сказала:

— Тебя выбрала, не только моя мама, но и я. Ты мне понравился! — она на минуту замолчала, потом, неожиданно для меня, опустилась передо мной на колени и сказала. — Прости!

— Ты что? — сказал я, не зная, что сказать.

— Ты можешь со мной развестись, — сказала она и добавила, — только, пожалуйста, после того как родится ребенок. У него должны быть мама и папа... И знай, что я люблю тебя!

Потом она сказала:

— Мне уйти?

— Оставайся, — сказал я.

Я не мог сказать иначе...

Любиного папу, где-то через пару месяцев перевели в Могилев, и мы получили две квартиры рядом, в центре, недалеко от кинотеатра «Кастрычник». Потом у Любы родилась девочка. Моя мама очень переживала, что у нас шестимесячный ребенок, и Любиная мама её успокаивала, уверяя, что все будет хорошо.

— За крошкой смотрят врачи обкомовской больницы, — успокаивала она маму, — не волнуйся, Цылечка, Галочка наберет вес за пару недель.

Девочку назвали Галей в честь моего папы.

Когда мама приехала к нам в гости, ей очень понравилась девочка, и она сказала, что Галочка копия я в детстве. И мне девочка пришлось по сердцу. Маленькая, она была очень беспокойная и почти весь первый год, я ночи проводил у её кровати, давая Любе отдохнуть за день. И первое слово, которое она сказала, было:

— Па-па!

Ей так понравилось это слово, что она его повторяла без остановки целый месяц и Люба даже обижалась на неё, что она и её называет папой. Но потом, наконец, она сказала:

— Ма-ма, — и радостная Люба сообщила мне об этом, тут же, по-телефону на работу.

Мы с Любой никогда не вспоминали о нашем послесвадебном разговоре, и жизнь наша постепенно обретала солидность и стабильность. С началом перестройки Любин брат Наум ушел в кооперативы и потянул за собой меня. Я крутился у него в помощниках: мы открывали какие-то магазины, станции по ремонту машин, что-то покупали, что-то продавали. Вместе с нами во всех этих делах крутился и Большой Человек-Костя, как его называл Наум, сын шефа Любиного папаша. У него были деньги и связи и благодаря нему наши дела шли совсем не плохо... Но как говорила когда-то Катя, хорошее заканчивается быстрее, чем плохое... Это случилось перед Новым годом, где-то за неделю. В этот день мы собирались на день рождения к Науму, и я пришел домой немного раньше Любы. Я только начал мыться под душем, как зазвенел телефон: я выключил воду и тут услышал щелчок в дверях: пришла Люба. Она прямо с порога схватила телефон, и я невольно услышал её разговор:

— Как приехал? У него же командировка?! Он должен был приехать на следующей неделе!?

Я не знаю, что ей ответили. Но потом я услышал:

— Мама, ты же знаешь, что он обязательно придет к Науму! Он же его босс!

Я понял, что разговор идет о нашем Большом Человеке. Он был по делам в Питере. Я не хотел прислушиваться, но душ всё не работал, а Любин голос не умолкал.

— Ты ещё спрашиваешь почему? Потому что мы любим друг друга! Ты можешь это понять? — я подумал в эту минуту, что это она говорит обо мне, но через мгновение, я понял, что эти слова относятся не ко мне. — Ну и что, что у него жена? Он хотел тогда развестись, но вы же подняли трамтарам! И мне пришлось остаться с ребенком и Гришей! — она замолчала, видно слушая мамыны слова, потом сказала. — Я знаю, что его отец не хотел, но он же хотел... Кстати, я с ним встречаюсь и сейчас ... Он меня любит, и я его люблю!

Я резко повернул кран, и холодная обжигающая вода низвернулась на меня, и дрожь пробежала по моему телу, как у птицы, попавшей в силек. Люба услышала шум воды и подбежала к дверям ванной:

— Гриша, ты уже дома? — растерянно спросила она.

— Да, — ответил я.

— Ты слышал, как звонила мама? — испуганно спросила она.

— Нет, — успокоил я её, — из-за воды здесь ничего не слышно.

Она на какую-то минуту замолчала, приходя в себя, потом сказала:

— Ты знаешь, я что-то себя плохо чувствую, наверно, подхватила грипп, — и, помолчав, добавила, — я маме сказала, что к Науму мы не пойдём, там будут дети, не хочу всех заразить..., — потом сказала. — Ты если хочешь, можешь идти.

Я не пошел, и мы остались дома. Люба легла пораньше спать, а я пошел читать Галинке сказки.

В тот день Галинка мне сказала:

— Бабушка меня спросила, кого я люблю больше: папу или маму?

— И что? — сказал я.

— Я сказала, что обоих люблю одинаково, — сказала Галка.

— Правильно, — сказал я.

Галчонок хитро посмотрела на меня и сказала:

— А я тебя люблю немножко больше.

— Почему? — спросил я.

— Потому что бабушка сказала, что я должна маму любить немножко больше, — сказала Галка. — Значит, и тебя я должна любить немножко больше! Правильно?

— Правильно, — согласился я.

Потом мы ещё читали сказки, а потом она уснула, а я не мог уснуть до утра. ... В первой моей жизни я много сделал необдуманных поступков, они не принесли мне радости, только беды всем, и мне не хотелось опять идти той же дорогой... Я почти до самого утра сидел в кресле, в зале, и думал, что мне делать: молчать и жить дальше, как будто я не слышал этого разговора, и тогда будет спокойна моя мама, и Галчонок будет счастлив, или все поставить вверх ногами, уйти от Любы, и тогда я могу потерять маму, она навряд ли перенесет такую историю, и Галчонок навряд ли будет счастлив. Я не находил ответа... И ответ пришел сам собой: утром позвонила наша соседка из Краснополя и сказала, что ночью маме было плохо и её на скорой отвезли в больницу. И мне уже было не до разговоров с Любой...

Люба, узнав, что мама заболела, сразу засобиралась в Краснополе.

— Мы привезём её сюда, и папа устроит её в обкомовскую больницу, — сказала она.

И так все сделала.

Мама пробыла в больнице недели две, слава Богу, все обошлось и её выписали. Люба в эти недели делала все возможное для моей мамы: каждый день была у неё в больнице, разговаривала с докторами, доставала какие-то лекарства, и мама просто начала молиться на неё:

— Гришенька, — сказала она мне, когда уезжала в Краснополе, — какая Любочка хорошая! Я вижу, какие невестки у других, и сама себе не могу поверить, что у нас такая мэйдалэ! Я всю жизнь мечтала о такой невестке и, слава Богу, я её получила.

Когда мы проводили её и шли домой с автовокзала, Люба сказала, что врач ей сказал, что маму нельзя беспокоить, волнения для неё опасны. И я понял, что Люба ничего не хочет менять в нашей жизни: всё должно оставаться по — старому... И я вычеркнул из своей памяти тот злополучный вечер. Мне не хотелось о нем напоминать ни Любе, ни себе. Никому...

Только после того вечера из Наумового кооператива я ушел, объяснив, что мне это дело не понутру, и вернулся на свой судоремонтный. Я не мог каждый день смотреть в прищуренные глаза Большого Человека. Люба была не против моего решения, и лишь Наум сказал:

— Рожденный ползать летать не может! Ох, дурак ты, Гришка, и не просто дурак, а большой дурак!

Это я знал и без него. Но что бы делали на свете умные, если бы не было дураков?

И пошла моя обычная дурацкая жизнь. А потом началась Америка. Первым уехал Наум, у его жены оказались родственники в Нью-Йорке. Он открыл там какой-то бизнес совместно с Большим Человеком, который к моей радости перебрался из Могилева куда-то под Санкт-Петербург, как стали звать Ленинград. Я спросил как-то у Любы, что это за бизнес, и она неопределенно махнула рукой:

— Что-то в сфере обслуживания... Какое-то туристическое агентство вроде...

И я больше не спрашивал.

А потом Наум вызвал нас.

— Как только мы приедем, то вызовем твою маму, — пообещала Люба.

Вместе со своей мамой она поехала в Краснополье и так уговорила мою маму, что та стала просто сиять от счастья, что мы будем жить в Америке:

— Если бы папа мог знать, что Гришенька будет американцем, — объясняла моя мама свою радость всем, — то он был бы самым счастливым человеком на свете! Я помню, как он говорил об Америке: «Цыля, ты знаешь, что это за страна? Там молоко пьют, как воду, а пиво, как у нас молоко! А шоколад кушают вместо хлеба!»

Каждый день она стала звонить нам и спрашивать, скоро ли мы едим. А мы все не ехали. И, в конце концов, когда она уже на наш отъезд махнула рукой, — видно ихний Наумчик что-то не так сделал! — мы поехали. За неделю до отъезда нам позвонил Наум и сказал, что он переехал в Чикаго, и мы тоже там будем жить. Когда Люба передала мне этот разговор, сказав, что Чикаго ей даже больше нравится, так как Нью-Йорк — это большое местечко, как ей говорили, я неожиданно для самого себя сказал:

— От судьбы не уйдешь! — и Люба удивленно посмотрела на меня: какая ещё судьба связывает меня с Чикаго.

Мама, уверенная в своём скором отъезде, хотела с нами переправить кое-что из своих вещей, что бы потом ей было легче выбираться, но мы сами не отправляли багаж и взяли только самое необходимое на первый случай.

— Мама, — сказала ей Люба, — ничего с собой не берите, там, в Америке это все копейки, так нам написал Наум.

Я знал, что не все там копейки, но промолчал, ибо я знал главное, что вся жизнь человеческая — копейка!

Где-то за месяц до отъезда мама вспомнила про Пита:

— Сыночек, — сказала она, — собаку ты должен забрать с собой, потому что я не смогу ничего сделать с ней, когда мне надо будет ехать. А оставить её здесь нам некому.

После моей женитьбы, Пит оставался у мамы, так как Люба категорически была против собаки. И когда я ей сказал, что я беру, Пита с собой, она подняла шум, но как ни странно, её мама поддержала меня, сказав, что если мы в Америке купим дом, то там без собаки нельзя.

— Ты же читала, что Наум приобрел за три тысячи колли, — сказала она, полная уверенности, что в Америке у нас будет свой дом.

И Пит полетел с нами...

У Наума был дом под Чикаго, в Буффало Гроу, родители остались пока жить с ним, а нам он снял квартиру в самом Чикаго. Здесь, наконец, я узнал какой у Наума бизнес. Он, подмигнув мне, сказал:

— Экскорт-сервис мистера НИКа! Ник — это я и Костя!

— Что это такое? — поинтересовалась теща.

— Русские красавицы для американских джентльменов, как говорит Большой Человек, — хмыкнул Наум.

— И здесь он Большой Человек? — удивился Любин папа.

— Кто умел делать там деньги, тот и здесь не ходит в дураках, — сказал Наум и добавил. — Кстати, папа, Костя уже получил здесь грин-карту и купил недалеко от меня трехэтажку. Но пока здесь не приземлился и мотается по делам нашей фирмы между Питером и Чикаго. Где-то месяца через два должен прибыть с товаром.

Я посмотрел на Любу и теща, перехватив мой взгляд, мгновенно остановила Наума:

— А что ты подыскал для детей?

— Все о'кей, — сказал Наум и, хитро поглядев на меня, добавил, — для Гриши у меня большой сюрприз! Я купил ему катер: будет возить туристов по Мичигану.

Я вздрогнул. И неожиданно для самого себя спросил:

— А кто его прежний хозяин?

— А тебе не все равно, — сказала Люба.

— Ему не все равно, — сказал Наум. — Ты же знаешь, Любочка, у твоего мужа к любой проблеме свой подход! Хорошо, Гриша, я тебе отвечу: хозяином этой посуды был старый индеец, который на старости лет решил переехать во Флориду! Ты доволен моим ответом?

— Да, — сказал я.

— Скажи спасибо, — толкнула меня под бок Люба.

— Спасибо, Наум, — сказал я.

— Кстати, этот катер я приобрел для моего бизнеса, — сказал Наум и добавил, — мои клиенты, твой сервис! Ты не против?

— Что ты говоришь?! — опередила меня Люба, — как это он МОЖЕТ быть против!

— Твой Гриша все может, — сказал Наум.

Он ошибался, я ничего не мог ни в той жизни, ни в этой... Когда я дома объяснил Любе что экскорт-сервис обыкновенный бардак, она сказала, что это ни мое дело, и что бы я не думал здесь устраивать концерты, как в Могилеве:

— Тебе нашли работу, и ещё какую, — сказала она, — так что работай и молчи! — и добавила, — и собаку, пожалуйста, возьми с собой на катер: у меня от неё аллергия! Пусть она там живет!

И мы с Питом перебрались на катер: Пит на постоянно, а я почти на двенадцать часов в сутки. Днем я возил экскурсии, а вечером Наум привозил своих клиентов и устраивал им, как он говорил, белые русские ночи...

Зарабатывал я неплохо, и Люба тоже приносила в дом хорошие деньги: Наум с Костей приобрели маленький ресторанчик, и Люба стала в нем менеджером, и через год мы стали подыскивать кондоминимум. Тесть с тещей взяли под свою опеку раздевалку и купили кооператив раньше нас.

На маму документы мы оформили сразу после приезда, но ей в посольстве не дали беженца, и она наотрез отказалась ехать по паролю:

— Я не хочу садиться на вашу шею, — сказала она, и все мои телефонные убеждения не действовали на неё.

И тогда я решил за ней поехать. И опоздал всего на два дня: она умерла от третьего инфаркта, про два первых она нам не говорила... Я похоронил её в Краснополье рядом с папой, поставил памятник и уехал ...

А потом была светлая лунная ночь над Мичиганом. Я стоял как всегда на капитанском мостике, у штурвала, а старый Пит лежал у моих ног и смотрел на луну. И в это время раздался крик с верхней палубы. Во время ночных поездок с Наумом, я никогда не покидал капитанскую рубку. Но крик был о помощи и первым на него откликнулся Пит. Сначала вздыбилась его шерсть, потом он тихо зарычал, потом посмотрел на меня, ожидая приказа, и не получив его, метнулся к бортику, отделявшему мою рубку от палубы, перескочил через него и начал карабкаться на смотровую площадку. Здесь он поводом запутался в перилах, и я его догнал. Как только я распутал поводок, он потащил меня дальше наверх, туда, откуда раздавался крик. Мы выскочили на смотровую палубу и... увидели Катю! Она лежала, свернувшись клубком у ног Наума и он, с перекошенным от ненависти лицом, с размаха бил её ногами... Пит зарычал, он обернулся и, увидев меня, процедил сквозь зубы:

— Отказала клиенту! Недотрогу решила сыграть! Как будто в Америку мы её привезли за красивые глазки!

Пит рванулся, и я отпустил ремешок... И в ту же секунду, когда Пит, вцепился в ногу Наума, Катя вскочила, метнулась к борту и бросилась в воду впереди катера. Я в доли секунды представил себе этот прыжок, представил, как движущийся катер тянет её под себя и бросает на работающий винт. И я прыгнул вслед... Я настиг её почти у винта, оттолкнул её от себя и не в силах сопротивляться тяге, пошел на винт сам, закрывая её собой...

Очнулся я в госпитале на четвертые сутки, меня собрали почти, что из ничего. Но, как видите, мистер Баскин, я живой и даже вожу опять катер. Катю не нашли, и Пита тоже. Он, оказывается, бросился вслед за мной... или за Катей.

Вчера из Флориды приезжал бывший хозяин катера старый индеец Айра. Он попросил меня прокатить его по Мичигану и по дороге мы остановились, как я и думал, у обители его предков. Я все время пытался сам вспомнить это место, но не мог. И вот сейчас опять судьба предложила мне начать новую жизнь. Теперь я помню это место, но я не знаю, что мне делать? Неужели всегда мне суждено находить и терять Катю? И я никогда не смогу с ней остаться навсегда? Неужели в своей жизни мы не авторы, а только актеры.

3

Учора — не маё: яно у чужых руках,
І сёння-не маё: мільгне і стане учора,
А заўтра, што здалёк крыляе, нібы птах, —
Маё. Мне з ім дзяліць і радасці і гора.

Янка Сипаков

— Эй, — маленькая босоногая голубоглазая девочка со щенком на руках стояла возле Гриши и не отводила взгляда от бутерброда, который исчезал в гришином рту.

— Что тебе надо? — спросил Гриша.

— Я кушать хочу, — сказала девочка.

— На, — сказал Гриша и протянул девочке остаток бутерброда.

Она разломала его на два маленьких кусочка, один дала щенку, а второй мгновенно проглотила сама и, поглядев с надеждой на Гришу, сказала:

— Я ещё кушать хочу!

— Попроси у своей мамы, — сказал Гриша.

— У меня нет мамы, — сказала девочка. — Я детдомовская.

— Тогда попроси у детдома, — сказал Гриша.

— А я убежала из детдома, — сказала девочка и неожиданно спросила: — А ты жид?

Гриша в свои десять лет знал это слово. Он насупился и сказал:

— Я не жид, я — советский!

— А мама твоя жидовка? — спросила девочка.

— Она тоже советская, — сказал Гриша.

— А я жидовка, — сказала девочка. — Это мне Валька сказала, мы с ней вместе из детдома убежали. Она на товарный поезд села и в Москву поехала, там у неё тетя. А мне она сказала, что её тете жидовка не надо. Я подумала, может, я нужна жидам. Ты спроси у мамы?

— А как тебя звать? — спросил Гриша.

— Катя, — сказала девочка и, показав на щенка, добавила. — А его звать Пит! Он волк. Я его в лесу нашла. Он тоже кушать хочет. Ты спроси у мамы и про Пита. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Гриша.

А в это время далеко от Краснополя, на другой стороне Земли, над озером Мичиган кружили три диких гуся. Они вынырнули из воды почти одновременно. Взметнувшись вверх, сначала не видя друг друга, они, хлопая громко крыльями и что-то крича, фейерверком разошлись в стороны. Потом, оглянувшись, и заметив друг друга, резко развернулись и понеслись навстречу, как влюблённые после долгой разлуки на перроне вокзала. И вместе закружились над озером, почти касаясь крыльями друг друга. Потом, будто большая гусиная стая, вытянулись клином и полетели в сторону океана...

Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /



* * *

Проходит время, и давно не та
Москва, где тридцать лет я прожил,
Но прежних коммуналок теснота
Мне нынешних пентхаусов дороже.

Жаль, огоньки дешёвых сигарет,
Что во дворах курили мы, болтая,
К вечерним окнам добавляя свет,
Пропали, и — при лампах! — темь глухая.

Что, впрочем, о дворах! Ни там ни тут
Ни стука домино, ни голубятен, —
Лишь паркинги, где дворники метут
Сор, оставляя блеск бензинных пятен.

А рядом ввысь уходят этажи,
Где офисы, кафе и рестораны...
Как странно ощущать сей мир чужим,
Однако, одному ль мне это странно?..

* * *

Живя вдали, страны своей лицо я
Эпохи девяностых знаю мало,
Но то, что высветлялось в песнях Цоя,
Сомнений у меня не вызывало.

Бывало, не умел понять толково,
Куда идёт отечество, качаясь,
Лишь убеждался, слушая Талькова, —
Оно в беде, однако, не скончалось!

Под северо-восточным ветром острым,
Сознание надеждами лелея,
Следил, как там развенчивали монстров,
Горгульями смотревших с мавзолея.

Сейчас, увы, ни тех надежд, ни веры, —
Лишь горечь, что нельзя вернуть обратно
Ни в Петушки уехавшего Веню,
Ни рыбаковских мальчиков с Арбата.

* * *

Стихи представить в виде денег? Повод
Для шутки был похож на чепуху,
Но «евтушенок звон» и «хруст твардовок»
Остался почему-то на слуху.

Не помню, от кого я слышал это,
А на реке подметить мог всерьёз,
Как тонет вмиг блестящая монета,
Как царственно плывёт листва с берёз.

* * *

Когда о вирусе, и кроме
Нет тем иных, и дни темны —
Припомни о «Декамероне»,
О Болдине в тисках чумы.

Вдыхая воздух заражённый,
Смотря на сизых голубей,
Представь, как умирал Джорджоне,
Или как Младший Ганс Гольбейн,

Вообрази медвежий угол,
Где инок, истово молясь,
Глядит, как дым черней, чем уголь,
Окрашивает небо в грязь.

Понятно, нынче всё иначе —
Ни тех утех, ни страхов тех,
Однако, может быть, тем паче
Взглянуть назад отнюдь не грех.

Весна, 2020

Анатолий НИКОЛИН

/ Мариуполь /



МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА

повесть

I

У окошка кассы переминалась средних лет женщина в летнем, открывавшем её полные загорелые руки платье, и с плетёной корзиной, покрытой белой холстиной; в корзине что-то шевелилось и тихо, по-кошачьи урчало.

За женщиной высилась тощая фигура человека в белой жокейской кепочке и с брезентовым рюкзаком за спиной, судя по его виду, — рыбака...

Малахов, не спрашивая — и так ясно кто последний, — пристроился за рюкзаком...

Было тихое июльское утро. На больших вокзальных часах стрелки показывали около одиннадцати, и он удивился, как быстро он управился с завтраком, если утреннее сидение в пустом ресторане за шампанским и бутербродами можно назвать завтраком. От ресторанички «Волна» на набережной до морского вокзала неторопливой ходьбы минут десять, вот и получается, прикидывал он, что на всё про всё он потратил сорок минут.

Купив в кассе билет и сунув его в карман светлых летних брюк, он не спеша пошёл в зал ожидания, с любопытством оглядывая непривычно пустые белые стены и огромное панно с видом моря и холмистого берега с охряными квадратиками коттеджей. За коттеджами угадывалась роща пиний, горы без привычной дымки, и Малахов подумал, что местные художники, как всегда, преувеличивают и вместо родных пейзажей живописуют то, что им совершенно неизвестно — Италию или Грецию...

В зал ожидания он забрёл, чтобы купить в дорогу газету. Газетный киоск только что открылся, и киоскёрша, маленькая, чёрненькая женщина, похожая на испуганную мышь, раскладывала на стеклянной витрине вчерашнюю и позавчерашнюю прессу. Свежих газет се-

годня не будет, вспомнил он, потому что сейчас воскресенье, а по воскресеньям фугоны с надписью «Почта» корреспонденцию не развозят. И, поколебавшись, он выбрал вчерашнюю газету «Вести» — самое свежее, что тихим, извиняющимся голосом посоветовала ему киоскёрша.

— «Вести», так «Вести...», — покорно вздохнул он, расплываясь мелочью и выходя в свежее солнечное утро...

Теплоход на другую сторону моря по расписанию отходил минут через десять. Очередь возле кассы, как обычно перед отправлением, увеличилась, и он решил, что не стоит усаживаться в привокзальном скверике в ожидании посадки, её вот-вот обьявят...

Решение отправиться в незнакомый город в сорока милях от родного дома пришло к нему внезапно. Вчера он поссорился с женой, и воскресный день, когда все дома, и жена, и дети, и неприятного молчания вместо привычного общения не избежать, грозил продолжением ссоры.

У жены, немолодой, потрёпанной жизнью и семейными заботами женщины, был тяжёлый характер. После ссор с мужем, случавшихся всё чаще, она не остывала сразу, и семейные размолвки длились иной раз по три-четыре, а то и больше дней. Вчерашняя ссора вышла из-за пустяка. Утром он отправился в ближайшую лавку за свежим хлебом. Но свежий хлеб не завезли, и он купил вчерашний. Раиса разразилась бранью, он резко ей ответил: «Не нравится — не ешь. Ступай, купи свежий...» И хотя он был неправ, и на брюзжание жены нужно было промолчать или повиниться, его, что называется, занесло. Раиса ответила в том же духе, и разразился скандал, когда супруги говорят друг другу много лишнего, а потом об этом жалеют. Примирение из-за тяжёлого и мстительного характера Раисы в ближайшей перспективе не просматривалось, вот он и решил уйти с её глаз долой. «Авось к середине дня остынет, — понадеялся он. — Да и я остыну...»

И внезапно он решил уехать.

С наскока, по наитию приходили к нему многие решения в его долгой и сумбурной жизни. Но за пятьдесят с лишним лет он так и не научился понимать, полезна такая спонтанность или вредна. С одной стороны, конечно, «поспешишь — людей насмешишь». Знакомой с детства поговоркой поучала его покойная мать, когда он выказывал явные признаки нетерпения. А с другой — «кто не спешит — тот опоздал», утверждают нынешние молодые люди, полагавшие, что нетерпение и есть предпосылка успеха. В какой-то степени, считал Малахов, с этим можно согласиться. Хотя у него в жизни бывало по-разному: иной раз поспешность даровала удачу, а иногда оборачивалась поражением. С написанием и защитой кандидатской диссертации он торопился, боялся упустить время. На исходе восьмидесятих почуствовал, что тема литературы народов СССР в контексте международных

отношений в стране, раздираемой этническими противоречиями, станет актуальной и — не ошибся! А вот с женитьбой, тоже поспешной и азартной, ему не повезло.

Женился он поздно, в тридцать лет, и не потому, что долго искал, а потом нашёл свою женщину. Просто ему надоело ждать, когда на горизонте появится та самая, с которой семейная жизнь покажется раем. Это был рискованный картёжный ход, и он — проиграл. Слишком хорошо он думал о женщинах, и вот — ошибся. После двух-трёх месяцев более-менее счастливой жизни в отношениях с женой наступила чёрная полоса, протянувшаяся, как оказалось, на всю совместную жизнь. Скандалы и ссоры вспыхивали с регулярностью утреннего подъёма и вечернего туалета. Но менять что-либо в ставшей необыкновенно тяжёлой и муторной, но устоявшейся и предсказуемой жизни ему не хотелось, любые перемены, думал он, только к худшему.

Лучше не дёргаться, — тоскливо размышлял Малахов бессонными ночами, прислушиваясь к отдалённому храпу жены — в такие дни она спала отдельно, в другой комнате. И принимался прикидывать, как ему минимизировать моральный ущерб. Что вообще-то было непросто. Закономерность, постановка отдалённой (или неотдалённой) задачи, какая-либо система в потоке жизни терялись, размывались до неузнаваемости. «Главное всё-таки в жизни везение», — в конце концов приходил он к безутешному выводу. Из-за того, что он и сам был сплошной текучестью, он не верил ни гадалкам, ни пророкам, ни всезнающим аналитикам и скептически морщился, когда слышал по телевизору, что некая знаменитость предсказала тотальную войну на Ближнем Востоке и на Кавказе или очередной конец света. Он язвительно посмеивался в семейном кругу и на работе над доверчивыми людьми, верившими в эти глупости. Он так был уверен в сумбурности жизни, мироустройства вообще, что когда у него интересовались, любит ли он порядок, он отвечал с колкой насмешливостью: «самый лучший порядок — это беспорядок»...

Пробудившись ранним воскресным утром с камнем на душе, Малахов даже не пытался спланировать наступивший день. Неприятный осадок от ссоры с женой ещё не улёгся. Горечи добавляло, что сегодня день его рождения, и в первый раз за много лет он встретит его вне семейного торжества: обильно накрытого праздничного стола, телефонных поздравлений друзей, вместе с женой, сыном и дочерью.

Наскоро побрившись и приняв душ, он выпил чашку чуть тёплого кофе и крадучись, чтобы не потревожить спящую жену, выскользнул в летнее утро. На улице с облегчением вздохнул и, передёрнув плечами, пошёл, куда глаза глядят. Ноги сами несли его к морю, это был сезонный ритуал: летним утром, в отпускную пору он каждый день начинал с морского купания. Но сегодня одет он был не по-пляжному — в белоснежной сорочке, белых летних брюках и в кремовых туфлях. В руках сумочка-барсетка с новенькими хрустящими купюрами — остатком недавнего научного и финансового величия.

Перед отпуском он получил гонорар за вышедшую в Москве монографию, и половину суммы честно отдал жене. Вторую половину разделил надвое: малую часть потратил на фуршет для коллег на кафедре, а большая — составила неприкосновенный запас. Сегодня как раз представлялся случай им воспользоваться, — подумал он, радуясь, что решение, как провести день, пришло по обыкновению само собой.

Свернув неторопливым шагом в сторону от главной магистрали, он через полчаса уже отворял дверь уютного, увитого плющом приморского ресторанчика «Волна».

В пустом по-утреннему зале, пахнувшем влажной уборкой и проветренным помещением, за столом, покрытым тугой, свежей скатертью, ждать пришлось недолго. Молодая официантка, тоже по-утреннему свежая и улыбающаяся, охотно выслушала первый заказ: если утренний посетитель мужчина, значит, день будет удачным...

— Бутылку шампанского. Полусухого. И обязательно холодного. И бутерброды с чёрной икрой, — с удовольствием от её и своей свежести и утренней бодрости, стал перечислять Малахов.

— Бутербродов сколько желаете? — поинтересовалась она, перестав записывать в книжечку, так как заказ был несложный.

— Три... нет, четыре. И балычок, одну порцию. Для начала, — поспешно добавил он, словно обещая, что заказ будет иметь продолжение.

Ресторан был морской, специализировался на блюдах из морепродуктов, он их любил, и в этот день решил не ограничивать себя ни в еде, ни в напитках. Он быстро расправился с двумя фужерами светлого пузырчатого вина и крошечными бутербродами, немного захмелел и, сделав в утреннем пиршестве паузу, с наслаждением курил сигарету — после еды и вина она казалась особенно вкусной.

Длинное прямоугольное окно, у которого он сидел, было отворено. Лёгкий ветерок шевелил тонкую белую штору и доносил из скверика запах свежеполитой земли и первых летних пионов. Он вспомнил, что такой же утренний запах цветов и сырой земли он обонял много лет назад в саду Бахчисарайского дворца. Он был холост, его томили смутные ожидания, и каждое лето, оформив отпуск, он куда-нибудь уезжал, словно отправлялся на поиски того приятного и неясного, что его обуревало. Благо страна была огромная, проездные билеты и гостиницы дешёвы, и сладкое чувство свободы переполняло его, как шипучее вино. Свободы от повседневных обязанностей, необходимости вставать и засыпать в одно и то же время и сообразовывать поступки с требованием необходимости. А в странствиях в любое время, когда ему заблагорассудится, он мог немного выпить, вот как сейчас, носить простую, неприятную одежду — джинсы, рубашку-полурукавку, кроссовки — и совершать легкомысленные поступки. И можно и нужно забыть, что ты — учёный муж, преподаватель вуза и вообще — солидный, уважаемый человек.

В Бахчисарае он долго сидел на скамейке в садике гарема.

И садик, и ханский гарем были микроскопическими, как арабская миниатюра. Он представил, как жили здесь когда-то ханские жёны — красавицы одна другой краше. Как они прогуливались по тем же посыпанным песком дорожкам, где бродит сегодня и он, видели тот же тихо плещущий фонтан и невысокий каменный забор, увитый плющом и отделявший тихий женский заповедник от суетного мира.

И жизнь во дворце, вдали от всего и всех казалась ему раем...

Вино и воспоминания о вольной, молодой жизни не на шутку его взволновали. Он размышлял о свободе, о красивой молодой женщине — он ведь ещё совсем не старый и вполне может полюбить, как и его может полюбить любая женщина, почему бы нет? От этих мыслей ему становилось так хорошо и приятно, что, казалось, жизнь не заканчивается, а только начинается. Вдохновившись, он заказал красивой официантке, глядя на неё с непритворным восхищением, рюмку водки, закусил балыком, попросил ещё бутербродов, но теперь уже с красной икрой, допил шампанское и довольный собой, в приподнятом настроении вышел из ресторана.

II

Запах моря ударил ему в ноздри, едва он прошёл по пустой в это утро набережной несколько десятков метров. Рядом, стояло только руку протянуть, сверкало море, там был причал, дорога в неизвестность и забытое чувство свободы, понуждавшее к новым странствиям...

Нащупывая в кармане брюк твёрдый корешок билета, он не спеша прошёл по причалу, с опаской обходя массивные, крашеные чёрным лаком кнехты — металлические тумбы для причальных канатов.

Неуклюжий, похожий на старомодный утюг, теплоход ОМ— 47 покачивался на утренней зыби.

Малахов испытал нечто вроде разочарования. Однажды, отправляясь в путешествие по Кубани и Северному Кавказу, он переплыл море на белой быстроходной «Комете». Сорок миль с небольшим они одолели за три часа, он даже проголодаться не успел. Теперь же вместо «Кометы» его восшествия на палубу ожидал какой-то неприличный «ОМ» — не то «отбойный молоток», — мысленно засмеялся Малахов, по филологической привычке играя словами, — не то «отдел механизации», как в строительной конторе, где работал покойный отец...

Из утробы «отбойного молотка» выбрался пожилой матрос в тельняшке и, коротко размахнувшись, с треском швырнул на берег дощатый трап.

Разношёрстная публика, топтавшаяся у причала с вещами и ведрами — по ободу они были перемотаны белыми тряпицами, — зашевелилась и робко потянулась на посадку.

Малахов — «всё равно спешить некуда» — решил подождать, пока взойдут все. Утро, первый рейс, пассажиров немного, и место в каюте он отыщет легко. Человек он неприхотливый, путешественник опытный, ему везде удобно и хорошо.

Взойдя на приятно покачивавшуюся и плывшую под ногами палубу, Малахов, которого не покидало бодрое и возвышенное настроение, решил всё же не прятаться в каюте, а устроится на палубе, чтобы обозревать морские пейзажи. И нашёл место на лавке у мачты с проводами радиосвязи и огромным мегафоном, в него, вероятно, капитан отдавал распоряжения экипажу и сообщал новости пассажирам.

Усевшись на намертво приколоченную к палубе лавку, он вытянул ноги. Лёгкая качка убаюкивала и успокаивала. Малахов лениво поглядывал то на покинутый берег, где покоился на стапелях ржавый остов списанного судёнышка, то на сухогруз, стоявший у причала не то под погрузкой, не то под разгрузкой...

Кругом было по-воскресному безлюдно и сонно.

Стремительно и косо, разбрасывая пенистые брызги, промчался вдоль бухты, вызвав лёгкое беспокойство волн, приземистый буксир и скрылся из вида. И снова в порту воцарились утренняя тишина и дремотность...

Теплоходик покачался на взволновавшей было воде и замер, подрагивая у причальной стенки. Так же неторопливо, как и до этого, появился и застыл у борта пожилой матрос, а другой, помоложе, с голым загорелым торсом, соскочил на причал, отвязал канат и ловко бросил его пожилому. Так же ловко тот его поймал, уложил на палубу и, подождав, когда молодой вернётся, стащил пешеходный трап...

Теплоходик загудел, вспенил воду, и хриплый голос капитана зарычал в мегафон: «Граждане пассажиры, наш теплоход отправляется по расписанию...»

У Малахова легко и приятно закружилась голова, когда тяжёлый и неуклюжий ОМ разворачивался в тесной бухточке, всполошив реявших над ним чаек. И, издав сипловатый гудок, с неторопливостью черепахи устремился в сторону двух маяков, стороживших подобно часовым вход в бухту. А за ними во всей её бескрайности распахнулась бездна открытого моря — с блеском бурлившей и кипевшей за бортом воды, хаотичного реяния преследовавших их чаек, нырявших в самую гущу белоснежной пены, чтобы выхватить мелкую, серебристую рыбёшку...

Уверенно и плавно теплоход забирал западнее, взошедшее солнце скрылось за капитанскую рубку, и в тени у мачты Малахову стало неуютно. Свежий ветер лохматил волосы, поддувал одежду, и он стал мёрзнуть.

Малахов перебрался на корму, к трепавшемуся на ветру выцветшему флагу и прикорнул на лавочке.

Здесь было тепло. Солнце било ему в лицо, он закрывал глаза, и когда их открывал, то в глазах плыли жёлтые и фиолетовые круги, и открывалась в мутном блеске широкая, дрожащая серебром равнина, состоявшая из воды, одной только воды...

И Малахову стало страшно.

На суше — в автобусе или вагоне поезда — он вспоминал о них с щемящей тоской — можно при необходимости сделать остановку. Выйти на сухую, твёрдую землю, ощутить её надёжность и прочность. Пройтись по перрону или пятачку автобусной платформы. Переброситься словом со случайным прохожим или таким же пассажиром, выбравшимся из автобуса или вагона вдохнуть свежего воздуха и размять оочевенные ноги. Даже в самолёте имеется пусть небольшой, но шанс на спасение: аварийная посадка, мастерство экипажа... сколько было таких случаев! Здесь же, подумал Малахов, вглядываясь в ослепительную пустыню моря, остановка практически невозможна. Или возможна только в случае аварии, и тогда она оказывается чем-то вроде прощания с жизнью — помощи ждать неоткуда и не от кого....

Жуткий страх при мысли о смерти сковал Малахова. Он и думать уже не мог ни о чём, кроме катастрофы, казавшейся ему неизбежной. Её предчувствие было так сильно, она рисовалась так явственно, что он пожалел, что не взял с собой чего-нибудь выпить. Вытянув ноги, он крепко зажмурил глаза, болью сжатых век пытаясь отогнать видение смерти. Оно держало его так крепко, что он стал считать до ста, двухсот, трёхсот и далее, стараясь увлечься счётом и не думать, не смотреть на безжизненную пустоту, окружающую его со всех сторон — она-то и была его смертью....

Его насторожила возня возле его ног. С бухтой сложенного каната подошёл пожилой матрос и стал открывать лючок у кормы. Бросил туда канат, хлопнул, закрывая лючок, крышкой...

— Как вы думаете, — тронул его Малахов, — скоро мы прибудем на место?

Ответ матроса его огорошил:

— По расписанию теплоход идёт шесть часов.

И — всё.

«Значит, — с холодком в сердце подумал Малахов, — вместо трёх часов для «Кометы», ОМ тратит на дорогу почти полдня. В море мы вышли около одиннадцати, значит, на место прибудем в пять вечера...

— Простите, — поднялся он с места, обращаясь к сидевшей на лавке и равнодушно поглядывавшей на кипевшее за бортом море пожилую женщину, у неё были полные, загорелые плечи, и она, кажется, совсем не мёрзла под ветром. — Не скажете, в котором часу обратный рейс?

— Обрато теплоход не идёт, — удивлённо покачала головой женщина. — Следующий рейс только утром. В семь часов, — уточнила она.

Малахову стало не по себе. Такого финала воскресной прогулки да ещё в день рождения он не ожидал! После сообщения женщины, для него означавшего катастрофу, поскольку он не представлял, как он выпутается из создавшего положения, он только мысленно развёл руками и растерянно повёл шеей.

«Надо же... Нет, это же надо!» — молча ахал он, представляя, как Раису охватит сначала беспокойство, потом злость и — к вечеру — нешуточный испуг, переходящий в ужас: её муж — пропал! Ссора ссорой, а жизнь идёт своим чередом. Ночью, конечно, она не сомкнёт глаз в тревоге за его судьбу. И, как и я на злополучном судёнышке, — думал он — будет терзаться страхами и мучиться неизвестностью. Мысли о смерти — моей смерти! — подумал он со злорадством — станут приходить ей в голову, как они приходят сейчас ко мне. И от того, что жена будет волноваться и переживать, как утром волновался и переживал он сам, ему стало приятно, как оскорблённому дуэлянту, сделавшему точный выстрел в оскорбителя. И ещё он подумал, что, как ни крути, а четверть века совместной жизни не проходят бесследно, они с Раисой одна плоть и одна душа. Его страдания станут её страданиями и наоборот... «Вот такой круговорот беды в природе», — уныло пошутил он.

И на этих горестных мыслях он задремал под линиялым флагом, а потом и вовсе уснул, покачиваясь вместе с лавкой...

III

Ноги от долгого сидения у него затекли, и когда ОМ прибыл к месту назначения, он с трудом сделал по шаткой палубе первые, неуверенные шаги. С трудом и тайным страхом сошёл по знакомому трапику на пустой причал и, шаркая и озираясь, побрёл, куда глаза глядят.

Когда они пришвартовались, солнце уже садилось. Повечернему тусклые, болезненные лучи его косо ложились на серый асфальт, на два-три сиротливо покачивавшихся на игравшей алыми бликами воде катера и на пустой горизонт без каких-либо признаков жизни. Незнакомый город встретил его той же невыразимой тоской, с какой Малахов начинал своё путешествие. Она, тоска, неслышно и незримо сопровождала его весь этот день и, похоже, не собиралась с ним расставаться.

Надо срочно что-то сделать, — подумал он. — Заняться чем-то важным и необходимым, чтобы избавиться от грызущей тоски.

Малахов закурил, хотя курить на пустой желудок ему не хотелось, и ускорил шаг, решив, что для начала нужно определиться с жильём. Ночь на носу, а ему негде приклонить голову. Не будет же он спать на причале! Родственников здесь у него нет, друзей и знакомых тоже. Он никогда не интересовался этим городком, не изъявлял желания навестить его во время своих отпускных странствий —

невзрачное это поселение не представляло для него интереса. И теперь, блуждая кривыми, кособокими улицами, он пытался вспомнить, что он о нём знает.

А знал он... совсем ничего. И только сейчас, приходя в себя после долгой и унылой дороги, начинал всматриваться и уяснять. Вот белёные, крытые черепицей домики с дощатыми заборами и густыми садами. Пыльные, деревенские улицы...

По виду, по смутно вырисовывающемуся в наступающих сумерках укладу жизни не родная ему Украина, но и не Россия. Что-то не чужое, но отдельное, не похожее на всё ранее виданное и в то же время до странности что-то напоминавшее. В меру уютное и в меру холодное...

Наверное, фантазировал он, этот город с его бесконечными одноэтажными домами и грязными улицами когда-то был казачьей станицей; она медленно росла, увеличивалась в размерах, наполнялась разнообразным, преимущественно бродячим людом и в конце концов стала светливым, неухоженным городком, каких много в южной провинции. А потом и городом, сохранившим неуловимые черты казачьего стойбища и упорно не желавшим принимать хотя бы видимость современности. Так живут одинокие, равнодушные ко всему на свете старики, которым прошлое милее настоящего. О будущем, этом неопределённом, бесцветном мираже, они вовсе не думают, дорога им туда закрыта. И от приговора, какой он вынес незнакомому городку, его точка стала ещё больше расти и увеличиваться, словно был он последней географической точкой в мире. «А может и правда последняя черта», — обречённо покачал головой Малахов, не понимая, что означает его умозаключение: констатацию, призыв или предположение. Что-то такое же безнадёжное и не требующее доказательств...

Проплутав около часа по городским окраинам, в сумерках он добрался до центра города. Сумерки здесь тоже не такие, как дома — светлые, сероватые, они, казалось, подрагивали, как мелкая морская рябь. Пахло солоноватой влагой, рыбой, выстиранным бельём — оно белело в пустых, безжизненных дворах, как опавшие паруса рыбацких шхун. А когда сумерки совсем сгустились и потемнели, в памяти стали возникать смутные женские тела, прятавшиеся в зарослях сирени...

Совсем уже в темноте Малахов миновал городской парк с тёмными неподвижными деревьями, вышел на центральную улицу, поразившую его огнями и невесть откуда взявшейся людской толчей — она так не шла этому городку, похожему на стоячее озеро. Гостиница, на которую он наткнулся, даже не надеясь её отыскать, была пятиэтажная, основательной сталинской постройки. В те времена центр города так и застраивали: горком партии, горисполком, банк, милиция и гостиница — венец периферийной цивилизации.

В ярко освещённом холле строгая женщина в очках и с гладкой причёской — тоже как в горкоме партии — сосредоточенно перебирала за стойкой бумаги.

Она нехотя подняла голову, не ответив на его приветствие.

— Что вам нужно, мужчина? — уставилась она на него белыми, как у Гимmlера в фильмах про войну, очками.

— Я хотел снять номер...

— Вы в командировке?

— Нет, — произнёс он хриплым после целого дня молчания голосом.

— Зачем же вы приехали?

Он колебался с ответом.

— Я путешествую, — выдавил наконец Малахов и покраснел: причина его приезда в глазах этой строгой дамы должна выглядеть глупо.

Она действительно смотрела непонимающе.

— Из свободных номеров есть люкс и полулюкс, — заговорила она после минутной паузы. — Остальные заняты.

— Я согласен. На полулюкс... — «На одну ночь можно и раскошелиться», — подумал он.

— Ваш паспорт, — протянула она руку.

— Видите ли... — замаялся Малахов. — Я, собственно, не готов...

— Что значит — не готовы?

Она вопросительно смотрела на Малахова, на его руки без вещей — он совсем не походил на путешественника — и тихо раздражалась.

— Вы собираетесь поселяться или нет?!

— Видите ли... Паспорт я оставил дома. Случайно. Я забыл...

— Как же вы отправились в дорогу без документов?

— Да вот так. Сам не знаю...

Она тяжело вздохнула — ей надоело выслушивать оправдания странного приезжего. «Наверное, жулик», — подумала она, а вслух сказала:

— Без документов поселять не имею права.

— Как же мне быть? Может, всё же поселите? В порядке исключения.

— Это запрещено инструкцией, — отрезала женщина, снова принимаясь за бумаги.

— Не ночевать же мне на улице?

— О чём вы думали раньше?

— Пожалуйста, позвольте, — умоляюще произнёс Малахов, неловко подсовывая по стойке две двадцатипятирублёвые купюры.

Она взглянула и...

Попытка Малахова всучить ей взятку была так неуверенна и жалка, что администраторша рассердилась.

— Что вы себе позволяете! — гневно сверкнула она очками. — Уберите это — кивнула она на смятые бумажки — и покиньте помещение!

Он покорно вздохнул, собираясь уйти, не солоно хлебавши... но она над ним сжалилась:

— Ступайте в отделение милиции. Если они разрешат, я вас поселю. Только принесите справку, что они не возражают.

В двух словах она рассказала, как пройти в райотдел милиции, — это было совсем недалеко — и через несколько минут с тем же покаянным видом, что и в гостинице, Малахов стоял перед стеклянной перегородкой, за которой его недоверчиво разглядывал моложавый милицкий майор.

— У вас что — совсем нет документов?

— Нет. То есть, есть, но это, как бы, не документ, — залепетал Малахов.

— То есть?

— Пропуск в университет.

— Вы там учитесь? — вскинул брови он.

— Нет, работаю. — И Малахов протянул ему пропуск.

Милиционер долго и придирчиво его разглядывал, сравнивая фотографию на пропуске с оригиналом.

— Что же вы, товарищ профессор. Отправляетесь в дорогу без документов, объяснить их отсутствие не можете... Нехорошо, нехорошо, — покровительственно произнёс он. — Зачем к нам приехали, по каким делам?

— Я, собственно, путешествую, — замялся Малахов — ситуация и беседа стали напоминать ему ту же моральную пытку, что и в гостинице.

— Странно, странно... — бубнил майор, и его круглое лицо мрачнело, наливалось неприятной тяжестью. Очевидно, в голове у него созрело решение, для Малахова не благоприятное.

— Хорошо, — подумав, вздохнул милиционер. — Разрешаю вам поселение. Но только на одну ночь. А пока погуляйте, мы подготовим справку...

Малахов на крыльце отделения милиции выкурил сигарету, ещё не веря, что удача так близка, и вскоре он уже заполнял в гостинице «Морская» стандартный бланк на поселение...

IV

Номер на втором этаже был не роскошный, но вполне комфортабельный: огромная двуспальная кровать, бра в головах. Картина над кроватью изображала заросли сирени в духе Врубеля, а рисунок ненового ковра повторял хитроумные персидские узоры.

Тёмная полировка платяного шкафа и стола, мягкое кресло в углу, угрюмо помалкивавший телефон из красной пластмассы...

Малахов снял трубку, и в уши ударил резкий гудок зуммера. Звонить ему было некуда и незачем, и, поморщившись, он положил трубку на рычаг. Разговаривать с женой, объяснять своё исчезнове-

ние бессмысленно — он хотел бы исчезнуть из её жизни навсегда. Что его связывало с женой? — Только ссоры, от них остаётся самое сильное впечатление. Ссорились они постоянно, но сказать, что всю жизнь, было бы не правильно. Когда они поженились, то первые годы совместной жизни они ладили, как все новобрачные. Когда Рая забеременела, тоже всё было хорошо. Беременность она переносила легко и весело, не капризничала и не жаловалась. Беременным мешает любая мелочь — плохая погода, задержки мужа на работе, даже запахи и звуки. Получилось, как в стихах, — мысленно усмехнулся он «запахам и звукам»...

В первые, блаженные месяцы их молодой любви стихам в их отношениях тоже находилось место. По поводу и без повода, просто потому, что он их любил и радовался возможности читать свободно и невозбранно. Декламировал ей Пушкина, Блока, Есенина... Лермонтова избегал, как поэта с противоположным душевным настроением, у них он был совсем другой. Они, вспоминая, чаще смеялись, чем задумывались. Больше радовались жизни, чем её осуждали. И не замечали никого и ничего вокруг. Существовали в этом мире одни — со своей не соотносящейся с жизнью любовью и нетерпеливым ожиданием появления на свет их малыша.

Свекровь, тихая, болезненная женщина, не докучала невестке советами и нравоучениями, и с этой стороны для семейного микроклимата тоже не было ничего угрожающего. Свёкор, человек хмурый и неприветливый, всю жизнь посвятил работе, как все мужчины сталинского поколения, и умер незадолго до женитьбы сына. В уходе отца ему виделась предусмотрительность Творца, пожелавшего избавить молодую семью от лишних слёз и нервотрёпки. Характер свёкра молодая невестка могла не выдержать — отец был чересчур серьёзен и суров, а Рая не в меру шаловлива и весела. Он был рационален и неуступчив, она — легкомысленна и не склонна задумываться о завтрашнем дне, так счастлива она была в дне сегодняшнем. У него за плечами тяжёлая, полная лишений жизнь: первые пятiletки, четыре года войны, ранение, госпиталь, полуголодные будни и тяжёлый труд на бесконечных стройках. Жизнь отучила его смеяться и радоваться, а их, напротив, так и подмывало веселиться и наслаждаться своей молодостью.

Но со временем что-то незаметно стало меняться в их слишком беспечной, слишком безоблачной жизни. Последние месяцы беременности Раи были мучительными: всё чаще ему приходили в голову мысли о смерти жены. Она — он это видел по застывшему в её глазах тихому ужасу — неотступно думала о том же. И чем больше она задумывалась, тем вероятнее она, смерть, ей казалась. Им уже было не до стихов: жена не хотела думать ни о чём, кроме смерти, и он со страхом и сердцебиением ждал первых предродовых схваток. Вдруг она действительно умрёт, и он останется один с новорождённым младенцем? — в холодном поту представлялось ему. — Как он будет

его кормить, ухаживать, ведь он даже пеленать не умеет! Старуха-мать может помочь советом, но не делом. Она всё чаще болела, ей самой требовались лечение и уход. Малахов боялся всего: казавшейся неминуемой смерти жены, неполноценности ребёнка — вдруг он родится умственным или физическим калекой, таких случаев сколько угодно. Что в таком случае нужно предпринять, как себя вести... жить — как?

Этот вопрос: «Как жить?» — казался самым страшным и неразрешимым. Это было главное, что его мучило, лишало покоя и сна. Жизнь внезапно, подобно удару молнии, испепелившей сильное, цветущее дерево, выжгла всё его существо изнутри. Из счастливого, оптимистичного юноши, каким он помнил себя в отрочестве и в студенческой молодости он превратился в боящееся всего на свете забитое, суеверное существо. В считанные месяцы из атеиста превратился в глубоко верующего человека: ходил в церковь, ставил свечи Иисусу Христу и Богородице, крестился, кланялся. И робко и слезливо просил для себя и своей семьи только одного — жизни. Избавления от мучений текущих дней, мешавших ему эту жизнь принимать и любить.

Когда Рая родила девочку, с трясущимися руками и губами, всё ещё ничего не понимая и даже не радуясь долгожданному событию, а замирая от страха и чего-то страшась, он побежал на цветочный рынок, купил охапку красных роз и примчался в роддом. В приёмном отделении медсестра сообщила ему, что роженицу видеть нельзя, её перевели в реанимацию. И от того, что он услышал, он тут же потерял сознание...

Спустя несколько дней, при счастливой жене, её родителей и друзей, за праздничным столом он то и дело отбивался от родственников, добродушно посмеивавшихся над его малодушием, отнекиваясь и отшучиваясь: «Что вы смеётесь! Человек от радости упал в обморок, разве это редкость?»

Но он-то знал, что случившееся с ним было не радостью, не упоением счастьем, а чем-то иным, тяжёлым и неизбежным, как библейское пророчество. Это «что-то» нужно было хранить в тайне, не говорить о нём ни жене, ни матери и, постараться забыть, как дурной сон.

Но ничего, что у него было, не забывалось...

Мать умерла, когда Сонечке исполнилось шесть лет. Это была хорошенькая, чернявенькая девочка, лицом и глазами похожая на отца. В них светились недетский ум и затаённая печаль, и он недоумевал, откуда в крошечном человечке столь явно выраженное неприятие жизни, какое он с некоторых пор испытывал сам. Вглядываясь в грустные глазёнки дочери, он думал: вот, на меня смотрят мои глаза, и ему становилось страшно. Бог, всемогущий Бог его неустанных молитв и ночных бдений, послал ему его подобие, его второе Я, чтобы было с кем поговорить и увидеть себя со стороны, находя в

этом утешение и радость. Словно навсегда ему было отказано в общении с людьми, но только с самим собою. Пожизненное уединение заставило его замкнуться, избегать прежнего, ясного и открытого общения с женой, а потом и с дочерью.

У него хорошо пошли в ту зиму дела на работе. Ему благоволил ректор, заслуженный, уважаемый человек, и по слухам, исходившим из его приёмной, на освобождающуюся должность проректора по науке намечена кандидатура Малахова, оставалось только согласовать её с Министерством. Прежний проректор уходил на пенсию, и со второго семестра Малахов должен был переместиться в более роскошный, более престижный и более одинокий кабинет на втором, «правительственном», этаже главного корпуса университета. На кафедре он дорабатывал последние месяцы и, чтобы доказать неслучайность павшего на него выбора, проявлял невиданную активность. Всегдашние его завистники распускали слухи, что решение по Малахову пересмотрено, он остаётся на кафедре, и будто бы сам этого добивался.

Малахов сбавил руководящий пыл, но очень осторожно, памятуя, что нужно всё время оставаться на виду у ректора и партбюро, перед назначением на новую должность особенно пристально, особенно предвзято наблюдавшими за кандидатом на повышение. Он приходил с работы домой, когда все укладывались спать или уже спали. Для дочери у него оставалось совсем мало времени, как, впрочем, и для жены. Он любил дочь, когда она была маленькой и беззащитной, и охладел к ней, когда почувствовал у неё первые признаки самостоятельности. Всецело, как и его покойный отец, был поглощён делами — днём занятиями в университете, вечером — те же занятия, только с вечерниками. Бесконечные заботы по кафедре теории литературы, которую он реформировал, чтобы соответствовать требованиям времени, работа над докторской диссертацией. А потом, когда его утверждение в должности проректора состоялось, добавились новые заботы, он их называл «глобальными». И главной из них была обуявшая его идея сформировать на университетской базе филиал Академии наук страны.

С дочерью он торопливо поговорил вечером, за ужином, терпеливо выслушает её рассказы о садике, она посещала старшую группу, их уже готовили к школе, и ей нравилась «хорошая» воспитательница Валентина Ивановна. Она учила детей читать и писать, заучивать простенькие детские стишки, и Соня, краснея и волнуясь, декламировала их вечером принимавшему сладкий, умилённый вид папе.

Декламировала она старательно, чтобы папе понравилось, отчётливо выговаривая гласные, как учила воспитательница, и ему было досадно, что это не он научил читать собственную дочь, а чужой человек. От смущения и стыда он мешался, опускал глаза и, торопливо похвалив дочь, целовал её в потный лобик с пожеланием спокойной ночи. И с облегчением, уже не слушая рассказывавшую о прошедшем дне жену, привычно размышлял о дне завтрашнем.

Что ещё? — стал вспоминать он. Ах, да! Рая неделю уже просит вкрутить в чулане перегоревшую лампочку, и он ей обещал. Но забывал о своём обещании в очереди важных и любимых дел. Рая даже лампочку купила, ему осталось только её вкрутить.

В пятницу, торопясь на работу, он взобрался на табурет и только взялся за патрон, как его... ударило током! Он рухнул наземь, лампочка разбилась и, в конце концов, жене, когда он пристыжено умчался на работу, пришлось просить о помощи соседа...

А вечером, когда он переоделся и приготовился к ужину, жена устроила ему первую настоящую взбучку. Поводом послужил пустяк: он хотел послать недосоленное пюре, но в доме не нашлось соли.

«Не успела купить», — объяснила жена.

«Могла бы по дороге с работы зайти в гастроном», — пожал он плечами.

«Ребёнок висит на мне, — взвилась Рая, — дом тоже на мне, а ты палец о палец не ударил, чтобы мне помочь, и ещё упрекаешь?! Что ты можешь — только воздух сотрясать! Что не поручишь тебе, ты всё проваливаешь! И добровольно ничего не сделаешь, одни отговорки про неслыханную твою занятость! Можно подумать, ты у нас самый занятый! Что — ты — сделал — для семьи?» — отдельно, выговаривая каждый слог, в упор вопрошала жена, и лицо её, прежде доброе и милое, исказила смертельно его напугавшая гримаса злобы и отчаяния.

«Как, что? — бормотал он, чувствуя правоту жены, но и свою тоже. — Деньги... Я приношу домой деньги!»

«Ты полагаешь, — покрылась красными пятнами Рая, — что этого достаточно? Ты считаешь, что от семьи можно откупиться деньгами?! Да и деньги приносишь не Бог весть какие! Ты не занимаешься ребёнком, забросил жену и в доме живёшь, как чужой! За молоком ни разу не сходил, даже не знаешь, где его продают!»

Она кричала и кричала, он пытался её вразумить, доказать, что она права, старался говорить спокойно, но она его не слышала. Она его — перекрикивала.

И он махнул рукой: попытки усмирить разгневанную супругу были напрасны, надо было дать ей время выговориться. Излить годами копившиеся негодование и обиду. Это был день, когда каравай супружеской жизни лопнул и надломился, и склеить его уже не представлялось возможным. Потому что такие вещи как семья, любовь и хлеб не склеиваются и не поддаются реставрации. Каждая трещинка не только остаётся, но медленно и верно превращается в щель, а потом и в пропасть. И всё так незаметно и безболезненно происходит, — сокрушался он, — как операция под наркозом. Придётся в себя — и ты уже другой человек, слабо напоминающий того, кто некоторое время назад лёг на операционный стол в надежде на выздоровление.

Ему хотелось кому-нибудь пожаловаться, посетовать на свою судьбу. Но мама, кому он мог бы рассказать про наболевшее, ушла в

мир иной, даже не предупредив его и не попрощавшись. Умерла как Достоевский: нагнулась за упавшей на пол чайной ложечкой и — не встала: сердце...

Кому ещё поплакаться в жилетку?

Жена не в счёт — с тех пор, как они поссорились, оба стали холодны и сдержанны. Предпочитали помалкивать или беседовать о пустяках. О чём-нибудь бытовом, незначительном; хотя ещё недавно охотно сообщали друг другу о малейших движениях души, едва заметных перепадах настроения. Оба знали, что только доверие способно разрядить возникшее между ними напряжение. Рая так и говорила: «если хочешь, чтобы я была искренней, будь и ты таким же, любовь не прощает молчания...»

Но теперь они обнаружили, что чем реже они общаются, тем прочнее связывающие их нити. Как будто равнодушие — единственный раствор, скреплявший семейные узы. Но холодный, настороженный взгляд жены то и дело заставлял его вздрагивать и думать, что не всё так просто и нервного срыва у жены можно ожидать в любую минуту...

V

Так прошло несколько изнурительных, полных взаимного непонимания лет. Супруги жили каждый своей жизнью, не вникая в жизнь другого.

У него появились женщины. На бывшей его кафедре работали две ассистентки, совсем молоденькие, и он сделал их любовницами. Обе стремились защититься, стать кандидатами наук, он потечески, а потом и как любовник, их поощрял и наставлял. Одной, блондинке по имени Ирма, подарил тему будущей диссертации. А другая, русоволосая и скорее невзрачная, чем некрасивая, Светлана, зачитывалась Бахтиным и Лотманом и была самостоятельнее подруги. Пожалуй, даже одарённое, тему для диссертации придумала сама, она была интересна, он её поддержал, но общаться с новой аспиранткой ему было невыносимо скучно. Она курила, и когда он её обнимал и целовал, то с трудом сдерживал отвращение — от Светланы пахло табаком и какой-то едва слышимой бумажной плесенью, как от промокшей и наспех высушенной книги...

Прошло ещё некоторое время, и он бросил своих учёных пассий так же легко, как и заполучил, они ему окончательно надоели. Или они сами оставили его, защитив свои диссертации и медленно, но верно отдаляясь от казавшегося им вечным немолодого проректора. Так бывает, когда молодые учёные хотят самоутвердиться, им кажется, что кандидатская степень — что-то вроде средневековой индульгенции, дающей право на безнаказанность. А между тем, жизнь, особенно в науке, самоуверенных не любит, следует быть осторожным до конца своих дней, до гробовой доски, даже если ты академик и твоё имя вписано в анналы истории...

Ну — да ладно, вздыхал он. — Не сегодня-завтра обожгутся и притихнут, — размышлял он с неодобрением о судьбе своих вчерашних креатур. — Возмнили о себе Бог знает что...

Получается, с горечью думал он, что он сам вырастил себе будущих врагов. Хотя по-настоящему имело место обоюдное движение — не навстречу друг другу, а в разные стороны. Он устал от работы, от кипения страстей по научным и прочим поводам или вовсе без повода, потому что склонность к спорам одинакова в интеллектуальной и простонародной среде. Или в какой-нибудь ещё. Общечеловеческой...

К людским сообществам с течением жизни он стал относиться с глубочайшим недоверием и не мог бы сказать, когда именно он проникся этим чувством и связано ли оно с его семейным положением. Но только сейчас, когда ему уже немало лет и богатый жизненный опыт, оно явилось ему как открытие. Он решил, что дальше так жить нельзя, с этим надо что-то делать, если он не хочет угаснуть прежде времени. Налаживать контакты с людьми, восстанавливать разрушенные мосты. Призрак одиночества — самое страшное, что может его ожидать — нависал над ним всей своей холодной мощью.

И он решил начать с самого запущенного участка — семьи.

В феврале — пастернаковский месяц выдался на редкость отпепельным и пакостным из-за грязи на улицах — нервные срывы у жены участились. На заводе электротехнических приборов, где она работала главным бухгалтером, обнаружилась недостача, и в бухгалтерию зачастили проверяющие. Неприятности грозили ей чем-то большим, чем порицание, и жена не хотела думать ни о чём другом, кроме возникшей, как она говорила, на пустом месте проблемы. Возвращалась она с работы поздно, усталая, издёрганная; они молча ужинали, потом, думая о своём, она сдержанно и отстранённо общалась с дочерью — проверяла её школьные тетради и дневник и с нескрываемым раздражением выслушивала её жалобы на сплетни подруг и придирки «англичанки»: «с твоим произношением, Малахова, тебе только коз пасти!».

«Сплетен и неприятностей у всех хватает», — сухо возражала ей Рая. Целовала на ночь Соню и, повозившись немного на кухне, уходила в спальню и отворачивалась к стене.

Малахов за весь вечер мог не произнести ни одного слова. Он избегал расспрашивать жену о делах и старался предупредить её вопросы к себе. Впрочем, она особенно и не стремилась к общению — спросит о каком-нибудь пустяке, ничего особенного. А он промолчит, пожав плечами, или ответит тускло и расплывчато. Каждое случайно обронённое слово могло превратить жену в разбуженный Йеллоустонский вулкан, испепеляющий хрупкое семейное равновесие.

Но с чего-то же нужно начинать исправлять создавшееся положение?

Ветренным февральским вечером он явился домой поздно и в хорошем подпитии: в узком кругу отмечали день рождения ректора, он произнёс речь, вызвавшую общее одобрение, и настроение у него было приподнятое. Рая отворила дверь, и ему показалась, что она веселее обычного. Первая с ним поздоровалась и сказала, что сейчас она принесёт ему чистое полотенце, когда он засобирался в душ. Поинтересовалась, не разогреть ли ему ужин, — она уже поела.

Есть ему не хотелось, закуски на фуршете были отменные, но он обрадовался предложению жены и охотно кивнул: да, он не против ужина. И подумал, что суп надо есть, пока он горячий, и нынешний вечер как нельзя лучше подходит для семейного примирения.

За ужином Рая была оживлена и даже предложила выпить рюмочку: самая важная финансовая комиссия закончила сегодня работу, недостачу не обнаружили — всего лишь досадная путаница в отчётности, и бухгалтер, её допустившая, выявлена и наказана. Так что, слава Богу, у неё всё хорошо.

Ночью, смущаясь и робея, они в первый раз за долгие месяцы занялись тем, что деликатные люди называют любовью, хотя совершать это действие можно и без всякой любви. Даже наоборот: чем больше человека любишь, тем меньше хочется этим заниматься. Но о своих догадках он предпочитал не распространяться, потому что Рая, прижавшись к его плечу, лепетала что-то ласковое и несурзное.

— Давай заведём ещё одного ребёночка. Пока мы не совсем старые, — романтическим шёпотом предложила она, и он понял, что жена хочет мира. Раз и навсегда. Чёрная полоса в их жизни пройдена, и наступает новая жизнь, без препятствий и взаимных подозрений. Она видит их такими, какими они были в молодости, когда они только поженились и наслаждались друг другом, как изголодавшиеся по мясу дикари. Мысленно он, конечно, морщился, таким запоздалым казалось ему предложение жены. А потом подумал: почему бы и нет? В конце концов, худой мир лучше доброй ссоры, и маленький ребёнок принесёт в семью так необходимые им теплоту и чувство близости. Почти тождества между несчастливыми Инь и Янь, мучающимися фатальной разницей между собою и страстно мечтающими слиться. Вдруг они навеки растворятся друг в друге?!

С этими нелепыми детско-юношескими мечтаниями он и уснул, и впервые за много лет сон его был спокоен и крепок. Но утром, когда он брился в ванной и вспоминал прошедшую ночь, вся искусственность их побуждений его захлестнула. Отчаяние было так велико, что он замычал в намыленный подбородок.

— Тебе что-нибудь нужно, Володя? — послышался радостный («готовится к будущей беременности», — с раздражением подумал он) голос хлопотавшей на кухне жены; была суббота, они оба в этот день не работали, и он решил, что надо что-то срочное придумать, чтобы отправиться из дома восвояси. Желательно — навеки...

VI

Как он и предвидел, «новая жизнь» не принесла ему ничего нового и отрадного. Одни сожаления да ещё недовольство собой, оно стало проявляться всё чаще. Его раздражала подчёркнутая любезность жены, она даже заискивала перед ним. Старалась во всём ему угодить, угадать его желания. «Какую сорочку ты завтра наденешь? — спрашивала она вечером, когда он дочитывал, зевая, газету и подумывал, не пора ли отправляться на боковую? — Скажи, я выгляжу...» Или: «Что ты хочешь завтра на обед — зелёный борщ или картофельный суп? На второе приготовить плов или курицу в вине?» — допытывалась она.

Ему было безразлично — плов она приготовит или курицу, борщ или суп, но он боялся рассердить её и заказывал первое, что приходило ему в голову. Только бы она была довольна. И оттого, что он невольно ей угождал, как и она старалась угадать его желания, его охватывала досада. Он сердился, что ведёт себя с женой неискренно, вопреки своим правилам быть всегда и во всём открытым и честным. Но быть искренним, сказать жене что, по правде говоря, ему безразлично, что она приготовит на обед и какую рубашку ему выгладит, значит оскорбить её в лучших чувствах. И тогда конец их усилиям привести семейную жизнь хоть в какое-то подобие сердечности. Он сетовал, что он, такой образованный и прекрасно владеющий литературной речью, теряется в разговорах с собственной женой, не находит для объяснения с нею нужных слов. Даже подходящая случаю интонация ему не даётся, от его фраз так и тянет фальшью. Смеётся он тоже натянуто, неискренно. Смеяться ему совсем не хочется, но он вынужден, чтобы поддержать заданный вечером женою шуточный тон. И подладиться к её хорошему настроению, хотя у самого настроение так себе, у него был тяжёлый день, его вызывал секретарь обкома партии, противнейшая личность, и корил за недостаточную работу с молодыми учёными — показатели роста защиты докторских диссертаций в этом году резко снизились...

Когда он заговаривал с женой, то мысленно морщился от казённости своих слов и банальности их содержания. «Даже разговаривать с людьми — да и с самим собою! — по-человечески разучился», — упрекал он себя за чрезмерную книжность. То мать у него «умерла как Достоевский», то месяц февраль «пастернаковский». То Инь и Янь лезут в голову, то «Новая жизнь», как у Данте...

И с горечью он приходил к выводу, что занятия наукой высасывают у него жизненные соки, делают и без того человека нетвёрдого и непрактичного, совершенно беспомощным. Жена права: он действительно не может решить ни одной важной проблемы — он их просто не понимает!

Это открытие повергло его в смятение: оказывается, он и не жил вовсе, а только прикидывался живущим, а сам занимался книгами и рукописями. Пройдёт совсем немного времени, он состарится и

умрёт, и что после него останется? Дети, которых он не знал, не понимал и не воспитывал? Но дети — это не мы, а другие существа, ОНИ, а не Я, что тут может быть интересного?! Книги, статьи, монографии? — Но кто поручится, что их будут читать после его смерти? Что такое важное он написал, чтобы оно сохранилось в памяти потомства, как бесценная реликвия? — Да ничего! Один из множества глупых взглядов на модернизм, постмодернизм, реализм, романтизм et cetera. И не прав ли был бунтарь его юности Роже Гароди, провозгласивший все мыслимые и немыслимые течения, направления и формы литературной мысли одним большим, монументальным Реализмом?!

Теоретики литературы — входил он в азарт ниспровержения — не более чем тунейдцы, паразитирующие на теле литературы — искусства более свободное, чем сама свобода, ибо оно — крик дикаря, какого-нибудь полуголого Пятницы, не требующий оформления в некую структуру...

Ночью он вставал, возбуждённо расхаживал по кухне и без конца курил, обдумывая пришедшие ему в голову мысли. Ему хотелось разложить их по полочкам, придать им подобие логической системы и выразить на бумаге, но они спотыкались, смешивались в беспорядке в голове и, потеряв очертания, таяли, как дым его ночных сигарет.

С разбитой, усталой душой, с гудящей от бесплодного напряжения головой он возвращался к ровно дышавшей во сне жене. С отворачиванием укладывался с нею рядом, стараясь её не разбудить, и пытаясь осмыслить им передуманное. Но мысли, ещё минуту назад бурлившие у него в голове, как кипятик в чане, и казавшиеся ясными и бесспорными, куда-то подевались, наступала опустошённость, и он тяжело засыпал, уже ни о чём не думая...

VII

Весной у Малаховых родился мальчик, пухленькое круглолицее существо, беспомощно кряхтевшее и бессмысленно тарашившее мутные подслеповатые глазки.

Всё время теперь, забыв о ссорах, обидах и недовольстве жизнью, Раиса хлопотала возле младенца — кормила его, пеленала, убаюкивала, тихо напевая, если он хныкал и сучил запелёнатными ножками.

Ночами она спала плохо — не спала, а чутко подрёмывала, чтобы в любую минуту вскинуться и прийти ребёнку на помощь.

Малахов нередко сменял жену ночью, бодрствуя у кровати малыша, замечал её усталый, благодарный взгляд. Они с полуслова понимали друг друга — достаточно было взгляда или движения руки, как другой тотчас спешил на помощь. Они обменивались улыбками, наблюдая за забавными ужимками мальчика, становившимися по мере того, как он развивался и рос, всё прелестнее.

У Витюши долго не прорезывалась речь, это было единственное, что доставляло им нешуточное беспокойство. А в остальном они были счастливы новой, полной хлопот и забот жизнью. Радостно замечали у малыша первые проблески ума и сообразительности, его готовность помочь маме, сделать что-нибудь полезное. Ему не было и трёх лет, когда он стал помогать ей по дому: укладывал крепенькими своими ручонками загрязнившуюся одежку в стиральную машину, прибирал тряпочкой сор со стола, приносил и уносил посуду, подметал пол в прихожей, неловко и забавно орудуя веником и совком...

Все эти новые, волнующие впечатления Раиса копила в течение дня, чтобы вечером рассказать о них мужу.

Когда Малахов, вернувшись с работы, раздевался в прихожей, он с наслаждением прислушивался к топоту в комнатах детских ножек, это маленький Витюша мчался к отцу, чтобы броситься ему на шею.

За ужином Рая подробно и радостно сообщала мужу мельчайшие подробности прошедшего дня: «Витюша сегодня споткнулся об игрушечный трактор и сказал: «ой»! При этом даже не заплакал!» Или: «Витюша смотрел по телевизору мультики, а я ему сказала: «погоди, я сделаю чуть-чуть громче». И он повторил за мною: «чуть-чуть...» — восторженно ахала она.

Жена говорила и говорила, взволнованно заламывая руки, и глаза её наполнились таким счастьем, что Малахов не мог поверить. Не мог поверить, что перед ним его измотанная жизнью, скандальная и вечно недовольная жена, какой она была совсем недавно. Он и верил, и не верил произошедшим с нею переменам. Временами ему казалось, что кризис в их отношениях к счастью миновал, и теперь до конца дней они сохранят сложившуюся у них гармонию.

Но всё же до конца он не был уверен в своём предположении. Какое-то нехорошее чувство не давало ему забыть. Какое-то глухое неверие, свойственное всем пожившим и много повидавшим людям. Они холодны и подозрительны порою без всяких причин, в силу некоего, образовавшегося, словно уродливый нарост на коже, глухого и злобного предчувствия. Оно сидело в нём и сидело, и, казалось, его не могло сдвинуть, как Илью Муромца с печи, никакое счастье, никакая радость.

И Малахов уверил себя, что нужно ещё немного подождать. Подождать совсем «чуть-чуть», как говорил их забавный сынишка, чтобы убедиться в своей правоте или признаться, что он заблуждался. Словно ждал какого-то события, случая, когда всё важное сразу ему и откроется.

Но жизнь его и его семьи текла с всё той же неторопливостью и размеренностью. Ничего в ней не случилось и не менялось, кроме разве того, что Витюша рос не по дням, а по часам, вот уже и в садик пошёл. А Соня, повзрослевшая, остепенившаяся, опекала его, как старшая сестра, заботливо и строго — утром перед школой отводила его в детский сад, а перед сном читала ему книжки.

Созерцая тихую, неторопливую семейную жизнь, Малахов удивлялся своей подозрительности и неверию в перемены. Жена вела себя ровно, без срывов и слёз, и когда, уйдя с головой в повседневные дела в университете, он что-нибудь забывал из семейных поручений — оплатить счёт за квартиру или купить по дороге домой картошку — Рая воспринимала его забывчивость спокойно, с лёгкой насмешливой улыбкой: «Завтра не забудь купить, человек рассеянный с улицы Бассейной...»

Он виновато улыбался, и чувство вины перед женой за её мучения в родах, за бессонные ночи у постельки сына, и за то, что она успевает в заботах о ребёнке накормить, напоить и обстирать мужа, мучило его как незаживающая рана. Он не знал, как ей угождать. То цветы ей купит, возвращаясь с работы, то принесёт домой что-нибудь вкусное. Рая обожала сладости, он знал эту её слабость и старался покупать редкостные сорта конфет, каких она ещё не пробовала. Если бы у него спросили, любит ли он свою жену, он бы не знал, как ответить. Чувства, владевшие им и Раей, когда они встречались, а встречались они ни много, ни мало, четыре года, и то, что он испытывал к ней сегодня, были различны. Пожалуй, думал он, придирчиво анализируя свой внутренний мир, любовью это назвать всё же нельзя. Или же согласиться с утверждением, что это и есть настоящая любовь, а то жгучее и всевластное, что снесало их в молодости, не любовь, а что-то другое.

Но всё это были только догадки, сказать что-либо более достоверное было невозможно...

VIII

Первые — и неприятно его поразившие — признаки утомления Малахов почувствовал летом.

Договорившись с женой, что в отпуск они уйдут вместе, он заказал в профкоме путёвку в университетский пансионат на морском побережье, — тащиться с семейством куда-нибудь далеко, в Крым или Сочи ему не хотелось.

Замысел отдыха на море Рае понравился: Витюше шёл четвёртый годик, и как было бы хорошо отвезти его к морю, которого он ещё не видел. «Соне перед новым учебным годом тоже не помешает оздоровиться, — размышлял Малахов по дороге домой. — Да и Рае после её трудов с малышом. И мне самому...»

Упрятав желанную путёвку в кейс и шествуя домой, он с удовольствием представлял, как обрадует домашних и как славно они проведут время у тёплого, ласкового моря.

Пансионат располагался недалеко от города, в окрестностях небольшой рыбацкой деревушки — рейсовым автобусом езды туда меньше часа.

Они сошли на деревенской остановке у двух гигантских тополей и минут двадцать шли до пансионата пешком по там и сям заросшей камышом песчаной равнине, впадавшей в пустынное сверкающее море.

Пансионат состоял из двух-трёх десятков одноэтажных домиков из белого кирпича, между ними были проложены асфальтовые дорожки, и возле каждого особнячка пестрели клумбы с цветами; поливать цветники вменялось в обязанность временным хозяевам жилища.

Соня и Витюша сразу же бросились к цветам — ловить крупных, синеватых стрекоз, перелетавших с клумбы на клумбу, и белых бабочек, ничего и никого не боявшихся. Они спокойно подпускали к себе детей, и только протянутая детская рука вынуждала их вздрагивать и взмывать в белесую голубизну неба...

Домик и его внутреннее устройство Рае понравились; была даже кухня с газовой печкой. И хотя питание в пансионатской столовой входило в стоимость путёвки, Рая вслух прикидывала, как она будет подкармливать детей дополнительно.

«Морской воздух и купание возбуждают у детей страшный аппетит, — тоже возбуждённо от предстоящих радостей и хлопот повторяла она. — Они всё время будут хотеть есть! А продукты будем подкупать на местном рынке!..»

Малахов кивал, соглашаясь с нею, но заботливость жены его почему-то не радовала. Он предпочёл бы видеть у неё больше детской радости и легкомыслия, всё-таки, они — в отпуске! Всё, что относится к причинности и последовательности его отпугивало и раздражало. Здесь, на воле, они были необязательны и даже вредны. Лёгкость, какую дышала природа, — открывавшаяся взглядам бескрайняя степь и такое же не имевшее пределов море — сулили лёгкость во всём: в отношении к жизни, в словах, случайных и ничего не значащих, выражавших лишь одно первобытное наслаждение жизнью. Всё, что имело отношение к цивилизации, разумно устроенному бытованию, должно быть забыто, как неприятный сон.

Однажды, это было в январе, в самую холодную и тяжёлую пору года, ему и приснился такой озадачивший его сон.

Снилось, что бредёт он, как потерянный, в чужом, незнакомом городе. Вернее было бы сказать, в окрестностях этого города, как и всякие окрестности, полнившихся промышленным и железнодорожным безобразием: кучами угля, рельсами и шпалами, коптящими заводскими трубами и жалкими лачугами местных жителей, грязных, оборванных, похожих на только что вышедших из леса дикарей.

Мимо всего этого уродства с воем и грохотом проносились железнодорожные составы, и он растерянно бродил, обходя грязные лужи, по странному городищу, не понимая, как он здесь оказался. Ему встречались мужчины и женщины, с отсутствующим взглядом бредущие неведомо куда. На его вопросы, где он находится и как ему выйти к центру города они испуганно шарахались и так же молча исчезали.

И снова, как вихрь, налетал очередной безлюдный состав, стирая, уничтожая увиденное, чтобы, исчезнув за поворотом, оставить его наедине со шпалами, рельсами, трубами и лачугами...

Он мучительно размышлял, вспоминал, пытался что-нибудь узнать, осмыслить, понять. Но у него ничего не получалось, как он ни старался вернуться в привычный разумный мир. Тот мир, в котором был его дом, школа, университет, родные лица, знакомые улицы... Он не знал, даже не догадывался, что тысячу раз виденное, слышанное и надоевшее ему до ужаса, до слёз, может обладать такой притягательной силой! И оттого что усилия его были напрасны, им овладело такое отчаяние, что он решился. И — увидел себя одиноко сидящим в пустом вагоне несущегося с сумасшедшей скоростью поезда — с отчаянием в душе и надеждой, что вот-вот он вырвется из железного тупика...

С этой надеждой и с горьким осознанием её невозможности он и проснулся утром, испуганный и потерянный...

IX

С воспоминаний об этом сне и началась для Малахова жизнь в пансионате. В сущности, она не отличалась от прежней — той, что оставила его (или он её оставил) дома, после примирения с женой и рождения сына. В отношениях с Раей царили всё те же порядок и неукоснительное следование сложившимся привычкам, они-то и делали их существование комфортным. Но компромисс с жизнью, — часто приходило ему в голову, — не означает её полного и безоговорочного прития. В душе он оставался тем же бунтарём, каким был с первых лет женатой жизни и, если вдуматься, даже ранее.

С появлением в их жизни маленького Витюши в семейных отношениях, а, значит, и с противостоящим ему миром образовалась некая гармония, молчаливое соглашение не нарушать их маленький Общественный договор. «Так нужно для малыша, — твердил себе Малахов, когда терпение у Раи или у него самого грозило выйти из-под контроля. — Витюше нужно обеспечить счастливое детство...»

В чём состояло счастье, ему бы не составило труда объяснить, если бы кто-то поинтересовался значением этого слова.

Счастье, — заявил бы ему Малахов, — заключается в простом бесконфликтном существовании, основанном на любви, ведь маленькие дети — самые любвеобильные существа на свете!

И тут он с сожалением (по отношению к ребёнку и самому себе) вынужден был признать, что по-настоящему человек испытывает счастье только в первые пять-десять лет своей жизни. Потом это чувство исчезает — тает, как мороженое на солнце, и всё оставшееся время он не живёт, а мучится обязанностью жить. Или пытается отыскать его в неких эфемерных высотах, чтобы никогда уже не выпускать из своих рук...

Через несколько лет, — думал Малахов, — Витюша повзрослеет и станет похож на папу, как Соня, вырастая душевно и физически, повторяет характером и привычками мать. Судьбу матери она, вероятно, и повторит — такая же вырастет сентиментальная и капризная. Не выносящая иного мнения, кроме своего собственного и навязывающая его всем на свете — мужу, детям, сослуживцам...

Он купался в море, играл с детьми, помогал жене что-нибудь вкусное приготовить — не Бог весть что, только самое необходимое детворе на перекуску. Ходил с семьёй на вечерние киносеансы в летний кинотеатр — при свете луны и под пение цикад. Смотрели они старые комедийные фильмы, хохотали над забавными ужимками Луи де Фюнеса и Юрия Никулина и не торопясь возвращались в белый домик на берегу моря — под немолчный звон цикад и ропот невидимых волн.

Иногда, расшалившись, как ребёнок, Малахов бросался в море, заражая ночным своим бултыханьем жену и детей. Они радостно следовали его примеру и визжали от счастья в смоляных, осеребрённых луною водах...

После весёлого ночного приключения, притихшие и умиротворённые, они возвращались в свою «casa mare», как поэтично выражался Малахов. Наспех, по ночному, кормили проголодавшихся после импровизированного купания детей булочками с молоком («на ночь детям наедаться нельзя», — осаждала их аппетиты жена) и укладывали их спать. Терпеливо, превозмогая сон, дожидались минуты, когда дети, наконец, уснут, и можно осторожно, не поднимая излишнего шума предаваться соитию. Каждый думал при этом о себе, хорошо ему сегодня или не очень, бывало и лучше, и Малахову было стыдно за свой эгоизм. Он знал, что жена испытывает такую же неловкость и тоже боится в этом признаться. Было непонятно, как это чувство появилось, ведь раньше его не было, оба были так предупредительны, так бескорыстны! Но потом он подумал, что всё это — чепуха, ведь давно известно, что доставить удовольствие партнёру можно лишь при условии собственного наслаждения. Следовательно, ничего предосудительного в его — их! — эгоизме не было, так поступают все, и такое поведение — объективная необходимость. Но ему становилось совестно, едва только он отлипал от жены, и он стыдился своего поведения. И не только он, но и Рая тоже. За тридцать лет жизни вдвоём он научился читать её мысли и чувства по вздоху, мимолётно брошенному взгляду, отсутствующему или тёмному, хранящему некую тайну. По наклону головы и даже по молчанию, глубокому и враждебному. Он терялся в путанице взаимосвязей и недоговорённостей, частью от него сокрытых, частью явных. Но их явность была тоже некой закрытостью, в ней отчетливо проступало всё, что она утаивала, — недосказанность, подразумеваемость, уклончивость...

И она — он знал это со стопроцентной уверенностью — испытывала те же чувства и точно так же боялась их озвучить...

X

Три недели отпуска для семьи Малаховых пролетели как один день. Впечатление быстротечности времени усиливалось однообразием и монотонностью жизни на побережье, неукоснительно соблюдаемому распорядку дня и ночи. В одно и то же время они завтракали в пансионатской столовой, похожей на огромную веранду, обдуваемую горячим ветром и заливаемую солнцем. Одни и те же часы — с девяти до тринадцати — они проводили на пляже, распластавшись на махровых полотенцах и подставив животы и спины солнцу. Через равные промежутки времени сонно поднимались со своих полотенец и, кряхтя и тараща мутные от солнечного сияния глаза, окунали раскалённые, высушенные горячим песком и солнцем тела в бодрящую морскую прохладу.

Однажды Раисе захотелось совместить свежесть морской воды с солнечными ваннами. Малахов притащил из пункта проката огромный надувной матрас, и часами она на нём возлежала, обдуваемая свежим ветром.

Убаюканная волнами, однажды Рая уснула, и беспризорный матрас стало относить в море. Спohватившийся Малахов с трудом настиг уплывавшее вместе с супругой резиновое плавсредство и вернул его на берег...

Больше Рая матрас не заказывала.

В другой раз он сам проявил инициативу: предложил всей семье прокатиться на шлюпке, взятой там же, в пункте проката пляжного инвентаря. Предложение было принято с восторгом. Но после того, как Витюша едва не вывалился за борт, подставляя ладошки под набегавшие волны, а сидевшая на руле Соня чуть было не перевернула шлюпку, Рая заявила, что детям такие развлечения не по возрасту. И больше они судьбу не искушали, и Малахов понял, что время их блаженства подошло к концу.

Тихо и смиренно они провели в уютном домике на берегу моря оставшиеся до возвращения в город дни.

Уставшему от отдыха, моря, нелепых капризов семейства и полного безделья, нынешняя жизнь уже казалась Малахову повторением старой. Той самой, от которой зимой у жены случались нервные срывы, а его мучили приступы депрессии, скрываемые за напускной деловитостью. Ему было тоскливо и скучно, как дома. Жена всё чаще задумывалась о чём-то своём, и он обречённо ждал от неё новых вспышек раздражения. Всё чаще она замыкалась, уходила в себя и просила мужа не беспокоить её без особой нужды. Даже к детям в такие дни она была равнодушна. Так что Малахов уход за ними и ежедневное общение приходилось брать на себя.

«Устала, — коротко отвечала она, когда Малахов пытался выяснить причину её плохого настроения. — Все надоели и всё надоело!..»

Наученный горьким опытом семейной жизни, в такие дни Малахов старался предупредить у жены малейшие проявления неприязни, переходившей, как обычно, в смерч, тайфун и цунами, они длились до двух и более недель. А потом, утихнув, принимали форму глубокой и тихой ненависти. Снова, как и зимой, жена заводила разговоры о разводе, писала заявления в загс, рвала их на мелкие клочья и снова писала. И требовала таких же заявлений от него, иначе судья не примет дело к рассмотрению. Он делал вид, что соглашается, обещал написать завтра, потом послезавтра, пока она не забывала о письмах, увлечённая новой идеей — переехать к жившей в другом городе матери, чтобы «отдохнуть от тебя».

Он спрашивал у неё, как быть с детьми, если судьба мужа её не волнует, возьмёт она их с собой или оставит на его попечение? — «Учти, целыми днями меня не бывает дома...».

Она растерянно умолкала и, холодно пожав плечами, говорила, что как-нибудь всё устроится или, наконец, она подумает. Пока и это не забывала, задумав что-нибудь новое, такое же странное и романтическое, в духе старинной усадебной литературы... Спровоцировать у неё вспышку ненависти и смятения могло что угодно, любой пустяк, образовавшийся, как правило, на пустом месте.

Но в этот раз сорвалась Рая уже в городе, после отпуска.

XI

Домой они вернулись после полудня, вывалившись из такси всей семьёй и с вещами. Расплатившись с водителем, Малахов подхватил тяжёлые чемоданы, а дорожную сумку неслла до дверей квартиры Рая. В прихожей он протянул руку, чтобы ей помочь, и она вскипела.

«Не трогай меня! — вскричала она, и глаза её налились слезами. — Я тебя ни о чём не просила! И замуж за тебя не собиралась! Ты сам вошёл в мою жизнь, я о тебе даже не помышляла! Не мечтала о таком рыцаре в кавычках! И что этот «рыцарь» мне предложил? — Скуку! Ты скучный человек, Малахов. Всю жизнь я только и думала, как от тебя уйти! И только дети мешали мне сделать решительный шаг! Лучше бы я вышла замуж за нашего главного инженера, он давно предлагал мне развестись и уйти к нему...»

Что-то она говорила ещё, грубое и обидное, от чего Малахов краснел, опускал голову и не осмеливался ей возражать. Не потому, что сказать ему было нечего. Но оттого, что за глупыми полудетскими её обидами он видел правду, скрывавшуюся за нелепыми фразами. И от неё, правды, он замирал, как обездвиженный большой, и слабел, как люди слабеют от всякой правды...

И жизнь Малахова после отпуска окончательно и бесповоротно приняла прежние черты. Вернулась на библейские круги своя, и он понял тщету усилий что-либо изменить и исправить...

XII

Обосновавшись в номере, Малахов зачем-то принял душ.

Дорога морем не была пыльной и грязной, даже напротив, чистой и свежей. Но ему хотелось начать новую жизнь точно так же, как он начинал её дома, в очередной раз помирившись с женой — с утреннего (теперь, правда, вечернего) омовения и ужина, похожего на завтрак.

Ванная комната ему не понравилась, что несколько умаляло ритуал приобщения к новизне; она казалась чужой, как и раздражавший его запах гостиничного средства от насекомых. Махровое полотенце было не новое, жестковатое и пахло тоже чем-то специфическим, казённым. Вместо мыла в мыльнице валялся крохотный обмылок сиреневого цвета, и запах у него тоже был сиреневый, весенний... Новая жизнь наводила на него тоску и уныние.

Никуда не спеша и обдумывая привычную свою сиротливость — она и здесь его не оставляла — он постоял под тёплой струёй воды, брезгливо вытерся жёстким полотенцем... Одевшись, прошёлся по неприятно щетинистому ковру и стал обдумывать завтрашний день.

Женщина на теплоходике сказала ему, что обратный рейс утром, в семь часов. Значит, в половине шестого, прикидывал Малахов, надо быть на причале. Вдруг соберётся много народу, и он не успеет купить билет? И от мысли, что он может опоздать и останется здесь ещё на одну ночь, он испытывал сильное беспокойство.

Остаться, впрочем, ему не позволял ни милиция, ни гостиничный администратор, что окончательно делало его положение безнадёжным.

Что ж, думал он, образовавшийся тупик хороший стимул для принятия верного решения. Во что бы то ни стало он должен успеть на утренний рейс. Сейчас он спустится в ресторан, плотно поужинает, чтобы утром проснуться сытым, а потом крепко уснёт. Время ночью пройдёт быстро, и он не заметит, как утром окажется на причале, одним из первых купит билет на теплоход и вечером уже будет дома. Ему было стыдно за свой поступок, за то, что он так легко бросил дом, семью и отправился неизвестно куда. Привычный домашний быт, дети... Как это всё-таки хорошо, даже постоянные ссоры с женой уже не казались ему ужасными. Он с тоской подумал об оставшейся дома семье, как они там сейчас без него, одни... Дети наверное плачут и пристают к матери с вопросами, когда придёт папа. А она, растерянная, не знаящая что им ответить и что подумать, торопливо и с затаённым страхом успокаивает ревущую детвору:

«Всё хорошо, дети. Папа скоро придёт. Обязательно придёт...»

Вздыхнув и признав, что встряска, вызванная его бегством, всё-таки для них полезна, он стал одеваться на ужин.

XIII

Ресторан на первом этаже гостиницы выглядел как все подобные заведения в провинции — торжественные мраморные ступени,

тяжёлая массивная дверь и огромный банкетный зал с красной дорожкой, разделившей надвое ряды столов, покрытых белоснежными скатертями. В мраморном холле традиционные чахлые пальмы и огромная люстра, как античный рок нависавшая над входящими...

Спустившегося вниз Малахова удивило царившее в холле оживление. Гудели множество мужских голосов, сияло золото офицерских погон, а в пустом зале скорбно повизгивала электрогитара и раздавались органные переливы синтезатора — музыкальный ансамбль, тоже из военных, настраивал инструменты и усилительную аппаратуру.

Едва Малахов сошёл с лестницы, как музыканты грянули весёлую музыку, и толпа из холла, как по команде, устремилась в зал. Похоже, ресторан в этот вечер был арендован по случаю какого-то торжества.

Малахов протиснулся с толпою входящих в зал офицеров, выискивая свободное место. Но места были расписаны заранее, и военные, все как одни с новенькими лейтенантскими погонами, уверенно их занимали.

«Наверное, празднуют выпуск из училища, — подумал Малахов, вспомнив, что неподалёку от города находится училище военных лётчиков.

Грохотали дружно отодвигаемые стулья, молодые люди оживлённо переговаривались и смеялись.

Заскрипел, заскрежетал микрофон, и молодой человек в мундире что-то хрипло стал возглашать.

Малахов пробирался сквозь весёлый мужской бедлам — кое-где мелькали и женские лица, — выискивая глазами, где бы ему присесть.

Круглолицый офицерик с микрофоном рявкнул «Ура!», бокалы и рюмки зазвенели, и опять грянула музыка. Распорядитель объявил первый танец — в честь кого и чего, Малахов не расслышал.

На танцполе, где он ненароком оказался, его теснили и выталкивали, и от шума, громкой музыки и толчеи Малахов словно оглох. Он жалко и беспомощно озирался, призывая кого-нибудь на помощь.

У дверей в служебное помещение он протиснулся к официантке.

«Где я могу присесть?!» — прокричал он ей в ухо.

Та помотала головой:

«Посторонних мы не обслуживаем!»

«Я постоялец! — закричал ей Малахов. — Мне нужно поужинать, у меня рейс!..»

«Ресторан на спецобслуживании. Свадьба!»

«Прошу вас, пожалуйста!»

«Из какого вы номера?»

«Из двести пятого...»

«Я спрошу у администратора!» — кивнула официантка и скрылась за ширмой.

В зале бегали другие официантки с подносами, музыка играла что-то простецкое, разухабистое; звенела посуда, раздавались выкрики и здравицы в честь новобрачных, и у Малахова от шума и гама кружилась голова.

Знакомая официантка поманила его за собой и указала возле эстрады столик администратора:

«Я вас обслужу, только быстро. Что будете заказывать?»

Малахов попросил двести граммов коньяку, бифштекс с яйцом и жареным картофелем и «какой-нибудь салат. И чёрный кофе...»

Коньяк он выпил сразу, и переносить бурлившее вокруг празднество стало значительно легче. В больших, весёлых компаниях он остро чувствовал своё одиночество, но сейчас ему было всё равно. Он жевал бифштекс, хрустел капустой и добродушно поглядывал на танцующих.

Центром всеобщего внимания была молодая, раскрасневшаяся от вина и танцев девушка в белом платье. Вокруг неё так и вились молодые люди. Круглолицый офицерик, подскочив к ней, поцеловал ей руку. Танцующие образовали вокруг незнакомки хоровод, и она весело кружилась, задорно помахивая платочком.

Малахов ею залюбовался. С завистью смотрел на красивое, оживлённое лицо, восхищался её детской радостью и грацией. Таки-ми жизнерадостными бывают только очень молодые женщины, у которых вся жизнь впереди. Почему-то он был уверен, что её жизнь не в пример его, тяжёлой и сумрачной, будет безоблачной и счастливой. Он так на неё засмотрелся и так замечтался, что на глаза его навернулись слезы. В молодой женщине он видел то, что им самим было давно утеряно — когда и как, он даже не заметил. Жизнь, молодость, счастье были похожи на песок, просыпавшийся из ладоней. Оказывается, когда-то давно он был счастлив, но глаза у него были закрыты, и он даже не заметил, как лёгкое скольжение песка меж пальцев его руки прекратилось. Когда видишь чужое счастье, кажется, оно принадлежит и тебе, каким бы далёким оно не было. Казалось, стоит ему подойти к танцующей красавице, как всё, о чем он думал длинными, бессонными ночами, в мгновение ока исполнится. Станет такой же явью, как она сама, с русскими широтой и размахом танцующая нелепую бразильскую ламбаду. И с такой любовью ко всему на свете, что у него перехватило дыхание. Это была она — та самая женщина его желаний, являвшаяся в его снах и мерещившаяся наяву. Он так обрадовался, что заказал опекавшей его официантке еще сто граммов коньяку, — был уверен, что пришёл его день, и это событие надо отметить.

Официантка принесла коньяк и попросила его рассчитаться — давала понять, что засиживаться здесь ему не стоит. Но ему так было тепло в переполненном молодёжью зале, что, думалось, все его поймут и не осудят — строгая официантка и её начальница, молодые офицерки, то и дело подходившие к столам, чтобы торопливо выпить и закутить и снова броситься в танцевальный омут...

Малахов поднялся и нетвёрдым шагом направился к танцполу. Молодая незнакомка была там же, казалось, она не уходила совсем. Но теперь она была рядом с ним, он близко видел её румяное вспотевшее личико, беспорядочно разбросанные по плечам каштановые волосы, мутные от танцевального буйства глаза...

Он вошёл в круг и перехватил её у партнера, танцевавшего, как показалось Малахову, не очень умело и не очень красиво. Он умеет значительно лучше, изящнее, — рыцарственнее!

Она не удивилась, не отклонила его, а легко и естественно заскользила в его объятиях, как будто давно его ждала. Он восторженно сжимал одной рукой её мягкую, полноватую талию, а другой поддерживал маленькую вспотевшую ручку — танец был медленный и — блаженный! Его умиляли её детская покорность — он вёл её как хотел и куда хотел; робкий взгляд — она изредка бросала его на Малахова, словно спрашивала разрешения на нечто большее; её маленький рост — она приходилась ему по грудь, у него никогда не было таких маленьких и хрупких женщин, и он бы дорого дал, чтобы эта женщина осталась с ним.

XIV

Очнулся он от мысленного обладания этой женщиной, её маленьким тёплым телом, когда понял, что его настойчиво от неё отирают.

Два расхристанных офицера вели себя довольно грубо — один, крепкий, как квадрат, танцуя, бесцеремонно подставлял ему спину, едва он приближался к незнакомке, а другой, белокурый, намеренно толкнул его плечом и не извинился.

Он возмущился и оскорбился. С пьяной энергией попытался вернуться в круг, чтобы отвоевать утраченные позиции, но офицеров становилось всё больше, маленькая женщина уплывала от него всё дальше в сторону эстрады и мигающих огней. А потом и вовсе исчезла из вида, и Малахов растерянно озирался.

Но её нигде не было. Он топтался на сразу ставшем свободном танцевальном пятачке, музыка играла непрерывно, как будто завели музыкальную машину, и Малахов бессмысленно бродил среди танцующих, ища ту, кто была нужна ему как воздух. Или как живая вода, так было бы вернее. Его отталкивали — иногда случайно, а иной раз откровенно и грубо, раз или два он не выдержал и яростно отпихнул обидчика. И принялся расталкивать толпу, где все смеялись, и один раз ему сделали подножку, от которой он упал и не мог подняться...

Пришёл Малахов в чувство на улице. Его окружали молодые люди, много людей; они блестели новенькими погонами, слепившими ему глаза. От сильного удара в лицо он пошатнулся, головокружение усилилось, однако он удержался и упал только после второго или третьего удара — их он уже не считал, так беспорядочно и однообразно они на него сыпались и сыпались. И опять он впал в забы-

тьё, и очнулся некоторое время спустя в номере, на своей постели. У него сильно болело лицо и что-то липкое текло по губам и подбородку. Он догадался, что это кровь, и приподнялся, чтобы сходить в ванную и умыться, но женский шёпот его остановил.

«Лежи, миленький, лежи...»

Что-то холодное и приятное коснулось его лба — это женщина влажным платком — «откуда здесь женщина, кто она такая?» — лихорадочно вспоминал Малахов — вытирала ему лицо и лоб.

В номере было темно. В коридоре слышались громкие голоса, кто-то протопал мимо его номера, кто-то забарабанил в дверь. И снова раздались шаги, и наконец всё стихло.

«Кто вы? — спросил Малахов, когда женщина положила ему на голову, слегка притоптав его руками, тяжёлый холодный компресс. — Я вас не знаю...»

«Я тоже вас не знаю, — он почувствовал, что она улыбнулась. — Мы вместе танцевали...»

«Но кто вы? — по-детски удивился Малахов, вспомнив маленькую танцовщицу. — Как вы оказались в моём номере?»

«Пришла, чтобы вам помочь. Вас очень сильно побили...»

«Кто меня бил? — застонал Малахов; у него болела губа и кровоточил распухший нос.

«Друзья моего мужа. И муж тоже...»

«Какие друзья? Вы разве замужем?»

«Ну да, — засмеялась незнакомка. — Сегодня первый день. Это была моя свадьба.»

«Почему вы не с мужем...»

«... а с вами?»

«Ну да. Так не должно быть!»

«Разве вы этого не хотели?»

«Наверное, хотел, я не помню.»

«Эх, вы... — вздохнула она. — Лежите и не вставайте, я сменю компресс».

Она встала и включила в ванной свет. Теперь Малахов видел её всю. Она была в том же белом платье, в каком танцевала на свадебном вечере, но сейчас вид у неё был совсем другой, спокойный и будничный. Даже немного печальный, и она совсем не была похожа на весёлую, жизнерадостную женщину, какой он видел её в банкетном зале.

Присев на кровать, женщина стала смачивать ему лицо холодной тряпицей. Вода была холодная, и кровотечение из носа должно было прекратиться сразу, но кровь почему-то шла и шла, и Малахов по-детски шмыгал носом и морщился.

«Почему вы здесь, а не с мужем? Он, наверное, вас ищет».

«А, пускай! — тихо засмеялась она. — Он перепил и ничего не помнит. И сам неизвестно где и с кем...».

«Вы его потеряли?»

«Не я его, а он меня. Когда его друзья выволокли вас на улицу и стали избивать, я выскочила следом. Хватала Дениса за руки, чтобы он перестал. Но он бил вас и бил, и я думала, что убьёт. Как будто это может что-то изменить... Потом они ушли, а я помогла вам встать и привела в номер...»

«Как же вы нашли мой номер?»

«Да вы сами сказали! Неужели не помните?» — улыбнулась она. — Дежурной на этаже не было, и ключ я отыскала у вас в кармане...»

«Что теперь будет, — спросил он. — Не со мной, мне всё равно. А с вами?»

«Ничего не будет. Совру что-нибудь, — равнодушно сказала она. — Как и он мне...»

«Хорошо начинаете жизнь. Жалко мне вас...»

«А вы меня не жалейте. Как и я ни о чём не жалею. Как началось моё замужество кувырком, так и жизнь сложится.

«Не любите мужа?»

«Не люблю. Когда встречались, думала, что люблю. Потом поняла, что Денис не для меня. А я не для него, — мы оба заблудились. Но к тому времени уже написали заявление в загс, и отступать было неудобно и стыдно, — смущённо засмеялась она. — Решила, будь что будет, только бы не оставаться одной. Я ведь старше Дениса, и с каждым годом мои возможности уплывают. А когда мы расписались, поняла, что совершила ошибку. Но было уже поздно... А может, и не поздно, — тихо сказала она. — Никогда не знаешь, что в жизни поздно, а что — нет...»

«Это правда, — согласился Малахов. — Вы такая красивая и... добрая. Могли бы и по любви мужа найти».

«А где её взять, любовь. Чтобы она совпала? Кого любишь, те женаты. А кто свободен, тот не нужен. Невезучая я...»

«Я тоже, — подумав, отозвался Малахов. И так тяжела показалась ему открытость, что он отвернулся к стене и заплакал. Плакать он старался тихо, чтобы она не заметила.

Но она всё равно увидела и погладила его по холодной щеке.

«Бедненький, неужели вам так плохо?»

«Вы не представляете, — прошептал он, отклонив голову, чтобы она не видела катящихся по его щекам слёз. — Не уходите, — попросил он. — Если, конечно, это возможно».

«Возможно, почему же нет, — погладила она его по голове, и ему стало неловко, что волосы у него так себе, редковатые. Да и голова с плешивинкой, она его старила, и он стеснялся её показывать.

Но женщина гладила его и гладила, как будто ласкала шевелюру записного красавца из зарубежного кинофильма, и Малахов окончательно смутился. Ему казалось, что он не заслуживает не

только ласки, но и обычного, ни к чему не обязывающего внимания; она пожалела его, как жалеет ребёнка или мужчину, оказавшегося в беде, любая сердобольная женщина. Сейчас он успокоится, кровь из носа течь перестанет, а на голове рана засохнет и покроется коркой, у него хорошая свёртываемость. И когда он окончательно придёт в себя, она мило улыбнётся и попросится, пожелав ему скорейшего выздоровления, телесного и душевного. И никогда, никогда больше он её не увидит, не заговорит с нею. Он представил, что снова останется один и... запаниковал. Нужно что-нибудь сделать, — напряжённо размышлял Малахов. — Что-нибудь такое, из-за чего она могла бы остаться в номере. Он мог бы прикинуться умирающим, умирающих люди не бросают! Он не думал об её муже, о том, что он разыскивает пропавшую жену и поиски наверняка приведут его снова в гостиницу «Морская». И, возможно, к нему в номер. У неё возникнут проблемы из-за того, что свадебную ночь она провела не в постели с мужем, а с другим женщиной....

Но все мыслимые и немыслимые неприятности, могущие обрушиться на голову бедной женщины, не казались ему ужасными. Что они значили в сравнении с его бездомностью, сиротливостью и абсолютной ненужностью в равнодушном к его судьбе мире. Мире, до недавних пор состоявшем из жены, с которой он не знал, как ужиться, и детей, напоминавших ему пришельцев с других планет, такими они были чужими. Он никак не мог понять, почему плоть от его плоти оказалась ему враждебной, как плоть какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова. И что одинаковость крови ничего не гарантирует — ни любви, ни привязанности, ни душевного родства.

Незнакомая женщина гладила его немытую, с редкими, спутавшимися волосками голову, он с наслаждением ощущал прикосновение её тонких, слабых рук, и это было то вожаемое, что ускользало от него всю жизнь. Всю его долгую, скучную и тяжёлую жизнь, в которой он так мучительно искал теплоты и чего-то ещё, что могло за этим последовать...

Он так увлёкся мыслями о себе, что не заметил, как задремал. Женщина — он даже не спросил, как её зовут! — ужаснулся он в полудрёме, но тут же подумал, что это совсем неважно; — женщина, только что ласкавшая его тихим прикосновением пальцев, задремала тоже. Она лежала, прикорнув к его боку, не раздевшись, в белом своём платье, носом уткнувшись ему в подмышку, и была так тиха, что, казалось, она не спит, а плывёт на невесомом облаке. Он различал в полутьме комнаты очертания крупноватых бёдер, белизну по-детски поджатых ног и, улыбаясь, прикрывал глаза, отдаваясь во власть дремоты. Ничего у него теперь не болело кроме, пожалуй, разбитой и опухшей губы. Но эта боль не зна-

чила ничего в сравнении с царившими в его душе тишиной и лёгкостью. Ему хотелось, чтобы ночь эта, похожая на застывшую реку на летней заре, так что страшно в неё войти, чтобы не потревожить, — чтобы эта ночь длилась вечно. Ему не нужно было ничего — ни обладания спящей у него под рукой женщиной, ни слов любви, ни признаний в её вечности. Всё было сказано покоем и молчанием, похожими на абсолютное, невозможное счастье...

XV

Когда утром Малахов пробудился и вскочил, как толчка, при мысли, что он опоздал на теплоход, ночной женщины в постели уже не было.

За окном серело утро, — было, должно быть, не более четырёх часов, потому что солнце ещё не всходило.

Вероятно, — подумал Малахов, откидываясь на подушку, — она ушла недавно, так как в воздухе ещё стоял едва различимый запах её духов. Он не думал, куда она направилась, как её встретит муж и что последует дальше. Он так был полон ночным её присутствием, что дела житейские — «мирские», как он в шутку говаривал, — совсем его не интересовали. Конечно, он мог бы предложить ей уехать. Ну... куда-нибудь, мало ли куда люди уезжают! Или он останется здесь, они поселятся в какой-нибудь лачуге на окраине города, их здесь полно, и как-нибудь устроят свою жизнь. Он найдёт работу, сначала временную, а потом, когда оформит прописку, и постоянную.

И постепенно, шаг за шагом они порвут с прошлой жизнью и начнут жить заново. Как некоторые несчастные, переболевшие тяжёлой болезнью и чудом вернувшиеся к жизни. Закинув руки за голову, он размышлял обо всём этом, строил далеко идущие планы... И чем дольше думал и предполагал, тем фантастичнее они ему казались и под конец он мысленно рассмеялся, настолько нелепо они выглядели.

В сущности, думал он, я сочиняю жизнь, только кажущуюся новой. На самом деле старательно, как ученик младшего класса, переписываю набело то, что жизнь, прошлая, никчёмная моя жизнь, давным-давно записала в мой блокнот в порядке инструкции. Руководства для будущего действия, если таковое мне угодно будет совершить.

Но желать его — нет, он не станет, какой смысл повторять пройденное? Сейчас он поднимется, примет душ и, одевшись, выйдет не торопясь из гостиницы на пустую и скучную утреннюю улицу. Закурив, направится мимо дворника, подметавшего улицу, в сторону морского вокзала. Купит в кассе билет, пройдётся раз другой по полупустому причалу с кучкой пассажиров у трапа...

Женщина-диктор с утренней хрипотцой объявит посадку на теплоход, он усядется на старом месте — на корме возле ставшего от морского ветра, дождей и беспощадного южного солнца бесцветным флага и примется — ждать. Ждать, когда его путь, его маленькая одиссея подойдет к концу. Он увидит вдали, в морской дымке, родной город, и по мере приближения он будет увеличиваться в размерах и проясняться.

Вот и порт... И знакомые, родные улицы, и родные лица жены и детей, они взволнованы и радостны; дети визжат от восторга, а жена бросится ему на шею и поцелует, как, вероятно, целовала Пенелопа полузабытого, ставшего для неё почти чужим, но такого родного и желанного мужа...

Когда он устроился на теплоходе, и они вышли в открытое море, солнце уже взошло. Малахов обернулся напоследок.

Полоска удалявшего берега смутно темнела на горизонте. Выплывшее из моря солнце ярко её осветило, и это было всё, что осталось от его маленького приключения в городе, которого, как и женщину, проведшую с ним ночь, он даже толком не разглядел.

30 декабря 2018 г.

Сергей СЛЕПУХИН

/ Екатеринбург /



* * *

Того гляди, осыплется, как ты,
недолгий век — обмерок и суглинок,
бессмертника пустынного цветы
скрипят песком из боковых корзинок.

Непоправимый жухлый желтый цвет,
как фотоснимок, больше не похожий,
несется время времени вослед
и остывает под желтушной кожей.

Каким надуло ветром эту дурь —
бессмертник теревить как мысль о смерти?
Ноябрь, хандра, ненастье, серость, хмурь,
и большегруз, ползущий из Сысерти.

* * *

Памяти Саши Петрушкина

Там кто-то наверху опять берет лопату
и сыплет спелый снег на головы пернато,
скрипит под сапогом, в ладонях догорает
февральский алфавит, зачем — никто не знает.

Наверное, в Тыдым бомж Велимир-Кузнечик
отары белых слов ведет, как Бог овечек,
с изнанки нараспев судьбу твою читает,
снежинкою летит и на ладони тает...

И с ним растает мрак, тобою обретенный,
безлюдье, немота и вакуум бездонный,
ты превратишься в свет, что медленно ложится
на озеро и дом, на валенки и лица.

* * *

Сердце билось, бухало в ушах,
тишина враждебностью пугала,
боль бессилия, непостижимый страх,
бездна в топких складках одеяла.

Выпад — колющий удар — туше...
Я проснулся, чиркнул зажигалкой.
Мысль плыла неясная в душе,
но пропала... Не запомнил, жалко...

НОЧНОЙ ЭСКИЗ. ИЗ ВОРДСВОРТА

Блеснёт, как молния, из края в край,
клюющий носом странник встрепенётся,
был нуден путь, замылен глаз, и вдруг —
над головой Луна плывёт во Славе!

Скользит в небесных кладезях индиго,
а следом звёзды — мелки, яркие, остры.
За нею следуй, пусть она ведёт!
Но не угнаться... Только б не исчезла!

В листве трепещет ветер. Тишина.
Мираж уходит далеко-далёко,
в сопровожденье белых облаков
в глубины упадёт непостижимо.

Виденье скрылось, успокоен разум,
угас восторг и чувств не теребит,
на сцене мирное спокойствие законно
царит опять единственною музой.

УТРАТА

Мой день один —
отныне неделимый,
в нем вечна неостывшая любовь
к тебе, дитя — погасшая звезда!

Разгул ударно-медных духовых,
озябшая душа... Не приютиться
среди непричастных, пришлых и чужих
отринутой, до срока опустевшей.

Всё машинально — я отныне кукла,
запаздывает речь, иссякли слезы,
в толпе прохожих потерялся мальчик —
мой сын, мой первенец,
мой сбывшийся, желанный.

Из хлева вяло выползает солнце,
большая птица кружит и хохочет,
спокоен Ирод: «Бабы — нарожают»,
и вопли не стихают над дорогой...

Скрипачка Майя, Вифлеем фламандский,
распяты мельниц, всадники в кафтанах,
вступает «Царь дрожащего творенья»,
и вызывает материнский гнев.

Из-под высокого сопрано — мрачный возглас,
гремит безжалостная медь, не остывает,
мать требует от Бога воскресенья,
чернеют ноты на ее листе.

* * *

Как пламя по запальному шнуру,
пришла беда, помеченная чёрным,
всё в крошечную сузилось дыру,
а было — и свободным, и просторным.

Там, в небесах, творится чёрт-те что,
в завесу плотную надолго солнце село.
И за окном не шелестит авто,
и воробей щебечет оробело...

Зверь в клетке, спёртый воздух, зеркала.
С самим собой — что может быть ужасней?
В напрасном бормотанье «как дела?»
ты с каждым днём становишься опасней.

Бессилие ума... Один, один!..
Свет волчьих глаз и никакого жара!
В непобедимом слове «карантин» —
печальное выхватываешь: «кара».



Тамара ВЕТРОВА

/ Париж /

ЧАСЫ НАД СКВЕРОМ

Кто не видел часы над сквером, круглые и неизменные, похожие на запыленную луну? Их поместили на столб чуть менее шестидесяти лет назад, и с той поры они приросли к столбу и возвышались над тополями зимой и летом одним цветом — бледные, с крупным циферблатом и беззвучным ходом. Про них, считай, позабыли — сквер не вокзал, чтобы беспрестанно глазеть на часы... И вот однажды осенью под часами оказался человек в черном расстегнутом пальто, высокий, сутулый и бездеятельный. Он несколько раз бросил взгляд на часы, висящие над головой, после чего поднес к глазам левую руку, видимо сверяя время. Затем усмехнулся, пожал плечами и, отвернувшись от часов, поднялся по каменным ступенькам в сквер. Там, по-прежнему сутулясь, уселся на первую скамью неподалеку от входа и вытянул перед собой длинные ноги.

Звали длинноногого в пальто человека Сергей Мазаев, пятидесяти пяти лет, пенсионер по болезни, которая — в чем он не сомневался — унесет его жизнь в считанные месяцы. Однако время шло, а мрачный диагноз, хотя и волочился за Мазаевым, не особо давал себя знать. Быть может, это был хитрый трюк, который болезнь проделывала над беззащитным человеком? Сергей и раньше не был веселым или беззаботным, а теперь настолько помрачнел, что его лицо, казалось, выглядывало из глубокой тени, как бы из сумерек, сгустившихся вокруг нескладной фигуры.

Не добавляло оптимизма и одиночество последних лет. Расставание со второй женой, двое взрослых детей, навсегда покинувших город, смерть родителей, с необыкновенной грустью ушедших из жизни один за другим. Грустили они, мрачно рассуждал Сергей, главным образом из-за него. Как будто он одинокий покинутый мальчишка, оставленный ими без присмотра. Но не так ли оно было на самом деле?

Что скрывать, Сергей жалел себя. Жалел жизнь свою, поначалу успешную и даже яркую. Под облетающим сквером собственная

жизнь воображалась Мазаеву таким же облетевшим деревом, как это вон над головой... В восемнадцать лет он был мастером спорта по волейболу, затем получил предложение играть в питерском «Зените», одновременно — поступил в питерский же институт — не менее престижный, между прочим, чем упомянутый «Зенит»... От последнего, однако, пришлось отказаться. Сергей любил спорт, но ежедневные тренировки два раза в день ввергли его в такое уныние, что краснодарская бабушка, забрав внука на лето к себе, три месяца отпаивала мальчишку парным молоком и откармливала парной же свининой... После краснодарского молока он, к слову сказать, так и не пришел в себя. В «Зенит» не сунулся, да и институт поменял на городской филиал, на веки-вечные обосновавшись в маленьком городке (именуемом в ту пору «ящиком», или «объектом»), в недурной двухкомнатной квартире и рядом с родителями. Теперь их некогда элитный городок помирал, как будто заполучил тот же диагноз, которым разжился Сергей. И внешнее, весьма относительное благополучие тут, право, немного значило...

В тишине осеннего желтеющего сквера Сергей Мазаев кое-что обдумывал. Этой своей думой он нипочем не поделился бы ни с одним человеком. Хотя бы и потому, что был не глуп и даже мысли не допускал быть принятым за дурака, пусть и теперь, на пороге близкой смерти. Прикрыв глаза, он видел циферблат часов над сквером. Ему чудилось, что, сколько себя помнил, он только и видел, что эти часы. Они светились перед мысленным взором, как луна в вечернем небе. Но имелося обстоятельство, дополнявшее этот навязчивый образ. Мазаев уже несколько раз подмечал, что часы над сквером показывают одно и то же время — 17–24. Вначале не задумываясь особо, Сергей просто проходил мимо. Затем, мимолетно, сказал сам себе, что удивляться нечему: часами никто не занимался, и, само собой, они встали. Да так и стоят, никем не замеченные. Никто на них и глаз не подымет, все и так при часах. Да вдобавок телефоны...

И все-таки однажды, с полгода назад, Сергей, столкнувшись под часами с давним знакомым, между делом проронил:

— Отработали часики... Понятно, ветераны уже, пора и на покой.

Знакомый мимолетно глянул вверх и пожал плечами.

— Да нет, — заметил он. — Тикают пока.

И понес какую-то чепуху насчет того, что — с часами ли, без часов — а город совершенно запустили. Их вон дом на Орджоникидзе треснул натурально — черная трещина по внешней стене такая, что мышь проскочит.

— Однако не чешутся, — заключил он.

Сергей Мазаев пошел прочь, медленно переставляя длинные ноги. Ему хотелось повернуться, чтобы установить, стоят ли часы или, черт возьми, все-таки идут — но он счел этот порыв проявлением неврастения и поплелся дальше.

«Не хватало только, — сказал он себе, вернувшись домой, — чтобы для всех эти часы шли, а для меня — стали. Техника на грани фантастики».

Дома Сергей ответил на звонок бывшей жены, молча выслушал, что ее деньги от продажи садового участка тают, а Женька наметила свадебное путешествие то ли на Крит, то ли на Кипр, она вечно путает, так ведь свадьбы пока не было, слабо возразил он, но жена, кажется, замахала с той стороны телефона руками, затем вдруг принялась всхлипывать и неожиданно заключила довольно зло, что от него толку, как сам знаешь от кого, одно и то же, что говорить в пустую трубку. Мазаев вяло пожал плечами, часы над сквером бледным контуром реяли в усталой голове, а у его жены неприятный голос, как только он раньше не замечал. Красивая женщина, а голос, как несмазанная дверь.

Чувствуя усталость и слабость, он уселся прямо в коридоре на стул и молча уставился в полу-отворенную комнатную дверь. Где бы найти такое вот укрытие, такой угол, где ты будешь недоступен телефонным звонкам — редким, правду сказать, а толку? Один такой звонок высасывает твою жизнь, вон натурально ноги подкосились...

Пересилив себя, Мазаев, на ходу снимая пальто, вошел в комнату, затем, поколебавшись, в кухню. Но есть не хотелось, хотелось спать. Помру, она и не заметит, и никто не заметит, в который раз остро жалея себя, подумал человек.

Продолжая лелеять в душе эту жалость, он автоматически поел и прикинул, не отказаться ли от телевизора, а взять да и лечь спать. Но все-таки автоматически потянулся к пульту. А то совсем уж как в больничной палате, недовольно буркнул Сергей.

Из форточки веяло осенним ветром, гниющими листьями и едва уловимо — близкой помойкой. Эта смесь запахов подействовала на телезрителя угнетающе. Он фыркнул, заворочался в кресле, закрыл глаза, демонстративно отгораживаясь от телевизионного мира, но тут ему стало не до этих нюансов, потому что заболела спина, да так грозно, что он, позабыв про телевизор и про помойку за окном, сжался в своем кресле. Ему пришло в голову, что если боль будет нарастать и вдруг сделается нестерпимой, — что тогда? вызовет «скорую», это понятно... А боль, предположим, не отпустит, и после обезболивающего не отступит — что, что будет тогда? Покрывшись холодным потом, Мазаев сидел, сжавшись, в кресле, под колпаком собственного ужаса. Затем он встал. Больше спина не болела, ничего не болело, но память об этой боли навредила на мысль о бегстве. Куда?

Усмехаясь и вытирая пот, Сергей Мазаев вышел на вечернюю улицу.

Перед домом зажегся желтый прожектор — недавнее новшество, предназначенное спасти жителей от слепого путешествия по ночному двору.

Сергей пересек залитый желтым светом двор и вышел на пустынную улицу.

В голове бродили случайные мысли. Вообще — вечерняя прогулка, сама по себе, — неплохая идея... По совести говоря, ему следовало гулять ежедневно. Глядишь, сон будет крепче, и неврастения как-нибудь утихнет... Однако прогулка по вечернему городу, в котором властвует один лишь ветер, да листья, кружась, летят в лицо, будто огромные засохшие бабочки — так ли уж хороша идея таких прогулок? Поди знай...

В конце концов дорога привела Сергея Мазаева к ступенькам городского сквера. Над головой бледным пятном, в бликах уличного фонаря, светились часы. Конечно, они стояли — стрелки показывали знакомое время: 17 с чем-то часов...

Однако на вечерней улице эти часы никак не тронули мнительного Мазаева. Усевшись на скамейку в сквере, он погрузился в размышления. Его мысли, будто крошечные безликие человечки, побрели знакомой узкой тропинкой. Идея, похожая на фантастический рассказ, уже некоторое время занимала воображение Сергея. Слушила психологической палочкой-выручалочкой. Являлась примерно тем, чем бывают для усталого человека мысли о летнем отпуске, о поездке на море. Эта был забавный сюжет бегства в параллельный мир. А параллельных миров — если верить теории, — существует несметное множество. То есть буквально: один мир опережает, либо отстает от нашего мира на какую-нибудь миллионную долю секунды, другой — на две таких доли, и так далее, до бесконечности. Возможно, Сергей Мазаев попал под воздействие этой ненаучной фантастики, будучи в том положении, в каком другие люди поворачиваются к религии. Однако в реальность бога верилось куда с большим трудом, чем в параллельный мир. Оставалось как-нибудь туда ускользнуть. Быть может, повторить опыт, описанный в рассказе Герберта Уэллса «Дверь в стене»? Найти стену и дверь, и дело с концом. Мазаев засмеялся и закашлялся. Спина ответила глухой короткой болью. Порыв ветра взметнул стайку листьев, сметенных дворником в кучу. Одновременно в нос ударили крепкие запахи близкого дождя и тлеющей листвы. Становилось прохладно, и Сергей направился к выходу. На предпоследней каменной ступеньке он зацепился носком ботинка о выступ и едва не упал. Но удержался и, балансируя и ругаясь, проскакал пару шагов на одной ноге. Одновременно с этой неприятностью стало темно. Погас желтый фонарь над часами. Теперь улица перед сквером если чем и освещалась, то лишь рассеянным звездным светом. Чувствуя скованность в движениях и стараясь вторично не запнуться, Сергей медленно двинулся в сторону дома. Но кое-что остановило его. Над улицей плыл странный зеленоватый свет, или лучше сказать — в темноте шарил длинный зеленоватый луч, будто от далекого маяка или прожектора. Удивление Сергея помаленьку проходило. Вообще,

словно высвеченные зеленым светом, мысли приобретали новое направление. По каким-то неизвестным причинам Мазаева перебросило в один из множества миров, малообитаемый и странный, но, надо думать, с собственными физическими законами. Существует ли, например, в этом мире смерть? Боль в спине, столь сильная, что лишает человека мужества подняться с дивана? Страх, тоска? Зеленоватый таинственный луч медленно передвигался по городским улицам, выхватывая из тьмы здания, массив какого-то памятника, скамейку под деревом...

В этом мире, как убедился Сергей, тоже был вечер, переходящий в ночь; там тоже была осень, холодная и даже ледяная. Иплыли знакомые запахи тлеющих листьев. Это был точь-в-точь его собственный мир, но все-таки другой; молчание и бледные звездные огни придавали ему некоторую призрачность, но на то он и параллельный мир.

Сергей спросил, как ему казалось, довольно громко:

— Куда я попал?

Но не получил ответа. Да и не ждал ответа. Зато удостоверился, что он, действительно, переехал в параллельный мир. Тут он научился говорить, не открывая рта и шагать, не передвигая ноги. Последнее соображение подтверждал тот факт, что над его головой продолжали тихо светиться городские часы. Больше чем когда-либо, они теперь напоминали луну в осеннем небе. Глухо светящийся циферблат...

Марк ХАРИТОНОВ

/ Москва /



НАБРОСКИ

Лица

1

Лицо только что безразличное среди многих
Обогащается всем, что ты о нем узнаешь,
Как набросок художника обрастает историей
Его появления, рассказом о персонаже, изображенном событии,
Именем заказчика, покупателя, судьбой оригинала в музее,
Ценой на аукционе, числом вариантов, подделок...
Остальное уже безразлично, как сделанная наружность
Безымянных моделей в многотиражных модных журналах.

2

Лица обитателей тундры, жителей Амазонки,
Впервые слушающих скрипичный концерт Баха
На устройстве иностранных туристов,
Не зная ни имени автора, ни чьей-то культуры,
Ни места концерта в истории музыки,
Проникая в суть напрямую, подключаясь к тому,
Что существовало и будет существовать
Независимо от контекста, концепций...

Музыкальное

1

Музыканты, служители звуков,
Музыканты, властители звуков...
Взмах руки дирижера — посыпались из рукава
Голоса певчих птиц, уличный перезвон,
Гул моторов, переговоры прохожих,
Песни солдат марширующих, наигрыш
Граммфонных пластинок из распахнутых окон,
Неразборчивость слов...

2

Саморастущий собор восходит на органных дрожжах,
Мушиный порыв, кружевное жужжание, жалоба,
Паутина неслаженных скрипок, шуршанье теней...
Муравьиные стайки звуков уходят нотной тропой,
Перебирая линейки наискосок...

Перед уходом

Думалось: жить бы так, будто каждый день последний,
На пределе возможностей, не отвлекаясь на суету...
Но куда же деваться — подступают все те же заботы,
Надо снова платить за квартиру, а то не будет покоя,
Убирать неизбежный мусор, что-то готовить, стирать...

Смерть не пугает, когда жить становится неинтересно,
Нет замыслов, планов, идей, не о ком волноваться...
Окликает кто-то из еще не прожитой жизни —
Не заглядывай в вечность, можешь и не вернуться...
Рифы случайных рифм, навязанных ритмом созвучий
Обходишь как чужую подсказку, обманнный соблазн.

Елена МОРДОВИНА

/ Киев /



РЕБ ЦВИКА

(цикл коротких рассказов)

Руки Юдиты

За окном шел редкий, почти невозможный в Иерусалиме снег — то прерываясь, то снова начиная сыпать. Перед ребе Цвикой мелькали руки Юдиты — белые, как сметана, в пушистых волосках на про-свет, добрые, как у мамы. Юдита переговаривалась со своим отцом — старым мастером Меиром, который больше не мог стричь из-за того, что руки у него тряслись от Паркинсона. На помощь ему приехала дочь, которая последние пять лет провела в Уругвае. Меир поручался за ее ритуальную чистоту и убеждал ребе Цвику в том, что та делает все в рамках практической галахи¹. Реб Цвика только посмеивался в свою безупречно галахическую бороду. Он пытается убедить ребе! Впрочем, что будешь делать, если владельцу его любимой в Иерусалиме парикмахерской В-вышний послал дочку, а не сына.

Отец с дочерью переговаривались негромко. Голова ребе Цвики была откинута в мойке, мир перевернут, шея выворочена назад, ребе казался себе абсолютно беспомощным, как в младенчестве — эта вода и свернутая шея, и эти белые руки — он как будто только что родился. Он разглядывал бабочку на внутренней поверхности ее плеча, которое обыватели называют предплечьем — что-то еще осталось в памяти из курса анатомии. Разглядывал жилки и пытался вспомнить их правильный порядок — костальная, югальная — Дора должна помнить их все. Дора была самой лучшей у них на биофаке. Даже непонятно, как она выбрала его, последнего троечника. Вот

¹ Галаха — традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.

здесь должно быть ответвление. Крыло бабочки — это точная схема — здесь нет места фантазиям. И ведь это она уговорила его пойти учиться на раввина. Впрочем, о чем это он? Это же просто татуировка. Интересно, знает ли Юдита, что есть бабочка с таким латинским названием? Где-то в Южной Америке. Может быть, как раз в Уругвае.

Реб Цвика разглядывал цвета, которые растекались вокруг бабочки и должны были обозначать цветущий луг, но похожи были на синяк, как будто здесь, возле бабочки, ее хватанул горячий уругвайский бойфренд. Он ползет взглядом по ее руке вверх и видит след от оспы. Юдита — где-то их с Дорой ровесница, прививки от черной оспы в последний раз делали в семьдесят девятом.

Нет, у него не было в голове неподобающих мыслей. Но все-таки. Все-таки. Как она похожа на ту женщину, танцующую румбу. Сарагина! Сногсшибательная, современная, осознавшая свою мощнейшую сексуальную притягательность. Сарагина, посещающая фитнес-центр и танцкласс. Но с той же дикарской грацией, с тем же широким лицом, чувственными губами и прожигающим насквозь взглядом. Этот звериный взгляд, когда она всматривается — словно вцепляется — в волосы.

О, Сарагина! Он снова словно мальчик, упрашивающий ее станцевать румбу. Давай же, Сарагина! Тяжело отвести от нее взгляд, одновременно стараясь не забыть и не назвать ее не ее настоящим именем.

Какая она все-таки удивительная, эта Сарагина. Не более удивительная, впрочем, чем современный раввин.

Пожалуй, он не будет больше стричься в Иерусалиме.

Прости, старый Меир.

Толстый человек

Сегодня был удивительно жаркий, душный, хотя и пасмурный день. Одна из задних дверей синагоги, ведущая в хозяйственные помещения (а реб Цвика, конечно же, знал устройство своей синагоги), была распахнута настежь — и видно было, как в небольшой комнатке, похожей на ларек с шаурмой — в котором, впрочем, вместо окна раздачи была глухая стена — сидел очень толстый человек, их завхоз Натан, и что-то живо обсуждал с толпящимися рядом друзьями мужчинами.

Видно было, что он пользуется уважением, и без него никакие дела не решаются. И реб Цвика подумал о толстых людях — как они умудряются зарабатывать себе на жизнь, и притом, неплохо, это вам любой скажет, зарабатывать? Вот сидит он себе такой весь неповоротливый — ему надо пять раз в день хорошо поесть — и очень хорошо поесть, а некоторым еще несколько раз в день овладеть женщиной (знал он и таких, которым нужно было заниматься сексом не менее пяти раз в день).

Получается, целый день занят у такого человека едой и совоуплением, перевариванием пищи, страданием от жары, послеполуденным отдыхом. Так когда же? И вот в чем, показалось ему, разгадка. Обладай такой человек хоть каким-нибудь, пусть даже незначительным умением, талантом, способностью — он не продает его дешево. Иначе он не выживет. Если он умеет хорошо считать — он будет брать за это дорого, если тачать сапоги — то и очень дорого. Там, где другой побежит и сработает за копейку, и будет так потом всю жизнь бегать, толстому серьезному человеку В-вышний даст терпения и уверенности назначить серьезную цену. И он будет сидеть на своем месте. И самое удивительное — к нему потянутся люди. И будут стоять над ним вот так, как те четверо в тесной хозяйственной каморке синагоги, и ждать, когда он скажет свое слово.

Надо бы узнать, как он справляется в такую жару.

Может быть, поднять ему жалованье.

Пятый стакан на Песах

В школе для женщин в этот теплый весенний день было всего несколько слушательниц, которым с трудом удавалось настроиться на серьезные рассуждения. Да и сам реб Цвика казался сегодня ребячливым и легкомысленным. Балконная дверь была открыта, и молодые женщины, скинув свои легкие пальтишки, сгрудились все на первом ряду.

От сквозняка за шляпой раввина покачивалась бахрома. Вышитая золотом корона, обычно придававшая торжественности занятиям, сегодня, развеявая на ветру, только забавляла всех, как будто они готовились не к Песаху¹, а к веселому Пуриму².

Борода раввина была рыжей, но чуть окаймленной легкой сединой, словно ее опустили краями в молоко. Реб Цвика улыбался и щурился, когда на него попадал лучик солнца. Наконец, закончив лекцию о том, какие церемонии должны соблюдаться на праздник Песах, рассказал такую историю.

В первый раз реб Цвика побывал в Иерусалиме, когда его и еще троих мужчин, возвращавшихся к вере праотцов, отправили в Эрец Исраэль набираться новых знаний. Прочулись они там месяц. А компания попала такая, что среди них всех тогда еще довольно молодой Цвика проявил себя как лучший знаток традиций.

Один оказался бывшим уголовником. Этот огромный, волосатый, как Эсав, решительный человек к тому моменту успел пятнадцать лет отсидеть в тюрьме. Чтобы как-нибудь описать его характер, достаточно только сказать, что однажды на рынке его обчислил

¹ Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта, один из трёх паломнических праздников.

² Пурим — еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири, в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

один араб. Так наш Эсав взял того одной рукой за лицо, сжал его, как мочалку, и так и не отпускал, пока араб не выдал всю причитавшуюся сдачу.

Второй был зрителем кладбища, и у него имелся свой интерес в Эрец Исраэль, третий — ну, в общем, у всех у них знания еврейской традиции приближались к нулю. Кое-чему они, безусловно, научились.

И вот, через месяц отправили всех четверых в Хайфу. Приблизился Песах, и они должны были провести пасхальный Седер¹ в Доме престарелых.

А в Хайфе уже распустили слух, что из Иерусалима приезжают четыре хасидских мудреца.

Первые два дня наши мудрецы старались держаться вместе, делали так, как указывал реб Цвика, повторяли каждый его шаг и буквально заглядывали ему в рот. Что это за мудрецы, которые непременно должны держаться вместе? Заинтриговали они всех, конечно, тут уж ничего не скажешь. И наконец, в канун пасхального Седера посадили их по машинам и повезли в Дом престарелых. А дома эти, для зажиточных американцев, что переселились умирать в Эрец Исраэль, были похожи на пятизвездочные отели — с бассейнами, теннисными кортами. Целый район отелей — такой вот Дом престарелых.

Поглядел реб Цвика — вторая машина что-то отстала. Похитили, значит, сотоварищей у ребе, решили проверить, какие они мудрецы. Провел реб Цвика Седер честь по чести, на следующий день встречается с друзьями. «Как вы?» — спрашивает.

И все как-то выкрутились замечательно.

Особенно уголовник этот.

«Помню, вроде, — рассказывал он потом ребе Цвике, — что четыре стакана нужно пить, но почему-то вдруг кажется мне, пять. Ох, ребята, думаю, была не была — бахнул еще один. А после пятого стакана все так развеселились, что уже не считали».

Реб Цвика едва заметно улыбнулся, прощаясь со своими воспоминаниями.

— Итак, дорогие мои, — обратился он к ученицам. — Четыре бокала вина в пасхальный Седер, что они означают? Кто может мне ответить?

Случай в кукольном театре

Маленький Гриша сидел на ступеньках кукольного театра со старшим приятелем с их двора, который подрабатывал в театре актером — играл ноги Людоеда. Они смотрели на прохожих и курили. Точнее, курил только его друг. Был антракт.

¹ Пасхальный Седер — ритуальная семейная трапеза, проводимая в начале праздника Песах. Время проведения — вечер на исходе 14-го числа месяца нисана по еврейскому календарю.

Актер не всегда был актером. Сразу после школы он водил пятый трамвай вдоль Днепра — но на этой линии было много самоубийц, которые кидались на рельсы, поэтому Гришин друг ушел из трамвайного депо и стал актером.

Вдруг к кассе театра подъехал похоронный автобус, и евреи в черном, которых раньше Гриша видел только на картинках в дедушкиных книгах, стали заносить покойника прямо в кассовый зал. Из центрального входа, пробежав мимо них, выскочил высокий раввин в черной шляпе и направился к катафалку. На ступеньках стало очень много людей в черном.

— Что это у вас? — спросил Гриша. — Что это вы репетируете?

— Понятия не имею, что это. Я такого спектакля не знаю.

Гриша часто-часто заморгал глазами, но черные раввины не пропадали.

— Кто эти люди?

— Не знаю. Здесь когда-то была синагога, — актер потушил сигарету. — Но я таких раньше здесь не видел. Идем, антракт заканчивается.

Его старшего приятеля вообще ничем нельзя было удивить. Конечно, чем можно удивить человека, под колеса которому каждое утро кидались самоубийцы?

В полутемном зале кукольного театра уже расселись зрители — благодушные киевские старушки с внуками. Это был обычный будний день. Майские праздники уже прошли. Все взрослые были на работе. И в театр могли ходить только бабушки и дети. Из-за тяжелых бархатных кулис выскочил кот:

— Милости просим пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! — сказал кот.

Затаив дыхание, в зале замер маленький Гриша, будущий ребе Цви-Гирш.

Калабуховский дом

Реб Цвика хотел было уложить шляпную коробку в отделение ручной клади у себя над головой, но там все оказалось занято чемоданами, да так плотно, что некуда было и сунуться. Он решил поставить ее на колени, и все то время, пока рядом суетились и толкались прибывающие пассажиры, обнимал, как драгоценность, эту ферстеровскую коробку с тиснеными по черному велюровому картону золотыми буквами.

Однако стюардесса очень мило, впрочем, настойчиво, попросила его поставить шляпную коробку под сиденье, на что он медленно повел головой и продолжал сидеть так, сохраняя спокойствие и достоинство. И никто уже не смел потревожить его.

Вся эта суета вокруг напоминала ему пригородный поезд из Касриловки в Егупец, описанный Шолом-Алейхемом в ранних юношеских рассказах.

Дора его сидела впереди, так пока и не сняв жакет с меховой опушкой. Отсюда он видел только ее шляпку, похожую на клумбу с хорошенькими цветочками — розовыми, фиолетовыми. Она тоже восседала с достоинством и не суетилась в попытках контролировать двоих сыновей, путешествовавших с ними, а также невестку и детей старшего, который сейчас стоял в проходе, помогая мужчине с соседнего кресла уложить чемодан. К старшему подбежала его трехлетняя Ривка, и он спокойно, почти не склонившись, не суетясь, поднял ее одной рукой за подмышку, посадил к себе на руку, и продолжал разговаривать с соседом. Ребе Цвику больше беспокоил второй сын.

Тот еще не обзавелся собственной семьей, но хотя и был, как положено сыну раввина, соблюдающим евреем, одевался очень по-европейски, и его цицит¹ едва виднелись из-под длинного пиджака. Он носил дорогие часы, как и сам реб Цвика, и перстень с черным агатом. Все это время он не сводил бесстыдного взгляда с блондинки, сидевшей через проход от него — взрослой уже, двадцатипятилетней, наверное, не меньше, холеной кобылы с накачанными губами и блядскими манерами. Младший просто таял, глядя на нее. Он отворачивался, громко вздыхал и снова переводил взгляд на кобылу. Но больше всего беспокоило отца то, что младший ни в коей мере этого интереса не скрывал — ни от окружающих, ни даже от него, ребе Цвики, своего отца.

Блондинка же тем временем все свое внимание сосредоточила на тощем ешиботнике², который пытался втиснуть на багажные полки свои прозрачные целлофановые пакеты, пузырящиеся от растянутых свитеров, упаковок с недоеденными чипсами и книг. Она незаметно сняла его на камеру айфона и принялась увлеченно строить, наверное, в инстаграм, потом отвлеклась и подозвала стюардессу.

Она что-то нашептывала ей, с нескрываемым отвращением укаывая на тощего студента. И все это время с нее не спускал глаз младший сын ребе Цвики. Затем он встал со своего места, что-то сказал замешкавшемуся в проходе ешиботнику и сел в его кресло рядом с блондинкой. Через минуту они уже о чем-то непринужденно болтали. Блондинка улыбалась.

¹ Цицит — в иудаизме сплетённые пучки нитей, которые обязаны носить мужчины с тринадцати лет и одного дня, если носят одежду с углами.

² Ешиботник — студент ешивы, института, являющегося высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда.

Реб Цвика проснулся, когда они уже были в полете. Кресла младшего сына и блондинки — через проход от него — были пусты. Реб Цви отстегнул ремень и прошел вперед к туалету. Пиктограмма хотя и сигналила красным о том, что туалет был занят, но он хотел оказаться первым в очереди. В туалете как будто долго одевался кто-то грузный — оттуда раздавался глухой стук и вздохи.

И тут вдруг он понял, почему оттуда так долго никто не выходит и куда делись со своих мест его, ребе Цвики, младший сын и холеная кобыла.

Вся жизнь его прокрутилась за одно мгновение как будто бы обратно, к первому курсу биофака МГУ, когда он чуть было не потерял свою Дору.

«Ой взй, — пробормотал реб Цвика. — Ой взй! Пропал калабуховский дом!»



Геннадий КАЦОВ

/ Нью-Йорк /

СТИХИ КАРАНТИННОГО ВРЕМЕНИ ФЕВРАЛЬ — АПРЕЛЬ, 2020

* * *

когда мы все умрём (читай, уйдём,
чтоб бранным словом ближних не коробить),
мы золотистым выпадом дождём,
как книжники, блаженные, пророки

нас встретит вход в душистый вертоград
и «шель захав» споёт в хрустальных латах
хор всадников — из всех земных утрат,
здесь всякой только бесконечно рады

раскроются янтарные врата
и мы вольёмся золотым потоком
в покой, где потрясает чистота
цветных жилищ, покатых крыш и окон

где шмель над клумбой вышним звуком чист,
чисты деревьев помыслы и корни,
и в каждого жильца запущен чип,
чтоб он не знал ни коклюша, ни кори

здесь не должно быть для тревог причин —
с запасом сахар выдают и мыло,
перчатки, маски: смерть есть карантин,
не худший из того, что в жизни было

04.17.2020

* * *

пойдём, побродим напоследок,
особо вдаль не уходя:
будь в январе — могли б под снегом
гулять без риска для себя

ещё ты помнишь январь-то?
пар изо рта, бычки в снегу,
под пневматические ритмы
из тёмных баров — трубный гул

во льду застывшее течение
дороги, — выгнутой блесной
соединившей на сочельник
фонарь с зажжённую луну

ещё, ты помнишь, вьюга злилась
днём на рекламные огни —
и это всё, скажи на милость,
кому мешало в наши дни

теперь весна — по списку, как бы:
грачи, ручьи и с яблонь дым...
при этом не коснись руками
ни в будни, ни по выходным

пиши, дыши, не смея выйти,
три запад, почешу восток,
покуда срок земной не вытек,
верней, покуда не истёк

сведи свой образ жизни трезвый
к нулю, ведь знать давно пора,
кто мажет ручки по подъездам
коронавирусом с утра

кто отмудохал наших старцев
и гадко запер двери школ?
живи, коль держишь ты дистанцию,
но кто-то ведь с неё сошёл

счастливчик, поминая всеу,
на кухне сядешь и нальёшь:
как это глупо всё, по сути,
и в частном случае, и сплошь

ещё придут какие беды,
ещё наслёт что календарь?
пойдём, побродим напоследок,
не уходя особо вдаль

04.16.2020

* * *

империи падают с громом,
пред тронем шатается трон —
за фатумом следуя скромно,
храни свой последний патрон

то кризис весенний наступит,
то кризис за ним нефтяной —
будь с ангелом зла неподкупен,
противься любую ценой

коль мор нападёт, предположим,
на город, и рубит с плеча:
не дрейфь, ты погибнуть не должен —
сам выберешь место и час

есть руки судьбы — будь в них рыбой:
скользи, не сдавайся, плыви...
стать жертвой — не может быть выбор
ни твой, ни твоих визави

04.03.2020

* * *

родовой уют пространства
компас выбирает север
посвятив августу стансы
что пожнешь то и посеешь

циферблат захлопнув пиццей
свой герундий трешь спросонок
как и в сказке о копытце
в след сливая кровь масонов

победителей не судят
выпьем с горя где же пушкин
дело как всегда в посуде
рюмку чашку пинту кружку

либеральный воздух марта
кошки пьют всю ночь с котами
карл на клару марк на марту
комиссары на каттани

лучше пива нет короны
крепче вируса нет пива
на песочных у харона
время для чумы и пира

с малой вёсельною силой
взяв на борт оон и нато
да со всем электоратом
дёрнем как их в эмираты
выше плотники стропила

03.03.2020

* * *

снег который не выпал
лёд на малую треть
в холод прошлого выдох
стылой лужицы смерть

не собравшийся в форму
в белых тенях сугроб
в чьём-то списке ай-фонном
номер твой между строк

по следам обещаний
неизвестный маршрут
там выходят с вещами
те кто больше не ждут

пёс грядущего встретит
им помашет хвостом
и завьюжит на свете
сразу этом и том

02.22.2020



Евгений КЕРЖНЕР

/ Пензенбург /

1989-й: ДО И ПОСЛЕ

Душа моя, игра на струнах...

Фридрих Ницше

1

Разбужен нервной побегой за стеной — соседи... Шум транспорта с улицы. И сразу всплывают звуки изнутри, во мне. Обычно отзвуки того, что исполнял в концерте накануне. Часто — обрывки из «Десятой». Во многих залах и на разных континентах вставала эта симфония вехой на моём пути, отмеряя, сколько пройдено.

Впервые приблизился к ней юнцом. Тогдашний шок — внезапно в эпицентре музыки: обрушились на новичка блеск труб, и посвист флейт, и сладость струнная, — захлёбывался в звуковых волнах, прежде чем смог соразмерять свой ритм с мощным дыханием оркестра.

Происходило это давно и далеко — в государстве уже не существующем. Там я овладевал премудростями ремесла, был принят в цеховое братство. И Дирижёра нет больше на свете — он олицетворял в наших глазах то государство, безмерную власть и поблажки для соглашателей. Собственно, оркестр являл собою вотчину с удельным князем во главе, а наш брат — где-то между вассалом и крепостным, разве что культурным. Правда, Дирижёр и сам подчинялся вышестоящему начальству. Но, досконально изучив систему, он искусно находил в ней слабые места и создал собственное государство в миниатюре, а уж там властвовал безраздельно. Осаживая недовольных и пресекая мятежные поползновения, подкармливал он тех, кто вёл себя послушно. А мы... нам приходилось принимать его благодеяния — куда ж деваться? Иначе было не выжить — скажем, добыть крышу над головой: жильё распределялась в тех краях спецучреждением, Дирижёру доступ туда открывался, для нас — никаких шансов.

От факта не уйти: в обмен на лояльность выстроил Дирижёр нам башню из слоновой кости — в неё скрывались мы от прелестей

повседневности (уж не попахивают ли эти заметки часом тоской собачьей о палке хозяина?) Верно, кровавые времена сменились «вегетарианскими», реже исчезали люди бесследно, как в эпоху Великого Людоеда; маловероятно уже было схлопотать десять лет тюрьмы за безобидный анекдот. И всё же мы не были глухи-слепы, знали, где обречены жить. Просачивались слухи, и запрещённая литература доходила — о психушках, куда упрятывали инакомыслящих, об арестах и ссылках в лагерь, — пусть даже такая информация тщательно утаивалась властями.

Тем более стремились мы к иной действительности — чистых звуков, вечных истин. Умник какой-нибудь упрекнёт: мол, донкихотство, схватки с ветряными мельницами! Пожалуй, но, чтоб не задохнуться в несвободе, нуждались в той действительности и мы, и наша публика. Подмостки ведь во всякий век — отличие; хоть мы на сцене мечены были той же печатью рабства, а всё-таки владели привилегией творить иллюзию из звуков — она служила всем убежищем, целебным эликсиром...

...Он никогда не болел, наш Арон. По утрам входил в тёмный зал — тускло поблёскивали лишь аварийные лампочки на входе — и раскрывал футляр, бережно извлекал скрипку из бархатного чехла, принимался разогревать пальцы пассажирами. Постепенно помещение заполнялось, вспыхивала огромная люстра под куполом, освещающая цветастый беспорядок брошенных там и сям курток, свитеров; говор смешивался с грохотом литавр, стенаниями гобоев и рудами валторн. Задолго до начала репетиции нашего концертмейстера — Арон занимал эту главную должность в оркестре — одолевало нетерпение. Он оставлял скрипку и хватался за что-нибудь, стараясь ускорить наступление заветного момента: помогал рабочим сцены или библиотекарю, раскладывая ноты. Когда же репетиция начиналась, готов был репетировать, похоже, бесконечно.

Так продолжалось годами, и, чего греха таить, нередко честили мы его про себя: у каждого и сверх того дел невпроворот, рвение подобное ни к селу ни к городу! Иные посмеивались над ним в глаза, а он не то чтобы злился — ожесточаться у этого мягкого человека просто не получалось — лишь взглядывал недоумённо: «О чём тут говорить? Это же музыка!» Впрочем, обидчики и сами вспоминали: «Служенье муз не терпит суеты!» — и отступали, поворчав, и всё равно его любили.

Ни для кого не было секретом, что концертмейстер наш — не столь уж блестящий виртуоз, но некоторые пробелы скрипичной техники искупались в его случае качествами душевными. Потетически ободрял он новичков, поддерживал отчаявшихся. Жертвуя с детства долгие часы изнурительным упражнением, редко кто из нас не вознаграждал себя в мечтах блестящим будущим и мировой известностью, и чуть не всех постигло отрезвление, стул за четвёр-

тым пультом в группе вторых скрипок казался катастрофой, роль винтика в сложной конструкции оркестра — издёвкой судьбы. Частенько случалось тому или иному гению не выучить положенное в срок — «что за беда, я создан для великого!». А концертмейстер и тут никогда не бранился, только смотрел удивлённо — и, как правило, у обделённых славой шевелилась совесть.

Предстояло нам однажды сыграть «Прощальную» Гайдна. Вы знаете, конечно, эту симфонию с особенным финалом: исполните ли неожиданно встанут друг за другом со своих мест и покидают сцену, пока не остаётся один-единственный скрипач. Задумано было такое намёком князю-работодателю: плати, наконец, жалованье надлежащее, не то разбежится твоя капелла кто куда! Возмущение, гневные инвективы в церемониальном корсете XVIII века. Дорисуйте в воображении, как оно смотрелось при папаше Гайдне: камзолы, парики напудренные, канделябры... И загорелось концертмейстеру устроить всю эту катавасию непременно с настоящими, не электрическими свечами!

Стояли в те дни свирепые морозы — проживали-то мы в Сибири. Лениво, разве что к полудню выкатывалось из толщи тумана бледное светило, а через пару часов опять темнело, небо становилось сизым, воздух леденел и поскрипывал на зубах. Бегу я домой, растирая непрерывно нос и щёки, чтобы не отморозить, а навстречу мне он — призраком сумеречным. «Ты что здесь делаешь?» — «Да понимаешь, проволока...» — «Что ещё за проволока?» — «Тут на стройке навалом проволоки валяется, мне позарез нужна, да как назло намертво вмёрзла в землю, не отодрать! Поможешь, а?»

Зачем понадобилось в стужу апокалиптическую пускаться в поиски? Оказывается, он собирался крепить свечи к нотным пюпитрам, и то ли подходящих кронштейнов в магазинах не нашлось, то ли денег на них... Проклиная в сердцах весь белый свет и Арона в частности, хватаюсь за эту проволоку. У нас не то что руки — рукавицы задубели, как уж мы намучились! Но откопали-таки один моток с Божьей помощью.

В концерте уходили инструменталисты по очереди, задувая каждый свою свечу, и в финале в полной почти темноте вздрагивал последний язычок пламени, освещая гаснущий голос одинокой скрипки. Повевало таинством, волхвами, Рождеством, мурашки пошли по коже, и я подумал: может, и вправду ничего не жаль ради подобного момента — «это же музыка!»

Он никогда не болел, а сейчас отсутствовал третью неделю. По слухам, вначале походило на обыкновенный грипп. От прописанных таблеток состояние вдруг резко ухудшилось — вроде какая-то несовместимость: покрылся весь сыпью и стал задыхаться. Срочно поместили в реанимацию, но что-то не срабатывало, и организм стремительно сдавал.

Репетиция не клеилась. Пальцы и смычки выполняли механически привычные движения, но мысли уносились далеко. Преходя-

ще всё в этом мире... с каждым может стать... а если не с самим, то есть жена, дети... Вспоминался тромбонист Х., молодой, здоровый — тенорок его задорный у всех ещё на слуху: в прошлом году вернулся из гаража, где чинил велосипед, пожаловался на усталость, прилёг... и отдал Богу душу!

Дирижёр чувствовал «отсутствие присутствия» вокруг и раздражался. Он всегда шёл напролом, наш Дирижёр, «ломал карту», как выражаются картёжники, и ему везло: Фортуна — женского полу, — пуще всего на свете обожает силу. И с телом собственным он обращался, как азартный наездник со скакуном: любил, лелеял, а в конюшне застаиваться не давал — держал впроголодь, взнуздывал и загонял подчас нещадно до семи потов.

Вот и сейчас решил прогнать наши страхи: и в этот раз будет плясать судьба под мою дудку! И прибегнул, как обычно, к шоковой терапии. Сперва замучил бесконечными повторами, отпуская в адрес оркестра ядовитые замечания, и наконец, взорвался — остановить его было уже нельзя:

— Бездари и тупицы, расселись, как мухи сонные! Наказал же меня Бог иметь дело с вами! Штаны просиживаете, вместо того чтобы работать, чёрт поberi, вкалывать, как я вкалываю!

Это была психическая атака, призванная вывести нас из оцепенения, заставить переключиться на «Десятую». Психологическими приёмами владел он от природы, наш маэстро, в первобытном обществе непременно стал бы вождём племени.

— Вам всё позволено: мечтать об отпуске, сладко дремать на службе, трепаться вслух с соседом про футбол! Что вам до музыки? Импотенция сплошная! Я надрываюсь тут, как раб...

Внезапно в глубине сцены выросла фигура инспектора оркестра. Маэстро осёкся, а тот сказал тихо:

— Сейчас звонили, у Арона... анализы плохие.

— Хватит на сегодня, все свободны! — бросил маэстро. — Еду к нему в больницу! — добавил он и пошёл к выходу.

...Позже знакомый из медперсонала сообщил: Арон с маэстро в тот день долго говорили. Я часто спрашивал себя: о чём? Десятки лет живя с обоими бок о бок, съел с ними не один пуд соли, знал их в реальности как мало кого. Но что реальность — лишь верхушка айсберга? Положим... Только ещё спускались вместе мы на глубину в кратер бурлений звуковых. Там, в поле высшего накала, пропускали сквозь себя ток музыки, переживали, сопереживали, — в том напряженье прорезается иное видение, мощнее, может быть, приборов дальнего слежения, — и позволяет проникать туда, где не был сам.

Итак, маэстро пошёл к выходу. Последуем за ним.

Он сел в машину и через полчаса въезжал на территорию клиники. Корпуса стояли покоем, квадратами окон восьми этажей глядя во двор на жалкую кучку берёз. Безысходностью веяло от такой архитектуры, и он не мог не отметить мысленно: «Вечный покой!»

Из-за двери в палату слышался голос больного. Дирижёр спросил у стоявшей рядом санитарки: «Есть у него кто?» «Да нет, один, это он сам с собой...»

Войдя, маэстро узнал концертмейстера не сразу: тот сильно опал лицом, черты стали резче, злее. Не замечая посетителя, он говорил, обращаясь к невидимому собеседнику:

— Интересуетесь, шли ли мы на компромисс с совестью? О да, старались не замечать пропасти, что разверзалась непосредственно за зданием театра. Оно являлось островом в море насилия и произвола, храмом, воздвигнутом на острове. Туда бежали мы от окружающего морока, и там молились не официальному божку, чьими портретами были увешаны все стены, — мы поклонялись в храме Звуку. В заботах о чистоте какой-нибудь ноты уродства тоталитаризма отметались, делались хоть на мгновение несущественными и несуществующими. Подобно первым христианам, сходились мы на репетиции, чтобы отдаться нашей вере — музыке: та стала оправданием бытия и целью его. Моления о звуке сплывали: не сослуживцами был окружён на сцене, но братьями и сёстрами по ордену!

Помолчав, он приподнялся, изобразил поклон и пропел хрипло: «Букет увя-адших роз...»

«С чего вдруг?» — подумалось маэстро.

— Нет, мой любезный, я не питал заблуждений относительно нашей публики. Был там, как водится, увядший букет старушек, предававшихся в концерте сентиментальности либо наивной восторженности. Согбенный старец, норовивший из первого ряда дирижировать оркестром, да всё не в такт. Экзальтированная экс-примадонна, помесь Пиковой дамы и Кармен: «У любви, как у пташки, крылья...», — снова прохрипел он суровым контральто.

— Нередко виделась аудитория собранием невежд и равнодушных. Но были в ней и те, кто ждал от наших звуков знака тайного, призыва к возрождению, и в лучшие часы случалось слияние с залом, понимание сокровенное — не вечер, а тайная вечеря...

Обернувшись, больной заметил вошедшего.

— А-а, замечательно, что пришли! Я тут рассуждал как раз: вам удалось создать удельное поместье и оградить его стенами от властей — разве не так?

Вопрос был задан требовательно, жёстко — маэстро невольно стал отвечать:

— А как иначе? Скажем, квартиры... Свободного рынка вообще не существует, всюду в конторах списки нуждающихся — тысячи, миллионы! И давишь на начальство — в обход очередей, наперекор закону! — зато не ютится у меня никто, и каждый оркестрант живёт пристойно!

— Это правда.

— А добиться человеческой оплаты? Профсоюз — слово-то есть, а не стоит и клочка бумаги: права голоса профсоюзы у нас не

имеют. Я доведу важных чинов до истерики, но пока не заставлю повыситься вам зарплату — не выхожу из кабинета. До богачей вам далеко, однако бедствовать и суетиться в поисках куска хлеба не приходится!

— Да, и это чистая правда. И мы благодарны, больше того — привязаны к вам! Вместе штурмуем бастионы мастерства — и в родных краях, и вырываясь иногда по соизволению свыше за границу.

— Мой девиз: сначала музыка, политика потом!

— Но вдруг я увидал — как горько! — во что мы превратились: на троне — князь владетельный, под ним — смиренные холопы. За льготы — увы, необходимые! — надо платить повинованием беспрекословным. Или, по крайней мере, делать вид... Воспитание-то наше — лучше некуда! Двойную мораль всосали чуть ли не с молоком матери — с детского сада уж точно.

— Это как прикажете понимать?

— Горе, если впадает кто в немилость! Вы поливаете беднягу крепким словом — буквально не вздохнуть ему, — нередко прикрывая так свои ошибки! А мы? Зная беспочвенность придирок, мы молчим.

— Ну, это ни в какие ворота! — вырвалось у Дирижёра, и тут же он спохватился: «Не напрасно ли спорить с ним сейчас? Человек же не в себе! Но откуда что берётся? Всегда ведь тише воды, ниже травы... Уж не повредился ли он слегка... от болей?»

Вошёл врач, замерил у больного давление и, пробормотав что-то невнятное, вышел.

— Хуже того: свыкаешься с зависимостью, с таким существованием — другого мы не знали! А взглянешь вдруг со стороны — как потрясение основ: и ты не бог, и мы не лучше ни на гран!

Он задохнулся и зашёлся в кашле. Маэстро поёжился: в этом внезапном «ты» таилось нечто грозное, зловещее. И всё-таки не удержался от попытки объясниться:

— Ну, это явно чересчур! В одном вы, может быть, и правы: родители мои были интеллигентами, чего не скажешь обо мне. Да, меня здорово заносит, бываю резок, даже груб, но что касается моих побуждений...

— По части побуждений расходимся мы основательно, — нервно перебил Арон. — Какие бы фантазии тебя ни осеняли, обязаны идти мы за тобой, но и немного учинил бы ты, когда б ни музыка, — она ведёт нас всех. Пусть любишь ты её как девку, коей надлежит лелеять всякую твою прихоть, — а всё-таки ты любишь, и она платит тебе любовью. Иной раз, правда, сопротивляется отчаянно попыткам навязать ей твою волю, и тогда уж достаётся нам от ваших раздоров — укачивает, будто в шторм. А после — примирение, взаимность. Вот ради таких минут и терпим твои эскапады, прощаем их чистосердечно, и ничего не жаль: «С чем же сравнить ту дрожь святую?»

Последние слова он произнёс с преувеличенной дикцией, пристально глядя на дирижёра, и у того ещё раз пронеслось в мыслях: «Неужто и вправду... сдвиг, психика?»

— Так верно ли: вначале манит музыка, а после оборачивается манией? В какой-то стадии осознаёшь, что весь застроен на потребу этой страсти, — сидишь давно и прочно на «игле». И значишь что-либо постольку, поскольку встроено в механизм по обработке партитур, — вот вся твоя ценность. Одно лишь важно: прочувствовать и «вылепить» пальцами или губами в концерте тот аккорд — особенный, заветный; аккорд — событие, в сравнение с ним бледнеет остальное. Перипетии будней — да что там! — разве только чтобы заполнить паузы от репетиций до концертов.

Схлынут, бывало, аплодисменты, а взлёты и обвалы сыгранного звучат в тебе и проникают в поры, в сон; включаются опять при пробуждении, напоминая о вибрирующей где-то трепетной материи, не дают покоя... В путанице дней — с коллегами, женой, наедине с собой — всплывёт какой-то оборот мелодии, и внезапно эта пёстрая возня выстраивается, приобретает смысл. Кажется, Малер писал что-то похожее: «Я слышу в музыке ответ на все вопросы!»

Задохнувшись, больной опять закашлялся и обессиленно откинулся на подушку. В дверь постучали, появилась сестра, сделала укол и молча удалилась.

— Ах, жизнь: контрабасиста бросила жена, в театре холод, отопление полетело к чёрту; и ты опять не в духе, срываешь желчь на оркестрантах — но я мирился с несуразностями, и приходил — здоров ли, болен — я боялся пропустить: да как же эту вещь сыграют без меня? И всё-таки они случались, моменты истины, — так было и в последний раз...

На несколько минут настала тягостная тишина. Потом концертмейстер заговорил, теперь неожиданно спокойно — и маэстро решил: «По-видимому, ему ввели обезболивающее».

— В том концерте — может статься, для меня он был и впрямь последним, — мы играли Малера. Ты упивался напевными звучаниями, но там залегают пласты глубже. Отчаяние жгло душу автора сполна — с той ночи, как узнал он об измене своей Альмы — и всё обрушилось.

Арон приподнялся с постели, наклонился к собеседнику:

— Есть у тебя... у вас... пара минут? Позволь я выскажу — мне выговориться надо, очень надо!

Дирижёру было уже сильно не по себе, но отказать он не смог:

— Да-да, я слушаю вас!

— Начало той симфонии — не по канону: растерянно, опустошённо. Некто врасплох застигнут мыслью о конечности земного срока. Надежды рухнули, дни сочтены, он взывает к небу: «Для чего жил я и страдал?» В ответ звучит Адажио, величественная песнь о Земле. Вторично вопрошает он, и перед ним дни юности,

начальных откровений сердца и годы, как вкушал он от плодов зрелости. А гимн во славу бытия всё ширится, уже не уместиться ликованию в груди, и вдруг — этот Аккорд: как Апокалипсис, уши раздирающий диссонанс. Нет веры — всё предаст, изменят и жена, и жизнь, пойдёт всё прахом, обратится в прах... Где искать опору? Вон в тех холмах и далах, в излуине реки под сонмом облаков? А может, в голосах детей и птиц — он превращал их в чёрные значки, чтоб сохранить навечно? Созвучия — последнее прибежище, послание из дальних сфер — тоже прервутся враз, уйдут в небытие.

Вступает Скерцо — вакханалия inferнальная. Как там у Аристотеля? «Назначение музыки — доставлять нам радость». Воистину? Ярится, взигрывает ад кромешный. Ты тщился привнести в сей мир толику чистоты и красоты? Напрасно: злобствует племя бесовское, образины мерзкие — лицемер, карьерист, бездарность пыжающаяся — теснят с улюлюканьем, сживают со свету. А Достоевский обещал: «Красота спасёт мир». Не спасёт — самой бы ей не захлебнуться во лжи, в уродстве!

Когда же неоткуда больше ждать избавленья, обнажает несчастный в агонии не только тело, но, срывая с себя кожу клочьями, и душу — пусть летит на волю! И меркнет свет, а дальше — тьма... Ведь он не дописал симфонию — точку поставила Костлявая.

Больной замолчал, и маэстро воспользовался паузой:

— Не стоило бы вам, Арон, так утомляться. Тема, безусловно, страшно важная, но...

— Да-да, устал я, ты... идите... спасибо уж, что навестили, и не поминайте лихом!..

Шёпотом прозвучал и затих голос, концертмейстер закрыл глаза и вроде бы задремал. Наступила тишина, но не столь тягостная — будто в палате стало светлее.

По сообщениям из клиники, иногда появлялась надежда на улучшение, потом больной периодически терял сознание — такие перепады продолжались долго. Однажды утром, когда мы вошли в зал перед репетицией, огромная хрустальная люстра из-под купола была опущена до уровня кресел. Скорее всего, просто так совпало (электрикам там нужно было что-то починить), но именно в тот день объявили: он скончался, и люстра врезалась в память приспущенным флагом.

Позже состоялась панихида. Оркестр в полном составе поднялся на сцену для прощания. Перевязанная траурной лентой, лежала на концертмейстерском стуле скрипка. Маэстро взошёл на свой подиум, наработанным жестом взял дирижёрскую палочку — и тут же снова положил её. Мы стали играть, а Дирижёр стоял, беспомощно опустив руки, будто силясь понять. То, что унёс с собою наш Арон.

2

Ибо каждый человек страдает от мысли, что исчезнет в равнодушной вселенной неуслышанным и незамеченным, а посему хочет вовремя превратиться во вселенную слов.

Милан Кундера

Но что ни день, то становилось явственнее: вотчине нашей выжить не судьба. Она была частицей целого, предчувствие же подсказывало, что и большому Государству — колоссу на глиняных ногах — скоро конец. Предметы первой нужности исчезали неуклонно. Помпезные торговые дворцы, воздвигнутые в расчёте на победу коммунизма, катастрофически пустели — согласно изречённой кем-то мудрости, «торжество материализма упразднило материю: нечего есть, не во что одеваться». Какое будущее ждёт нас в этой стране? Не дожидаясь окончательного хаоса, уехал за границу.

Фортуна улыбнулась: конкурс на место по специальности посчастливилось выиграть сразу. Пока длилось преодоление бюрократических рогаток, принялся чуждое наречие зубрить. Повторяя вслед за дикторшей вокабулы, ругался от отчаяния: «Выучишь тут! Оно же вообще не выговаривается: "selbst-ver-ständ-lich" — язык сломаешь!»

Контракт был подписан в судьбоносном 1989-м — Германия как раз пережила воссоединение. Затронуло оно меня по-своему: Восток хлынул на Запад, жилья было не найти. В конце концов удалось снять комнату и вызвать жену с сыном. Магазины с яркими игрушками стали для него шоком. Приходилось изобретать замысловатые отговорки в ответ на непрекращающиеся требования: «Купи!» Аргумент «Нет денег!» разоблачил он очень скоро: «Но ведь у тебя есть маленькая такая цветастая карточка, — поучал меня мой шестилетний сын. — Ты вставь её в щёлочку в стене, автомат и даст тебе денег!» Вот только как деньги заводятся в стене, было ему, пожалуй, невдомёк...

Привыкнув слегка к ослепительным витринам, я начал сознавать, что оказался в стране профессионалов. Обустройство жизни продумано толково, весь процесс, от крупного до мелких будничных хлопот — будь то на производстве, в офисе или у билетных касс, — организован чётко. А чтобы он функционировал, участников процесса учат — образно говоря — способности и умению определить, какой шуруп в какое место и как грамотно ввинтить. Звучит банально, только на опыте державы, которую я покинул и где шурупы всаживали молотком, убедился: идеология, политика — это всё потом, сперва бы надо овладеть наукой правильно вворачивать шурупы — каждому по своему профилю...

Понятно стало и то, что очутился в Мекке искусств, если оценивать по большой плотности музыкантов на душу населения. В первой когорте блестящие классические ансамбли, несомненно из лучших на планете, исполнители в них высшего класса. Правда, меня это ка-

салось лишь опосредованно: по здешним меркам я с приездом крепко опоздал, в высшую лигу по возрасту уж не годился — а потому попал в обычный оркестр. В силу вековых традиций уважающему себя городу полагается здесь иметь свою музыкальную капеллу. Часто она находится в ведении местного театра и призвана обслуживать разнообразные запросы публики. От первой когорты этот оркестр отстоял на десятки световых лет. Цветочки-бантики насчёт молений Звуку, жертвенности — такое популярностью не пользовалось, ментальность иная. Старались сыграть вместе как могли, и иногда даже неплохо получалось, — но и не более. Всяк ревностно следит, чтобы, избави Бог, не пересидеть дольше коллеги, стычки внутри оркестра — на повестке дня, и профсоюз на высоте: вздумается дирижёру в порыве вдохновения затянуть репетицию сверх положенного, его вежливо прервут — увы, не предусмотрено контрактом. Недолго длилась моя радость по поводу обрётённой свободы, вскоре она сменилась недоумением: куда ж девалась музыка?

Но чего ждал? Как объяснить... Не зная языка и обычаев, не разбирая элементарных входов-выходов, теряешь местами всякое ощущение логики, и ожидание такое было скорее иррациональным: если куда ни глянь разумно так и ловко устроено — ведь тут, на сцене, и сам Бог велел! А чудеса искусства ну никак не наступали...

Зато с какими оригиналами здесь столкнулся! Упитанный трубочка в кепчонке — снимал он её только по случаю концерта. В трубу свою дул весьма посредственно, а вот на критику в свой адрес огрызнулся по-бульдोजьи агрессивно — не подступись! В противоположность ему — тощий гобоист, вечно простуженный и с виноватым видом — с насморком звучал и его гобой. Юркий ударник, катастрофически не способный бить в свой барабан точно, однако тёртый калач: пытались уволить его, да не вышло — тот все уловки юридические изучил, нашёл выгодные для себя параграфы... Возможно, я напал на неких вымирающих динозавров — во всяком случае, там процветал цинизм: «I just hate music!»

Как окрылён был, получив сходу работу, — ведь приходилось начинать с нуля! А позже кожей ощутил: дух здесь иной — и вписаться в эту новую реальность не удавалось. Воспоминания мешали? Взялся идеализировать прошлое — или впрямь стоило жалеть о нём?

Впрочем, не стоит изображать из себя оскорблённую невинность. Да, некоторые странности шокировали; да, сколько-то сопротивлялся — но, в конечном счёте, бацилла проникла и в мою кровь, и я устал перемалывать нотные значки, как на конвейере, и меня стала засасывать рутина. Из служения репетиции превратились в службу, высоты не манили больше — и так или иначе, ничем не отличаясь от коллег, я уже тоже довольствовался мельтешением в долине. Значит, сломался и предал свою мечту?

Как же могло произойти, что в несвободе служила музыка отдушиной, спасением, а вот стала обязанностью, подчас бременем? И усомнился: в чём, собственно, смысл этих звуков? Возможно ли: на сцене, в круговороте действия музыкального — кто-то, скучая, правит ремесло, а иной — даже и с отвращением? Почему в концерте у кого-то слёзы в глазах, а рядом сидящие позёвывают? После стольких лет в профессии — сомнения?.. Тонны увесистых трудов написаны на эту тему, только плутают все они вокруг да около, а однозначного ответа — «Что́ есть музыка?» — в них не почерпнуть. Но даже из всеведущего интернета выудил немного:

— Наш первобытный пращур ориентировался в окружающем пространстве и выживал благодаря слуху — особенно во тьме, когда глаза оказывались бессильны. Преодолеть одиночество, разрушить немоту — из этой потребности возникает Звук. Не зная наверняка, как и когда зародилось музыка, находим этот феномен повсюду, какую местность и какое племя ни возьми. За тысячелетия до изобретения компьютера существовало своего рода виртуальное пространство, при благоволении высших сил в него можно было перемещаться всякий раз заново. Поэтому был этот мир священным, и к музыкальным инструментам — жужжалкам и трещоткам, сопровождавшим ритуал шамана, — женщинам, детям и всякому непосвящённому воспрещалось даже просто прикасаться — под страхом смертной казни.

— Однозначного, исчерпывающего определения искусства музыки нет. Предпринимались разнообразные попытки очертить это явление: музыка есть «скрытое арифметическое упражнение Духа, не осознающего свои расчёты»; «ангельская речь»; «волшебный язык чувств» и т.д.

— Никто не смог описать механизм воздействия музыки и по сей день. Установлено в первом приближении: громкость и резкие пульсации вызывают в экстремальных случаях произвольные сокращения мускулов, усиливают частоту электрических волн. Пульс и дыхание ускоряются или замедляются, соответственно нарастает напряжение или наступает расслабление — звуки влияют как мягкий массаж или слабый наркотик. При частотах, превышающих величину в 2000 герц, микроорганизмы погибают.

— Теоретики борются с мнением, что музыка способна выражать чувства, — тип слушателя, испытывающего эмоции при исполнении симфоний Чайковского, Теодор Адорно презрительно полагал наихудшим. Многие музыковеды проповедуют: люди «слышат», отталкиваясь от загруженной ранее информации. Не все музыканты согласны с этим: «По мне, искусство ничего не стоит, если между автором и воспринимающим не возникает связь на бессознательном уровне» (Леонард Бёрнстайн).

В различных блогах удалось отследить ещё кое-что:

Начавшись с примитивных ритмов и простейших мотивов, древо классической музыки пустило побеги, раздалось вширь и ввысь. Сейчас этот неосознаемый феномен превратился в комплексную науку, вокруг колебаний звуковой волны — интернациональная империя, охватывающая все цивилизованные общества. Установился ритуал музыкальных

собраний, построены специально спроектированные для их проведения помещения — исполнение музыки обеспечивает миллионные обороты. Правомерен вопрос: много шума из ничего? Вероятно, подобное «ничего» должно соответствовать некой насущной потребности в человеке, удовлетворять её.

Проводником в закрытую от несведущих область может служить только музыкант — переводчик с немого языка нотных знаков. В эпоху Средневековья пребывал музикус на низших ступенях социальной лестницы. Объединившись как-то для обслуживания празднеств в Венеции XVII века, кучка музыкантов решила поименовать свой ансамбль «Сборищем малахольных». А в новое время исполнитель — без него гигантская империя просто не существовала бы — решительно выступает на первый план. И сегодня, невзирая на безграничные возможности техники, разношёрстное племя производителей шума вручную не вымерло, но продолжает здравствовать; профессия стала вполне уважаемой.

В размышлениях о музыке напрашивается любопытная аналогия: и ещё одно сооружение, древнее и могущественное, возведено вокруг нематериального, неосязаемого явления. Воздвигавшие его следовали определённому учению и говорили когда-то на едином языке. Нынче существуют переводы на всевозможные наречия, но канонический текст в основе своей остался прежним. И в этой области специально готовят тех, кто призван этот текст толковать и нести в массы. Схожим образом и это сооружение переродилось в феномен, распространившийся на все континенты.

Конечно же, имеется в виду здание Церкви. Ни в коей мере не случайно вписана музыка в обряд богослужения — соприкосновений между двумя сферами достаточно. И вовсе неспроста рыжий аббат Вивальди вошёл в историю един в двух лицах — музыканта и священника. Кажется, кому-то из его коллег принадлежит высказывание: «Музыка — слышимая часть Божьего промысла».

Словом, как ни пытался я «поверить алгеброй гармонию», выяснилось: эта штукавина анализу логическому плохо поддаётся. Зато... Где-то когда-то теплился свет в окне, над нотным листом склонялся человек. Исступлённо искал он там единственный изгиб мелодии, чтоб отразить в нём свою боль, свою надежду. И через сотни лет кто-то услышит ту мелодию, ясно узнает в ней боль и надежду, уловленные в звуках — возможны ли, нужны ли тут иные доказательства?

А через тридцать лет — после столь многих пертурбаций — довелось ещё раз повстречаться с собственным прошлым. Некогда «мой» оркестр гастролировал в Европе в одной из музыкальных метрополий. Да, он помолодел в такой же мере, в какой я постарел, но кучка «последних могикан», тогдашних товарищей, ещё служила в нём. Горячность встреч и узнаваний, бесконечные «а помнишь?»...

И как бы ни блуждали мы в дебрях воспоминаний, с чего бы ни начинали, всё неизбежно возвращалось к теме Дирижёра. Как он «тащился», например, от всяких часов наручных, с каждой гастролей непременно привозил пару-тройку новых, выменивал, перепро-

давал их в азартных поисках неповторимого экземпляра безупречной точности. Так и оркестру полагалось функционировать наподобие часового механизма — с наивозможной тщательностью выверенная, совершенная игра колёсиков и шестерёнок.

И вспоминали мы, как он заботился любовно о своих «шестерёнках». Пользуясь могучими связями, выбивал для них жильё, устраивал их чад в детские сады, добывался мест у лучших врачей: всё насущное добывалось в той державе из-под полы, через знакомых дядек-тёток — в искусстве такого жизнеустройства вершил наш маэстро чудеса и всем, кому мог, покровительствовал воистину крупно, бескорыстно.

Мне же в сумбуре разговоров приходило в голову: бежал я, разумеется, в первую голову из страны — от дикого режима, идиотизма государственного и разрухи. А ведь не только! Стремился вырваться и от него, довлеющего надо всеми благодетеля всеильного!

Ну, вырвался, обрёл самостоятельность, поплыл в открытом море — каков итог? Высвечивая грани прожитого, прояснялось: а важного-то ты за резкостью его не разглядел. Ведь руководителю должно иметь дело с «убогим человеческим материалом» (терминология Зигмунда Фрейда), а материал этот и вправду слаб по преимуществу, тычется из угла в угол, путается в проблемках и мнит из себя невесть что. С терпением ангельским или срываясь на крик, улещивая или порою даже грубо, выделявал наш Дирижёр из сырой массы свои «колёсики», вытаскивал из них важнейшее, что заложила в них природа, и сообщал их будням смысл. Раскрывая горизонты, вёл за собой к цели. В нашем варианте цель называлась музыкой, в другом — могла быть верой — это ли важно? А как держава развалилась и разбежался народ по свету, вышло на поверку: держались многие его закалкой, не один заряжен был мощной энергией его надолго, навсегда.

Напоследок состоялась ещё одна встреча — с «Десятой», исполнявшейся в роскошном зале Musikverein'a «моим» оркестром. С первыми же звуками почувствовал, что тень маэстро витает здесь незримо. Номинально роль дирижёра играл в тот вечер некто — уввы, ему не дотянуться было до музыкантов, бывших с ним на сцене. Он знал это и старался не мешать. А оркестр музицировал сам по себе, любуясь слаженностью своих групп, их взаимодействием, купаясь в волнах музыки с естественностью опробованного в бурях пловца. И веяло таким же духом, какой был мне родным когда-то — духом единения, готовности сложить ценнейший дар свой к алтарю искусства.

В позолоченном зале с богатой лепниной движениями, отточенными до пугающей синхронности, возносилась в сотый раз та самая симфония. Не будучи уже деталью оркестрового механизма,

услышал и увидел я «Десятую» теперь в другом ракурсе. С течением времени старились мои бывшие коллеги, как и я, а часть из них сгорела и ушла... Симфония же шествовала сквозь наши жизни, нуждаясь постоянно в свежих силах, — так полководцу требуется вновь и вновь пушечное мясо. Мне открывалось её новое обличье — Кронос, пожирающий детей своих, — и понял много в собственной судьбе.

После концерта и не мыслилось о сне. Пустился бродить в лабиринтах чужого города, тоже страдавшего бессонницей, — ветер в лицо, промозглый дождь — вдоль тускло блестящего канала, мимо трактира под названием «Арка Ноя» — под стать погоде: не наступает ли опять потоп? А в мозгу стаккатный ритм, услышанный в роскошном зале, долбил вопросами: напрасно всё? Метания твои, порывы и мечты по поводу свободы, и любви, и содроганий плоти — втуне всё? Из прежней жизни столько потерял, а в здешней — ощутить себя своим, душой укорениться — получилось?.. В череде годов случалась горстка вот таких ночей отчаяния, или блаженства, или озарения; всё остальное — пёстрый шум, самообман, надежда безумная предотвратить исход.

Моторы мчащихся к началу дня мотоциклистов уже взрезали утро, птицы высвистывали очередной рассвет. Возле готовых к отправлению автобусов — прощание со старыми друзьями. Кто-то заметил: «Потерпи, поплачем в следующий раз!» Тут же стоявший рядом возразил: «Это когда же — разве что в раю?»

Март 2020



Вислава ШЫМБОРСКА

/ 1923–2012 /

Перевод с польского Тамары Яблонской

НЕГАТИВ

На буром небе
еще более бурая тучка
с черной обводкой солнца.

Налево или направо
белая ветка черешни с черными цветами.

На твоём темном лице светлые тени.
Ты уселся за столик
и положил на него посеревшие руки.

Ты производишь впечатление духа,
который пытается вызывать живых.

(Так как я еще вхожу в их число,
мы должны бы ему явиться и отстучать:
спокойной ночи или добрый день,
прощай или приветствую.
И не жалеть ему вопросов на любой ответ,
если они касаются жизни,
то есть бури перед тишиной.)

ВОЕННЫЙ ПАРАД

Земля — земля,
земля — воздух — земля,
воздух — вода — земля — земля — вода,
земля — вода — воздух — вода — воздух — земля,
воздух — земля — земля — земля — земля — земля,
Земли Воды Воздуха.

АННОТАЦИЯ

Я успокоительная таблетка.
Я действую в квартире,
приношу эффект в учреждении,
сажусь сдавать экзамены,
стою на суде,
старательно склеиваю разбитые горшочки —
только меня прими,
распусти под языком,
только меня проглоти,
только запей водой.

Я знаю, что делать с несчастьем,
как перенести плохую весть,
уменьшить несправедливость,
рассветлить отсутствие Бога,
подобрать к лицу траурную шляпу.

Чего ты ждешь —
доверься химической жалости.

Ты еще молода,
ты должна как-то устроиться.
Кто сказал,
что жизнь должна быть прожита смело?

Отдай мне свою пропасть —
я вымошу ее сном,
ты будешь мне благодарна
за четыре лапы падения.

Продай мне свою душу.
Другой покупатель не попадется.

Другого дьявола уже нет.

ЛАГЕРЬ ГОЛОДА ПОД ЯСЛОМ¹

Напиши это. Напиши. Обычными чернилами
на обычной бумаге: им не дали есть,
все умерли от голода. Все. *Сколько?*
Это большой луг. Сколько травы

¹ Лагерь голода под Ясло — лагерь для советских военнопленных, в котором в 194–1942 гг. погибло 6 тысяч пленников.

Пришлось на одного? Напиши: не знаю.
История округляет скелеты до нуля.
Тысяча и один это всё еще тысяча.
Тот один, словно его не было вовсе:
выдуманный плод, пустая колыбель,
букварь, открытый не для кого,
воздух, который смеется, кричит и растет,
лестница для пустоты, сбегаящей в сад,
ничье место в строю.

Мы стоим на том лугу, где тело стало телом.
А он молчит, как купленный свидетель.
В солнце зеленый там поодаль лес
для жевания дерева, для питья из-под коры —
порция пейзажа на целый день,
пока не ослепнешь. Вверху птица,
которая по губам передвигалась тенью
питательных крыльев. Открывались челюсти,
ударял зуб о зуб.

Ночью на небе блистал серп
и жал сныщиеся хлеба.
Прилетали руки с почерневших икон,
с пустыми чашами в пальцах.
На вертеле колючей проволоки
качался человек.
Они пели с землей во рту. *Прекрасная песня*
о том, как война попадает прямо в сердце.
Напиши, какая здесь тишина.
Да.

РАДОСТЬ ПИСЬМА

Куда бежит эта написанная серна через написанный лес?
Может, пить написанную воду,
что отражает ее мордочку как копировальная бумага?
Почему она поднимает лоб, разве она что-то слышит?
Опершись на одолженные у истины четыре ножи,
она стрижет ухом из-под моих пальцев.
Тишина — это выражение тоже шелестит на бумаге
и разгребает
вызванные словом «лес» ветви.

Над белым листком готовятся к прыжку
буквы, которые могут лечь плохо,
окружающие предложения,
от которых не будет спасения.

В капле чернил есть большой запас
охотников с прищуренным глазом,
готовых сбежать по крутому перу вниз,
окружить серну, приложиться к выстрелу.

Они забывают, что здесь нет жизни.
Другие, черным по белому, господствуют здесь законы.
Мгновение ока будет длиться так долго, как я захочу,
оно позволит разделить себя на маленькие вечности,
полные задержанных в полете пуль.
Навсегда, если я прикажу, здесь ничего не случится.
Без моей воли не упадет даже лист,
ни стебель не согнется под точкой копыта.

Стало быть, есть такой мир,
которому я вершу независимую судьбу?
Время, которое я вяжу цепями знаков?
Неустанное существование по моему приказу?



Евсей ЦЕЙТЛИН

/ Чикаго /

КТО-ТО В ЗЕРКАЛЕ

Из дневников этих лет

Лучше всего быстрый — невзначай — взгляд в зеркало.

Глубокие морщины на лбу.

Борода, которую забываю постричь. (Когда-то в ней была легкая проседь, сейчас — редкие черные крапинки.)

Традиционная — для иудеев — кипа.

Почему не узнаю себя в зеркале?

Это обычное столкновение всегда юной, точнее — вечной души и скукоживающейся, изрядно износившейся телесной оболочки.

Вопреки зеркалу мы долго ощущаем себя молодыми. Прозрение наступает внезапно. Когда один за другим уходят из жизни ровесники.

*

Меня нашел с помощью Интернета писатель А.Л. Мой старый сибирский приятель. Он со сдержанной гордостью рассказал: выпустил десяток книг, стал заслуженным работником культуры... Он все так же жил на улице, по которой мы бродили полвека назад. Конечно, я стал спрашивать Сашу об общих знакомых. Тех, с кем работали вместе в газете или посещали литобъединение при Союзе писателей. Ответы звучали одинаково: умер. Разными были подробности смерти. Например, бывший редактор молодежи добродушный и улыбчивый В. устроил у себя в ванной комнате нечто вроде парной. Однажды не смог выйти оттуда. «Кажется, он сварился заживо», — написал Саша.

«Человек — как трава, дни его, как цветок полевой, так отцветает он. Потому что ветер прошел по нему — и нет его, и место его больше не узнает его», — давным-давно сказано в одном из псалмов царя Давида.

*

Любой литератор, у которого хватит мудрого терпенья трезво взглянуть на свои сочинения и труды тех, кто шел дорогой литературы до него, рано или поздно спросит себя: а зачем ты водишь перышком по бумаге? Если уже были Лермонтов и Толстой, Гончаров и Чехов, Бунин и Набоков? Наивно думать: все дело в том, что в тебе сидит неутомимый графоман. Тем более что многие пишут трудно, порой — мучительно.

Душа каждого человека спускается в этот мир с какой-то миссией. Некоторым выпадает миссия литератора.

*

Начиная с раннего детства, я был уверен, что должен разгадать какую-то тайну — очень важную для себя.

Сначала искал эту тайну в книгах. И к двенадцати годам торопливо прочел целую библиотеку русских и западных классиков.

В пятнадцать стал профессиональным журналистом.

В девятнадцать женился и уехал в киргизский аул преподавать русский язык, но главное — беседовать с аксакалами.

Эта цель на долгие годы определила мою жизнь. Годы складывались из встреч и поездок. Сейчас, как в калейдоскопе, передо мной мелькают: лица сибирских шаманов, тайных учителей йоги, поселения исчезающих северных народов, лаборатории патологоанатомов, глаза слепых провидцев, монастыри, иешивы, читальные залы архивов...

С тайны начинаются и мои книги, хотя все они — о людях искусства. Самая первая книга, написанная молодым человеком, рассказывает о том, как научиться управлять вдохновением и стать писателем. Моими героями были: один из самых ярких и загадочных представителей русского литературного авангарда 20-х годов прошлого века Всеволод Иванов, основоположник литовской поэзии пастор Кристионас Донелайтис... Впрочем, еще чаще меня привлекали таланты, не успевшие себя реализовать, только догадавшиеся о своем предназначении. Звезды, мелькнувшие на литературном горизонте и — погасшие.

*

Читаю интервью с поэтом Томасом Венцловой. Рассказ Т.В. о том, как он впервые ездил к Ахматовой и об ее отношении к молодым поэтам. А.А. хвалила всех, считала: ругать *невежливо*... Но *молодые* знали: если Ахматовой действительно нравятся стихи, она скажет: у вас есть тайна.

*

Странность, которую хочу обязательно объяснить самому себе. Почему юный автор выбрал для своей работы в литературе «скупные» жанры — критику и литературоведение?

Не было никакого наития. Думал о справедливости.

«...Рукописи не горят, но сгорают человеческие судьбы. Тут одна из горьких тем подлинной, еще не написанной истории нашей литературы». Так начинается моя книга «Писатель в провинции» (Москва, «Советский писатель», 1990). А в 70–80-е годы я напечатал десятки статей и очерков о талантливых провинциальных авторах, которых не замечала столичная критика. Публикации во многих журналах и сборниках, цикл из семи книжек... Увы, они ничего не изменили в судьбе героев.

*

Ирония судьбы или все же предназначение? Почти полвека читаю чужие рукописи.

Что более всего поражает в этом потоке? Нет, даже не ужасающая неграмотность. Банальность мысли. Литературные штампы, которые благополучно кочуют: не через десятилетия — через века.

*

Почему автор обращается к литературному штампу? Легче всего обвинить его в лени. Или опять назвать графоманом. Однако, на мой взгляд, существует другая причина — недостаток внимания. А внимание, в сущности, и есть основа таланта писателя.

*

В СССР долгие годы твердили о необходимости изучения литератором жизни. «Изучать жизнь» писатель отправлялся за полярный круг, на целину, в крайнем случае — в заводской цех. Между тем писатель должен быть прежде всего внимателен к одному человеку — к самому себе. Процесс самопознания — главный в «изучении» литератором жизни. И он, конечно, никогда не заканчивается. Вот почему нет преувеличения в знаменитых словах Флопера: «Мадам Бовари — это я».

*

Об этом же размышлял один из самых глубоких русских писателей второй половины прошлого века Юрий Трифионов. Грустно-символичен его автобиографический рассказ «Путешествие» (1969).

«Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале — уехать немедленно... Просто вдруг на рассвете, когда меня томила

бессонница и стеснение в груди, врачи объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чем-то другом, может быть в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву...» В редакции газеты герою предлагают поехать на знаменитые стройки страны, писатель обещает подумать. Выйдя из редакционного кабинета, он неожиданно признается случайному попутчику: «...мне нужны впечатления, черт бы их побрал! Я остался совершенно без впечатлений...»

Что изменилось для героя по дороге домой? «Навстречу мне двигался густой и медленный, весенний поток людей. Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезающие сзади, за спиной, исчезающие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни». Наконец, «я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру... В зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю».

*

Писатель должен быть интересен самому себе. Звучит неожиданно? Что это — эгоцентризм? Нарциссизм? Назовите как угодно. Но без такого жадного интереса автору не проникнуть в тайну человеческой души.

*

Невежество — еще одно несомненное качество сегодняшнего «молодого литератора». По крайней мере в эмиграции, где живу почти тридцать лет. Помнят пять-шесть имен: Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бродский, Довлатов... А еще помнят о своей «самобытности»: не дай Бог нивелировать, затоптать ее чрезмерным чтением!

*

Почему писатель должен знать и своих литературных предшественников, и современников? Есть несколько ответов, и все верны. Чтобы избежать повторения пройденного. Чтобы почувствовать живую традицию литературы. Чтобы зарядиться энергией вечного поиска.

*

В конце восьмидесятых, когда советская империя уже дышала на ладан, я стал записывать устные рассказы евреев. Это решение пришло не сразу, к тому же необычно — во сне. Почти каждую ночь мне снился старый еврей с большими печальными глазами. Он неизменно молчал, но при этом, кажется, о чем-то меня просил. Проснувшись, я пытался понять — о чем? Наконец, догадался. Миллионы людей (несколько поколений), думал я, могут уйти в небытие,

так и не рассказав правду о себе и своем времени, когда само слово «еврей» было зачастую непроизносимо на языках народов СССР. Нет, не зря нобелевский лауреат Эли Визель назвал советских соплеменников «евреями молчания».

Только спустя много месяцев я осознал, насколько резко переменял — переломил — свою жизнь. Из успешного литературоведа и критика, вузовского доцента я на долгие годы превратился в интервьюера, гонящегося за людскими судьбами.

...Исход из страны красных фараонов становился тогда массовым. Своими историями — в чем-то невероятными, в чем-то обычными — делились со мной активисты недавно возникших еврейских организаций, бывшие узники гетто и концлагерей. Я слушал невольные признания в очередях у посольств. Встречался с литераторами, писавшими на идиш, их вдовами, детьми: чаще всего это были люди, чьи души навсегда искорежил страх.

А в самом начале девяностого мы с женой перебрались в Литву, которая тогда отважно — многие полагали: с самоубийственным упорством — пыталась отделиться от СССР. Знакомым и родственникам наш переезд показался неожиданным, даже опасным. Я думаю, однако, сейчас: это был один из самых правильных поступков в моей жизни. Во-первых, я давно соперничал борьбе маленькой республики: по-русски и по-литовски уже вышла моя книга о Кристионасе Донелайтисе, который был не только основоположником национальной литературы, но и духовным «дедушкой» Саюдиса. Во-вторых, решил я, именно здесь логичнее всего продолжить записи еврейских историй — ведь литваков (так издревле называют литовских евреев) во многом обошли ветры ассимиляции.

...Общество спешило резко и сразу сбросить ледяной панцирь советских догм. А люди оттаивали трудно. Мне не раз казалось: мои собеседники мысленно оглядываются: «Где я?» Словно переспрашивают себя: «Что случилось за эти десятилетия с душой?» Они часто воспринимали лежащий на столе диктофон как возможность очиститься, вернуться к истоку. Я разработал даже особую систему проведения интервью — психологи сравнивали ее потом с методом Фрейда.

В моих тетрадках появились записи «еврейских снов». Мне казалось: разгадывая их, можно понять чужое молчание.

*

Что для меня самое сложное в написании книги?

Трудно ответить на, вроде бы, простой вопрос: что эта книга откроет в твоей судьбе, что прояснит в твоей собственной жизни? Ничего странного, кстати, в таком вопросе нет. Ведь в конце концов каждый автор пишет прежде всего для себя.

*

Вот уже почти четверть века моя книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», изданная в 1996-м Еврейским музеем Литвы, живет, в сущности, самостоятельной жизнью. О ней пишут критики; ее перевели на литовский, немецкий, украинский, испанский, английский. Но читая корректуру очередного издания на русском, я удивляюсь: не только многие детали — целые фрагменты текста совершенно исчезли из памяти.

Зато хорошо помню, как писал эту книгу.

Необычный эксперимент. В течение пяти лет мы ведем его вместе с моим героем Йокубасом Йосаде (в дневнике, из которого сложилась книга, называю героя *i*).

В преддверии смерти тяжело больного *i* записываю его исповедь на магнитофонную пленку. Пройдя путь, типичный для интеллектуала его поколения (жизнь, скроенную из иллюзий, предательства, того же страха), *i* жаждет исповеди. А я хочу прорваться — сквозь наложения психологических клише — в лабиринты чужого сознания. Меня интересуют не только внешние, пусть и трагические, скрещенья «века-волкодава» и хрупкой человеческой судьбы. Мы говорим о мотивах его бесконечных компромиссов, о самоуничтожении таланта (*i* пошел на это, стремясь выжить физически; после войны, когда в СССР начались антиеврейские кампании, Янкель Йосаде сменил имя и язык — раньше писал прозу на идиш, теперь — с огромным трудом — стал литовским критиком и драматургом).

...В разные годы нередко задаю одни и те же вопросы. Получаю порой разные ответы. Примечательные парадоксы человеческого сознания.

В течение этих пяти лет понятие «счастливая смерть» тоже возникает в наших беседах по-разному. Иногда кажется: это возвращение (хотя бы в конце жизни) к самому себе, к своей божественной душе, о которой ты забыл и которая напоминает о себе. А на самом краю своего земного существования *i* признается: «Мой дорогой, мне ничего не надо. Ничего... Знаете, отсутствие боли — это и есть счастье. Именно так: отсутствие боли. Это о т с у т с т в и е опьяняет тебя и тогда наплывает дремота. Ты куда-то плывешь — все дальше и дальше. Что может быть лучше этого? Все дальше и дальше... Вот и все».

*

Из предисловия автора:

«...Мысли, сознание человека, идущего к смерти. Вот предмет моего повествования. Вот что определяет интонацию, диктует сюжет...»

*

Почему люди пугаются самого этого слова: смерть?

«Я еще не готов читать вашу книгу», — говорит мне нью-йоркский писатель Б.Н.

Известное российское издательство готово напечатать «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», но ставит условие: «Вы должны обязательно сменить название. Оно отпугнет немало читателей». Это условие принять не могу: одной из главных моих задач была реконструкция человеческого сознания при свете смерти.

Добавлю: в иудаизме смерть физического тела означает только остановку на пути нашей вечной души к новой жизни.

*

Книга была во многом экспериментальной и потому, что ее можно прочитать по-разному. Автор старается избежать любой «тенденции», дистанцируется от героя, но одновременно становится его «зеркалом».

«Напишите книгу сами», — обращается автор к читателю. И настойчиво предлагает составить из глав-«кубиков» собственное повествование, посвященное i.

*

В ноябре 2016-го я получил письмо от русско-французского писателя Николая Константиновича Бокова: «...время от времени читаю Вас очень сочувственно, нахожу родственные нотки. Можно ли послать Вам мою последнюю книгу "Фрагментарий"?»

Наше знакомство и вскоре возникшая дружба были недолгими: 2 декабря 2019-го Боков умер в парижском госпитале Теннон.

«Фрагментарий», — предупреждал автор, — сродни планетарию: идеи и чувства плывут в пространстве человеческой жизни. Исчезают и вдруг возвращаются метеоритами. Некоторые воспоминания еще кровоточат, а другие превратились в необитаемые холодные луны. Всякий человек космос... Всякий человек собиратель и склеиватель фрагментов своего будущего».

Читая эту удивительную книгу, я наконец понял истоки поступков Николая Бокова, которые неизменно удивляли современников, прочертил для себя необычный сюжет его жизни.

Нет сомнений: Боков был талантливейшим учеником великого Василия Васильевича Розанова. Долгие эти уроки легко ощутили почти во всех книгах Бокова. Но вот еще один его урок, сформулированный автором в интервью с Марией Шабуровой (2010): «Во времена, так сказать, исследования жизни я подумал, что «жить» не менее важно, чем читать книги, при условии, что я отнесусь к своей жизни как к книге, которую пишет мной Кто-то: Провиде-

ние ли, Бог, Судьба... Её я читаю сам, и она рассказывает о моём отношении с миром вещественным и миром идеальным, потусторонним... Гармония таится за всеми ужасами и безобразиями. И она сладка, и она-то и есть рай и вечность».

В этих словах, впрочем, можно услышать самоутешение автора. Какая уж там гармония! В СССР Боков был диссидентом, с отрочества — сочинителем и распространителем Самиздата. Многочисленные допросы в КГБ, изгнание из аспирантуры. Наконец, Система окончательно «выдавила» его из страны. И в какой-то степени это был благополучный финал. Без тюрьмы, лагеря, ссылки. В 1975-м — более сорока лет назад — Боков попал на Запад.

Конечно, писатель Николай Боков был по-своему очень близок мне. Прежде всего тем, что его неукротимо притягивал эксперимент. Не только в литературе — в жизни. Собственно, экспериментом и была вся жизнь Бокова. Он рано начал задавать себе, а потом и своим героям одни и те же вопросы: что такое человек? На что он способен в условиях свободы и — несвободы? Эти вопросы обычно мучают подростков и философов. Николай Боков в душе так и остался навсегда подростком. А философия — это его специальность, полученная в Московском университете.

В поисках ответа Боков долгие годы не только менял жанр и стиль своих книг — не раз отважно менял свою жизнь. Стал в Париже клошаром, ночевал на улицах, испытывал себя, прося у прохожих милостыню. Жил в пещере. Скитался по монастырям. Метался из страны в страну, вглядываясь в чужой быт и уча чужие языки. Часто без паспорта, не имея денег на билет. Потом вернулся в литературу, рассказал о своих исканиях в книгах.

Какой ответ он в конце концов получил? Спрашиваю об этом себя, хотя прекрасно знаю: вопрос — и в жизни, и в литературе — порой гораздо нужнее, чем ответ.

«Зона ответа» — название еще одной, важной для Николая Бокова книги. Он написал ее, вернувшись в мир «приличных» людей.

Удачной ли была его писательская судьба? В эмиграции литератор почти неизбежно теряет своего читателя. А нового — не находит. К счастью, Бокова это коснулось не в полной мере. Он печатался в журналах русской эмиграции, двухтомник его произведений вышел в России — неважно, что в провинции, в Нижнем Новгороде, маленьким тиражом. При этом Боков давно уже писал и публиковался по-французски. И даже получал французские литературные премии.

В годы нашего общения он был еще не стар. Но постоянная тема его последних писем — вплотную приблизившаяся старость. Николай хотел сделать старость предметом художественного исследования. И, может быть, победить ее? («Интересно, если напи-

сать книгу о старении и о старости, будет ли кто-нибудь ее читать? Тем, кто еще не... — “не мое дело”... Тем, кто уже — “сами все знают”».)

Ему казалось: приходит старость. А это стучалась в его двери смерть.

*

...За семь лет полностью обновляется организм человека. И мы начинаем все чаще повторять слова, которые услышал от Создателя наш праотец Авраам: «Встань и иди!» Все так. Однако далеко не сразу видишь логику в том, что мы порой пугливо называем Судьбой.

Случайно ли то, что именно через семь лет я оказался в Америке? Внешняя причина новой эмиграции очевидна: в Чикаго живут престарелые родители жены; они нуждаются в дочери, а дочь боится никогда больше не увидиться с ними. Но случайно ли то, что именно здесь, в США, я снова встретил «одиноких среди идущих», узнал продолжение их историй?

*

Одинок человек, совершающий свой выбор.

Одинок человек, задумавшийся о своем пути.

Одинок литератор, ищущий свое, единственное, слово.

Одинок человек молящийся.

Каждый, кто одинок, вверяет свою судьбу Всевышнему. И только Он способен помочь.

*

Статьи в русскоязычных изданиях Израиля; авторы красноречиво доказывают: после обряда обрезания потенция мужчины не уменьшается. Статьи написаны как речи адвокатов. Потому у проницательного читателя закрадывается сомнение. Ведь нет дыма без огня. Могут подтвердить: сомнения напрасны. Но в том ли собственно дело? Обрезание (брит-мила) — знак вечного союза еврея со Всевышним.

Я сделал обрезание в Израиле в январе 1992 года. Холодным хмурым утром, в номере иерусалимской гостиницы. Мне шел сорок четвертый год.

Во время обрезания еврею дают имя. Детям имя выбирают родители. Взрослый человек выбирает себе имя сам. Я ничуть не задумался: Иегошуа. В дореволюционной России имя Иегошуа часто переделывали в Евсея.

А что в Торе? В преддверии смерти нашего пророка и учителя Моисея Всевышний поручил одному из его питомцев — Иегошуа — привести народ в землю Израиля.

*

Взял интервью у многих людей. Задавал неудобные вопросы, чтобы пробиться в тайное тайных человеческой жизни. Од-

нажды моя подруга профессор Ирена Вейсайте (юная узница Каунасского гетто, ставшая потом обладательницей многих международных наград) посоветовала: «Вам надо обязательно проинтервьюировать самого себя».

*

Неожиданно это оказалось трудным. Подготовив вопросы, начинаю отвечать. Но почти каждый раз... засыпаю. Сознание отталкивает самоанализ? Рассказываю об этом Григорию Яблонскому (известному химику, с которым познакомился еще в 68-м году в новосибирском Академгородке. Тогда Яблонский был одним из организаторов знаменитого съезда бардов; сейчас, в Америке, он — профессор нескольких университетов, автор оригинальных научных концепций и не менее оригинальных коротких рассказов, построенных на парадоксах мышления). Нет, он не удивлен: «По аналогии вспомню: если человек щекочет сам себя, рассмеяться он не сможет».

*

Заменят ли эти заметки несостоявшееся интервью?

*

Помимо прочего. Для чистоты эксперимента было бы правильно описать свою сексуальную жизнь. Раннее и неуклюжее начало, ошибки, которые делали юные, обремененные застенчивостью люди. Нет, для этого мне не хватает смелости. Уже написал две страницы и — стер. Кого я стесняюсь? Жены? Надеюсь, сумел бы объяснить ей необходимость этих эпизодов в своих записках. Возможных читателей, среди которых будут знакомые? Признаюсь: мне уже давно безразлично любое чужое мнение. Мне будет неприятно, если эти странички прочтет дочь. Для детей их родители всегда безгрешны.

*

Ребе Рашаб сказал когда-то: люди состоят из трех слоев. Есть «внешний человек». Есть «средний человек». Есть «внутренний человек».

Сколько бы ни испытывала, сколько бы ни ломала нас жизнь, лишь первые два слоя могут быть повреждены. Внутренний же человек никогда и ничем не может быть исковеркан.

Пытаюсь пробиться, прорваться к нему.

*

Наше вечное противостояние энтропии — мрачной силе, которая уничтожает следы человека.

Вот интересное предложение, пришедшее в редакцию публицистического и литературно-художественного ежемесячника «Шалом», который я редактирую: надо создать Интернет-энциклопедию, где будут статьи о самых обычных людях. «Поэзия обычной судьбы объясняет время».

*

«Я» или «он»? В дневнике это очень важно. «Я» означает полное растворение в материале. «Он» добавляет дистанцию, отстранение.

Время от времени выбираю местоимение «он», потому что наблюдаю себя со стороны.

*

Это пришло во время занятий йогой. Обойдусь без подробностей. Те, у кого была подобная практика, поймут меня сразу.

Взгляд на себя как на *другого*. Появляется дистанция. Исчезает жалость к себе.

*

Тамара Владимировна Иванова (бывшая жена Бабеля, вдова Всеволода Иванова), заботливо и мудро наставлявшая меня, почти мальчика, в самом начале 70-х говорит мне почти о том же: «Большинство людей не видят себя со стороны. Отсюда их беды».

*

Беда многих писателей в том, что они не могут выстроить дистанцию между собой и героем.

*

Три мои книги о Всеволоде Иванове. Самая первая — «Беседы в дороге. Литературный наставник, критик, редактор» (Новосибирск, 1977).

*

«Неожиданный Всеволод Иванов!» — не раз восклицали его современники. Вся свою жизнь этот «оппозиционный классик» советской литературы уходил не только от догм соцреализма — от самого себя прежнего. «Умер очень большой, не прочтенный нами писатель», — как всегда парадоксально, закончил свои воспоминания о нем Шкловский. Здесь все правда. Иванов оставил после себя целое собрание неопубликованных, ярких, во многом экспериментальных книг.

«Неожиданный Всеволод Иванов!» — повторил и я: оказалось, в одном из московских архивов хранится около трехсот не известных читателю рецензий мастера на произведения молодых авторов. Да, Иванов был зорким и мудрым литературным настав-

ником. Он учил начинающих писателей многому — в том числе и художественному поиску, вечному сомнению, которое так важно в искусстве.

В своей книге я пытаюсь восстановить «школу Иванова, понять ее основу». И, конечно, определить основные этапы творческого становления литератора.

*

Когда-то прочитал: среди каждых ста тысяч человек есть два абсолютно похожих. Может быть, двойник и есть наше редкое зеркало?

В 84-м году он встречается собственную «копию» в Железноводске. В санатории, где принимает минеральные ванны. Однажды, уже вытирая тело полотенцем, вдруг оглядывается, видит: занавеска, отделяющая соседнюю ванну, отдернута. А там... лежит он, двойник. Глаза мужчины закрыты. Можно спокойно разглядеть его. То же лицо, та же фигура. Даже родимое пятно на груди — то же. Даже отросток, бесстыдно вздымающийся над водой.

Спустя двадцать лет, в Чикаго... Видит в одной из газет фото автора статьи. И — опять узнает себя, постаревшего. Звонит, слышит в трубке чужой голос, предлагает встретиться. Голос безоговорочно тверд: «Мало ли на свете похожих людей?» Этот короткий спор убеждает: встречи с двойниками, можно отложить.

*

Не мешает ли поэту увлечение политикой? Проблема кажется умозрительной, пока не приблизишься к конкретной судьбе.

В 1987–89 гг. я учусь на Высших литературных курсах в Москве. Среди слушателей выделяется чеченский поэт З.Я. Высокий, темпераментный человек, который часто с болью говорит об истории и бедах своего народа. Он дает мне читать подстрочники собственных стихов, похожие на него самого: яркие и громкоголосые. К З.Я. нередко приезжает семья. С тревогой смотрю на его старшего сына. Мальчику лет десять. Энергия захлестывает его. Он безудержно, подолгу, катается в лифте общежития Литинститута или бегает по московским улицам. Его невозможно унять. Вернувшись в конце лета на ВЛК, узнаю: сын З.Я. погиб, попав под машину.

Кажется, энергия переполняла и самого З.Я. Трагическая, сотканная из противоречий биография одного из лидеров независимой Чечни хорошо известна, чтобы сейчас ее повторять. А я порой вспоминаю то, с каким пророческим вдохновением З. Я. читал стихи на родном языке.

*

Может быть, самое главное для автора — найти свой литературный жанр. Он «рифмуется» с темпераментом, с тембром писательского голоса, с особенностью взгляда на мир.

*

Издатели, озабоченные количеством книжных продаж, уже долгие годы подталкивают писателя к жанру романа, который во все времена любит массовый читатель. И тут нередко возникают трагические коллизии: талант многих авторов вовсе не созвучен роману. Им, к примеру, ближе новелла, повесть или драма. Да и сам жанр романа часто видится в таких случаях с наивным простодушием: будто бы прежде всего роман предполагает подробные жизнеописания, лихо закрученный сюжет, бесстрашие правды, понимаемое как нагромождение «мерзостей жизни».

Между тем настоящих романов написано не так уж много. Каждый из них — сложное и неповторимое архитектурное сооружение. В фундаменте каждого — собственная, авторская, философия человека и мира.

*

В Советском Союзе писательскому мастерству учили в нескольких вузах (упомяну только Литинститут, сценарный факультет ВГИКа). В США — сотни университетов и колледжей. И в каждом из них преподают курс creative writing. Делает ли это счастливее и гармоничнее человека?

*

Множество литературных премий. Боюсь, читатель не вспомнит не только лауреатов премий журналов, газет, областей, клубов, но и обладателей Букера и Нобеля.

Риторический вопрос: происходит ли девальвация премий, которые вряд ли способствуют сегодня развитию литературы? Впрочем, хорошо одно: некоторые премии — немногие — имеют денежное наполнение и поддерживают писателя.

*

Литература уходит в Интернет. Дина Рубина припомнила уже давнее наставление подруги: «Если тебя нет в Интернете, значит, тебя нет нигде».

В Интернете же литературная жизнь кипит. Там идет борьба. Дискуссии не на жизнь, а на смерть. Утверждение и свержение лидеров.

И все та же неграмотность.

И беспамятность.

*

Писатели трудно выбирают названия своих книг. Одни считают: название должно точно отражать суть произведения. Другие говорят: название передает настроение, нерв, какой-то внутренний мотив, важный для автора. А в старину еврейские книги часто получали имя по первому слову текста.

*

«Поэзия — это молитва души». Слова Блока проясняют многое. И то, почему поэт нередко приближается к разгадке тайны мироздания. И то, почему «средние» стихи заведомо никому не нужны.

Но разве не относятся слова Блока и к прозе, и к драме, и к критике?

*

Математик и поэт Борис Кушнер в своей статье о «Долгих беседах...» написал, что читал «Беседы» под 15-й бетховенский квартет a-moll.

Для меня было лестно узнать об этом. Однако сам я музыку во время чтения книг никогда не включаю. Может быть, потому что, погружаясь в текст, хочу услышать ту музыку, которая всегда звучит в поэзии, прозе, драме. Если, конечно, это настоящая литература. Но... часто слушаю музыку, когда пишу сам. Музыка помогает обрести открытое миру сознание, почувствовать внутреннюю свободу... Обычно это Вивальди, Моцарт, Бетховен.

*

С. Ш. сравнивает эмиграцию со смертью. Даже не в том смысле, что эмиграция тяжела и трагична: оказавшись в чужой стране, ты постепенно умираешь и рождаешься другим человеком.

— Я теперь другая...

Была сотрудницей музея, экскурсоводом, переводчиком. В Литве. Стала женой, нянькой. В Испании. Муж ее Джозеф-Мария (художник) после аварии недвижим: сначала передвигался в кресле, теперь не встает.

— ...Но любовь все преодолет... И ни о чем не жалею. Сначала, в первый год, очень скучала по Вильнюсу, теперь он так далек от меня.

— Не могла долго обойтись без своих вещей и книг, теперь кажется: и не нужны уже вовсе... Даже книги. Купила другие. Целый шкаф.

*

Осторожно выспрашиваю многих; наконец, убеждаюсь: человек, как правило, не узнает себя в зеркале.

В разные годы *не узнаю* себя по-разному.

В юности вздрагиваю, не понимая: кто это передо мной? Видимо, внутреннее зрение создавало иной образ.

Сейчас *неузнавание* другое. Увы, падает интерес к человеку в зеркале.

*

Зато интересно наблюдать за тем, как здороваются с тобой молодые люди. В их глазах — порой внешне не заметная хитрость. Они думают о будущем — твоём и своём. Они точно знают: впереди у тебя — болезни и смерть. А они... они, конечно, сумеют обмануть старость. (В детстве я тоже был уверен, что если не сам, то кто-то другой совсем скоро изобретет чудесный эликсир бессмертия.)

Одну и ту же ошибку совершают все новые и новые поколения. Несколько десятилетий пролетают мгновенно — в вечной суете жизни. И вот уже другие *молодые* хитровато здороваются со старшими. Пытаясь спрятать во взгляде сочувствие, сожаление или даже легкое презрение.

*

Никогда ее не видел. Но когда-то опубликовал эссе об искренних, часто пронзительных стихах Э.Р. Лет десять мы не переписывались и не говорили по телефону. Спрашиваю теперь: «Где можно прочитать ваши новые вещи?» Э. молчит. Спрашиваю иначе: «Пишете ли вы стихи?» Молчит опять. Но потом отвечает — осторожно, думая, что я ее не пойму: «Я теперь иначе отношусь к стихам. Часто они пророчат несчастья и всегда — приносят печаль».

В самом деле, в минувшие годы несчастья сваливались на Э., как снежный ком. Сейчас она живет в Израиле, продолжает, как и многие годы, издавать чужие книги. «А свои?» — бестактно настаиваю я. «Зачем? Ведь все и обо всем уже сказано в Священных текстах: вся судьба наша — там».

Она напрасно думает, что не пойму ее.

*

Счастье — жить в согласии с собственной душой, а это значит — выполнить замысел Бога. Каждый из нас приходит на эту землю с какой-то миссией. Но, увы, мы не всегда понимаем, в чем она состоит. Нередко в конце жизни уже знаем от чего умрем, но по-прежнему не догадываемся о том, для чего появились на свет.

*

Восхищаюсь К.Н., который выпустил в эмиграции пятнадцать книг. Он приходит в офисы врачей, адвокатов, на встречи ветеранов. И сразу начинает читать фрагменты из своих поэм. Мешает работать? Конечно. Но не уходит, когда ему указывают на дверь: «Сначала помогите издать книгу! Кто сколько сможет...» Ах, если бы ему еще немного таланта! (1998)

*

Все тот же вопрос, иначе сформулированный: в чем заключается смысл человеческой жизни? Разные люди ответят по-разному. Самое

банальное — видеть смысл жизни в обретении богатства или славы. Человек в таком случае обязательно окажется у пресловутого разбитого корыта. Даже если его мечта сбудется. Не хочу сейчас открывать Америку — просто повторю мудрые слова Эриха Фромма, над которыми не раз задумывался: «Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе. Стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий — его собственна личность».

*

В интервью для юбилейного номера журнала «Крещатик» (Германия) меня спрашивают: «Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?». Начинаю свой ответ тоже с вопроса: какой смысл мы вкладываем в понятие «современная литература»? Уже давно подмечено: сейчас параллельно и, в сущности, независимо друг от друга существуют несколько литератур на русском языке. Одна — у всех на виду — представлена в столичных российских (демократических) журналах и обильно поощряется многочисленными литпремиями. Другая бурно функционирует в Интернете. Третья — увы, почти не замечаемая критикой — живет в эмиграции. Оборву перечисление. Потому что хочу говорить только о литературе эмиграции — вечной золушке на чужом балу. С русским языком у нее, слава Богу, все в порядке. Когда-то советские литературоведы угрюмо отмечали: в эмиграции русский язык как бы застывает — без подпитки «из кладезя народной жизни». Исключение, подтверждающее правило, делалось только для нескольких классиков: они будто бы увезли богатства языка, точно горсть родной земли, в скудном багаже изгнанника. А сейчас — откройте книги Дины Рубиной, Григория Кановича, Владимира Порудоминского, Бориса Хазанова, Андрея Назарова, Игоря Ефимова: вас захлестнет порой причудливая, всегда живая стихия русской речи.

*

Приезжие расспрашивают: как живут писатели в эмиграции? Общаются ли друг с другом? Сегодня подобное общение стало редкостью. Где сейчас «литературная среда»? Где традиционные центры русской эмиграции, существовавшие когда-то в Париже, Праге, Берлине? Они практически исчезли. В том числе и в США. Давно перестали объединять писателей разных стран и немногочисленные эмигрантские журналы.

С годами все чаще предпочитаю общаться с коллегами по телефону. В этом есть одно неоспоримое преимущество: голос, как и душа, не стареет.

*

Многие — в том числе писатели — отдают немало времени социальным сетям. Иногда думаю: социальные сети оглушают нас. Заглушают тихий голос Бога.

*

В мае 2018-го увидел разрушенную коммунистами Гавану.

Многие улицы в центре города, кажется, недавно пережили бомбежку. То и дело возникали печальные скелеты когда-то прекрасных зданий: полуразвалившиеся стены, окна без стекол. Поразительно: кое-где в мертвых домах все еще жили люди. Это не походило на реставрацию — нигде не было видно строительных лесов. «Ремонт или просто покраска фасада стоят очень дорого», — сказала, словно оправдываясь, экскурсовод. Но никто ей и не задавал «провокационных» вопросов. В автобусе, кроме нас с женой, сидели кубинские эмигранты или их потомки. Они и так все знали. Слава Богу, не так давно у них появилась возможность приехать сюда из Америки: на экскурсию, но главное — повидаться с родными.

Самое интересное в Гаване было связано с проклятым дореволюционным прошлым. Мы долго ходили по старому кладбищу. Здесь имелись другие улицы — из гранита и мрамора, возвышались поражающие глаз монументы, стояли даты: 1905, 1934, 1951 и т.д. А вечером мы побывали в знаменитом варьете «Тропикана»: смотрели представление, которое идет непрерывно с 1939 года. Его не тронули коммунисты. Великолепные певцы и танцоры; яркие, но ветхие костюмы, на которые у государства нет средств.

Вечером в городе почти не было видно огней. Люди сэкономили электричество. Шел проливной дождь. Несмотря на это, мужчине-туристов осаждали проститутки — в основном старые, уже истрепанные профессией. Конечно, вспомнил: когда-то курорты и публичные дома составляли славу Гаваны.

Все минуло. Когда мы выходили с корабля, нас заботливо предупредили: «Возьмите с собой туалетную бумагу».

*

Роль литературы в сегодняшнем мире ничтожна мала. Но должно ли нас это огорчать? Вряд ли. Гораздо хуже, когда литература становится «учебником жизни». Конечно, писатель помогает человеку понять мир и самого себя, свое предназначение на земле. Однако то же самое по-своему делают философия, психология, а главное — религия. Литература же — это, прежде всего, волшебная «игра в бисер»: в нее играют немногие. Что ж, пусть такой и остается.

*

Взглянув в зеркало, всегда сразу узнаю глаза.

Серые, в красных прожилках, почти потухшие. Но все еще о чем-то спрашивающие.

2020

Александр РАДАШКЕВИЧ

/ Париж /



РАЗГОВОР¹

Вещи, которым я отдал душу,
по частям расточают меня.

Рильке

Строить мир на руинах
мира, где поют только мёртвые
птицы, видеть дали с дырявой
изнанки, где большие и малые
вещи не имеют ни смысла, ни
вида, потому что их не с кем
делить. Помолчим же, мой друг,
помолчим тут у самого, у
порога, где обломки почившего
неба и змея серебристой дороги
закусила свой пыльный хвост,
а в конце обнажённого света
льют и льют обомлело дожди,
где все, кто здесь любил
случайно, положат голову
на прошлое плечо.

2012

* * *

Я вижу, время на исходе
утешных слов, и всё
прозрачнее лакуны
календарей. Я чую,

¹ Стихи из книги «Реликварий ветров», Алетейя (СПб.) 2020 г.

пепельные реки
пошли в обхват, и над
мостами отлетали твои
рассветные шаги.
Я знаю, трётся борт
атласный лады небес
о сушу снов, и слышу
хор дневной, безгласный
там, где в подводном
мире яви над нами
ласточки ныряют
чужой весной.

2011

* * *

Мой друг, легли твои дороги
не тем крестом, что грезился, зане
не те горчинки кружат пеплом,
пирс обрывается в обратных зеркалах
в не то раздавшееся море,
покрывшее всей толщей немоты и
города, и толк речей, и годы.
И для чего, и для кого нам упадать
под бременем чужой и серой
ноши, и если бы не взгляд за рамой
мироздания, и если бы... Мой друг,
взошли твои надежды не тем
цветком, не то кино уныло крутит
быль в пустых и пыльных
залах, не тем богам кадят в безумье
люди, и нам осталось так немного
в тени небес, на топких тропах
прозябанья, лишь этот взгляд,
лишь этот вздох, немой и
непременный, длиною
в чью-то жизнь.

2012

ГРУЗИНСКОЕ

Там, где маки Ахалкалаки, где
бекасы Палеостоми и злое счастье
яви в кувшине саперави, бегут,
как на работу, бездомные собаки
и, как в жизни позапрошлой, вслед
моргает телёнок рыжий
иконным оком
Пиросмани,
и кажется, доехали до полной
остановки, до тополя дорожного и
воробьёнка пегого на предпоследней
ветке, где так легко оплакать
и так легко восславить эти маки
Ахалкалаки и на кресте
озёрном трёх бекасов
Палеостоми.

2013

ВОГЕЗСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Сесть на площади Вогезов и подумать: это всё,
как в фонтане пьющий вяхирь,
аккуратно и неспешно, всё решительно по мне,
как безветренная вечность или та пивная пена —
сдул, и нету ни фи́га.
Всё планирует, щебечет, упивается собой:
тут младенцы, как болонки, вплавь пустились
по траве, там скамейки, что качели
на лианах грешных снов, и в опале предвечернем,
в бликах плотских и святых, даже смерч
развоплощений огибает эту сень.
Сесть на площади Вогезов в дым лепечущих
веков, видеть стриженные кроны,
слушать души, трогать тени,
пить немую благодать,
и тринадцатый Людовик, улыбаясь
в ус барочный мушкетёрам, мне и небу,
с луноокими белками спит на каменном коне.

2013



Галина БЕЛЬСКАЯ

/ Братск /

Уважаемая Галина! Если бы я прочитал отдельно рассказ «Тень», замыкающий цикл и написанный сравнительно недавно, я бы, наверное, подумал, что вот еще одна начитанная, интеллигентная русская женщина пробует свои силы в имитации популярных литературных приемов высокого стиля. Но ранние Ваши тексты не оставляют сомнения в том, что Ваш способ самовыражения постоянен и рожден чем-то более глубоким, чем случайные литературные веяния. Вы, я думаю, органично — и по врожденному дару и по особенностям судьбы — пришли к редкому для женщины философско-лирическому переживанию жизни. Иногда это свойство так и остается в человеке, терзая его невозможностью самовыражения. Вас же Природа одарила еще и чувством языка, ощущением стиля. Я очень боялся, читая Ваши эссе, наткнуться на банальные приемы письма, затертые слова и фразы, но Вы, к счастью, обошлись без этого. Искренность Вашего мироощущения подтверждена свежестью языка. Мне нечему Вас учить, ибо Вы органичны. У Вас не будет много читателей, но какому-то одинокому страннику жизни Ваш строй души и мысли будут созвучны. А больше и не требуется.

Я пересылаю Вашу подборку главному редактору журнала «Крещатик» Борису Марковскому вместе с этим письмом. Если дело дойдет до публикации, то оно станет предисловием. А Вы наберитесь терпения и работайте. Желаю успеха!

Владимир Арро

ЧТО-ТО КОНЧИЛОСЬ

Полосой отошло время. Косым осенним дождем. Серыми тучами. Опавшими листьями. Когда окончилось время? Трудно уловить. Оно уходит, укатывается, стелется вдали. Чуть-чуть только тебя прихватывает, не оставляя совсем в прошлой бездне. Бездне дней и ночей, прошедших как будто случайно. Как будто в черновике, в ожидании перебелки начисто.

Там, во времени, было много солнца, улыбок и все это оказалось фальшивым. Но разве может быть фальшивой жизнь, если не было предательства, и лишь была уверенность, что живешь? Разве фальшивы глаза, волосы, усталая походка, сутулость, седина, утраченное зрение и извилистая обжигающая нить под сердцем. Организм страдал, болел, вылечивался, старел, приходил в негодность. Какая-то высшая сила тащила его по острым камням. И куда? Чтобы бросить его посреди дороги, сказав «Что-то кончилось».

И где та завершенность, созвучность природе — начало, восхождение, расцвет, долгое цветение и тихое увядание вместе со временем? А теперь слом, падение, уход времени куда-то в сторону и изменение привычных душе очередностей. Как бы подбирается проклятье неизвестно за что. И, кажется, если бы начинать все снова, то как пойти, куда поспешить, от чего отказаться, за что удержаться? Река времени протекла. И как ее осудить? Она текла, подтаскивая нас за собою. У нее не было даже улыбки, она как бы без зренья, не дай бог заглянуть в ее зрачки.

1995 г.

ПАМЯТЬ ПРИРОДЫ

Что она помнит? Она витает над землей, подобно бабочке перепархивает от одного погибшего холма к другому. Какова она? Есть ли в ней материя или это сгусток прошедшего, обратившийся невидимым? Трудно предугадать, чему она отдаст предпочтение, кого одарит своим полетом, где опустится — считай, что это уже тлен. Сюда прилетела память природы. Она неуловима, иногда долго не заглядывает, словно ее сердце не подсказывает вектор направления. Но она как бы окутывает землю. Трепетен взмах ее тончайших крыльев. Нечто невероятное. Тем более, если представить изумительный рисунок, вытканый симметрично. Вглядишься в бархат ткани, концентрацию цвета — никаких полутонов, кисть художника абсолютна, это даже не кисть, а печать данности. Так и не иначе. Если сердце спокойно, она отворачивает от направления в пространстве. Но память природы упряма. Она настойчива как мать, потерявшая самое дорогое. Она стремится на место катастрофы, надеясь отыскать хоть частицу, которая помогла бы ей восстановить ощущение жизни. Сидя у дороги, она растворяется в пейзаже и превращается в настораживающий знак — здесь поселилась память природы. Есть ли у памяти природы чувства, например боль, или такое ощущение — старая рана? Отчего она так долго не заживает? Она неустанно движется вдоль своего тревожного вектора. Приблизившись к месту происшествия, она совершает ознакомительный плавный облет, как бы определяя температуру трагедии, и опускается туда, откуда идет излучение. Начинает-

ся работа, сродни восстановлению иконы. Она пытается заткать прорванное полотно, насильственную дыру, летая от одной стороны рваной раны к другой, словно челнок, сокращающий бездну. За работой она забывает свое горе. И, завязав последний узелок, тонкой нежной спиралью определив дальнейшее направление, она вспархивает и летит безошибочно туда, где пространство давно уже наполнено ожиданием ее. И вновь принимается за работу.

2006 г.

ВСЕЛЕННАЯ

Как пережить эту массу, которая наваливается на тебя, как только ты посмотришь на звездное небо? Сразу вспоминаются школьные дроби, единица в числителе и бессчетное количество в знаменателе. Кто это в числителе, кто всегда готов поделиться, раздать себя на бесконечное число протянувших к нему рук? Все, кто хотят, страдают обрести — обретают, всем будет дано. Но где же взять, чтобы было это «дано»? Что происходит во Вселенной на самом простом, элементарном уровне? Она когда-нибудь отдыхает? Ведь бывают же на земле скучные летние дни, когда некуда деться, все разъехались, пыль перед дождем легко поднимается вверх от касания падающего листа, который уже свое отжил. Тихо. А потом так все вздрогнет, не зря же дроби. Нет, Вселенная не спит, там идет работа, как в хорошей кузнице, только подавай, все идет в переплавку, там отливаются новые жернова, чтобы смолоть пшеничные зерна, которые один за другим, тысячами и тысячами, миллионами и миллиардами идут к ней, склонив голову, словно нет им другого счастья.

2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

Сколько невероятных изменений происходит в природе с наступлением холодов. К этому времени минует уже пора листопада, деревья стоят обнаженные, видны стволы, которые летом укрыты зеленою листвой. День-другой, а то и несколько дней кряду идет снег, который истаивает в солнечные дни. И только после сильных метелей, когда и в двух шагах ничего не было видно, устанавливается снежный покров, который ожидают охотники. В пору эту реки еще не замерзли, только по берегам уже появляются легкие и прозрачные забереги, через которые можно разглядеть прибрежные камни и зеленую траву, послушную волнам. И так до первых сильных морозов, когда забереги превращаются в лед до самого дна и

ото дня ко дню уменьшается площадь незамерзшей еще полыньи. В это время обычно бывает безветренная погода и над водою стоит туман. Таинство замерзания укрыто от взгляда, лишь отдаленный треск напоминает нам, что вода стынет и замерзает до весны. Но совсем по-иному замерзают малые речки, притоки, которые берут свое начало в предгорья Саян. Они по всей своей длине имеют очень крутой нрав, и течение их сопровождается шумом. Берега этих речек обычно утопают в черемухе, и когда наступает пора ее цветения, кажется, что на земле рай. С приближением зимних морозов берега оголяются, речка стихает, она как бы уходит к своему руслу. Вчера еще движение прозрачной воды завораживало взгляд: вслед за водой перекатывались небольшие камни, тучи песчинок поднимались со дна и вновь опускались, создавая игру теней, плыли вслед за течением серебристые рыбки, устремляясь к большой реке. А на другое утро, после ночного мороза, речка становится прозрачной до самого дна, и все, что так стремительно несло вместе с нею к реке, также остановилось в немом недоумении. Там и оранжевый лист осины и сломленная ветром ветка черемухи с черными уже высохшими ягодами и кое-где вмержшие в лед серебристые рыбки, поднявшие вверх недоуменные взоры. До первых снегопадов лед на такой речке прозрачный и гладкий, и по нему скользят первые лучи утреннего солнца, создавая картины неземной красоты.

2016 г.

О НАБОКОВЕ

Должно быть, Чародей носил в себе болезнь, сам не сознавая того. Она, незаметно для стареющего тела, поторапливала его, заставляя привести незавершенное в относительный порядок. Говорят, каждая строчка была прибрана, как в пору его честолюбивой молодости. Известно также, что он был атеистом и не растрачивался на обращение к божественному началу. Тем очевиднее его невероятно напряженное воздействие почти через пол-Земли. Воздействие с целью хоть как-то передать свое, доведенное до совершенства, умение разглядеть в предмете основу, не подвластную обычному, поверхностному, земному зрению.

Осмелюсь предположить, что Чародей тосковал об ученике. На той земле, по которой он ходил и чей безразличный дождь ловил уже уставшими плечами, ученика у него не было и быть не могло. Чародей укрылся за иным алфавитом, иным слогом, иной энергетикой предложения. Здесь он работал как мастеровой, как гончар, перемешивая старую глину, и, нажимая на педаль хорошо налаженного гончарного станка, создавал сосуд, форма которого обещала иное содержание. Годы и годы были потрачены на пре-

одоление чужого материала, и чародейство его вновь засияло. Он мог бы спокойно чувствовать себя гражданином мира, потому что мир оказался подвластным ему, читал и перечитывал его. Весь мир, кроме его Родины...

Он понимал искусственность этого состояния, далеко не заглядывая и требовательными руками перебирал пространство вокруг себя, как бы отыскивая хоть слабый отзвук или созвучие. И вот настойчивое желание Чародея напасть на желаемую ноту, совпасть, чтобы его волна не угасала вовсе, а продолжала свое движение, настойчиво стала пробиваться через встречные силовые линии, используя попутные облака, дождь, а чаще всего попутный ветер, тихий посвист которого умолял взглянуть вокруг другими глазами, умолял подставить под него свое ухо и в потоке естественных, простых, скрипучих звуков различить тончайшую мелодию ушедшего дня, тоскливую ноту угасшей любви.

1993 г.

СОЖАЛЕНИЕ

Рассвет еще не близок. Тихо. Ни шороха, ни звука на земле.

Планета спит. И по границе сна проходит разделение, раздвоенность, разлад, снижение скоростей, обратное течение, абсурд, принятие неверного решения — по нему движение в неверном направлении. В отрезке суток, когда исправно солнце светит, и ветерок сквозит, и лист старается над тению своей, чтоб не напрасно день прожить, лишь тот, кто по неверному решению спешит, душе не дав покоя ни на миг, лишь он напрасно время тратит, и ему не раз еще придется пожалеть о принятом решении. Но исправить уж ничего нельзя: труд требует конца, вершины, завершения. И лишь потом, когда усталою рукой он уберет с лица слезинки горечи, тогда поймет он, что напрасно время тратил и пожалеет о принятом решении.

1995–2015 гг.

ТОНКИЙ СТИЛЬ

Любовь прилетает туда, где ее ожидают. Она поднимается на вершину, управляет событиями, увлекает в линию своей спирали совпадающих по энергетике людей, создает условия для их узнавания, раскрывает все стороны их дарований, божественных дарований, истинных дарований. Ведь Любовь есть Бог. И только Любовь имеет значение для Бога. Только Любовь. Его работа, его замыслы идеальны. Тонкий стиль. Поэтому Любви не так уж много на Земле. Кто может воскликнуть: «У меня истинная Любовь!» Никто. Никому

вначале это не ведомо. Лишь потом, когда пройдет время, кто-то увидит случайно необычные совпадения, божественные совпадения и поймет, что это была Любовь. Может быть, это будет только догадка. Бог загадал, а мы должны разгадать. Время прошедшее позволит открыть эту великую тайну, загадку Бога. Но неужели Бог присматривает за людьми? Ответа нет. Может быть, он следит за возможностями людей и, заметив ростки этих возможностей, возвращает их. А что уж потом происходит, человек сам распоряжается, сам управляет, если может, конечно. Возможности человека неограниченны, но они расходятся в разные стороны. Одному надо совершить только поступок в защиту другого человека, потому что любой поступок это в защиту. Этот поступок уходит в пространство, но остается во времени. Навсегда. Ведь это Любовь Бога. Это драгоценность. Надо понять истоки этой драгоценности, которая не меркнет со временем, а все больше и больше начинает светиться, открывать свои грани, иногда даже ослепительно сверкать, озаряя сознание величайшими догадками. Можно ли Любовь сравнить с драгоценным камнем? Да. Но с камнем, глубоко упрятым от взгляда. Этот камень не обладает властью, он только свидетельствует правду. Правду Любви Бога.

ТЕНЬ

Тень знала, что она одна единственная у него. Она очень не любила дружбу с другими тенями и старательно обходила их стороной в любое время года. Иногда Тени удавалось прочесть в книгах, которые ей встречались, что любая тень вездесуща, непокорна, капризна, почти не улыбается прохожим, которые встречаются на пути, никогда не уступит дорогу, даже если ей пройдут по голове и многое еще чего у нее есть, чего нет у других. Но она знала, что она навеки с ним и это было самое главное. Никогда, ни за что он не покинет ее. Она собиралась за ним даже в могилу. Правда, там нет солнца, но он сам светится особым светом, и этого будет достаточно, чтобы ей быть рядом. Он создаст меня. Когда он шел медленно или сидел на скамейке в парке и думал о чем-то своем, Тень думала, что вот сейчас самое время объясниться с ним, дать ему понять, что они неразлучны и что она любит его. Но иногда он спохватывался, ускорял свой шаг, почти бежал, смотрел на часы, отмахивался от знакомых, кому-то звонил на ходу, слегка остановившись, и вновь припускал, так, что она едва попевала за ним. Вот он юркнул в железную калитку, и пока плотно прикрывал ее, Тень оставалась в другом пространстве, за воротами. Но вот он стремительно бросился к парадному подъезду, и Тень устремилась за ним, зная, что у дверей он будет долго звонить, искать домашние туфли, будет причесывать свои волосы, которые растрепались от быстрой ходьбы, почти бега. Все это время она, прижавшись к стене дома, смот-

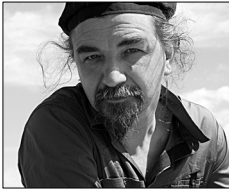
рела на него недоуменно и настороженно. Она знала, что дальше ей хода нет. Сейчас он, как только дверь откроется, нырнет в полумрак гостиной, где никогда не зажигают лампы и дальше взлетит по лестнице на второй этаж, в кабинет, где шторы так плотно закрыты, что не пробьется ни один дневной луч. Что там можно обсуждать в темноте? Ах, да! Там его друг, профессор и он болен, не выходит, не переносит солнца, такая болезнь. Абсолютно не переносит солнечного света. Подождем — прошептала себе Тень и растворилась. Только бы успеть за ним, когда он выйдет. Она заметила, что ее стала опережать другая, совсем тощая и очень проворная. Если я не буду стоять возле дверей, они быстро проследуют и уж тогда будет посмешище — двойная тень. Но это, смотря, как долго они с профессором будут обсуждать свою тему преломления света в условиях двойных звезд. Растворенная в солнечном свете, Тень отдыхала, будто перед этим у нее был напряженный день. Дальше все произошло очень быстро, почти стремительно и она не успела кинуться вслед за ним, когда он вылетел из дверей. Он остановил машину, почти впрыгнул в нее и умчался, оставив ее без движения. Она поняла, солнце перешло через крышу дома и стало готовиться к закату. Делать было нечего, Тень устроилась на деревянной скамейке, возле которой копошилась садовая птица. Неожиданно она взлетела, услышав стук калитки. Тень насторожилась в ожидании, может быть, он уже вернулся и она понадобится. Но нет, это была машина скорой помощи, в которую быстро перенесли его друга, закутанного как мумию. Машина вскоре уехала, и вокруг стало тихо, словно дом опустел, хотя в доме осталась горничная. К Тени вновь приблизилась птица, будто что-то хотела рассказать, то, что совсем недавно случайно узнала. Но приехал он, голова его медленно двигалась над кустами. Он приблизился и упал на скамейку рядом с Тенью. Тень встрепенулась, ей хотелось обнять его. Она смотрела на него, как он устал, буквально за два-три часа. Его синие глаза, укрытые длинными темными ресницами, смотрели куда-то вдаль, Тень очень любила его глаза. Ей казалось, что это самые красивые глаза на свете. Иногда она ловила на себе его взгляд и это были мгновения ее счастья. Спустя время, словно бы очнувшись от забытья, он стал разговаривать по телефону со своей секретаршей. Он попросил отдать в срочную чистку два светлых костюма из шкафа в кабинете, заказать билет на утренний рейс в Лондон и сделать несколько копий доклада на английском языке. Он сделал еще звонок своему коллеге, с кем он любил обсуждать текущие дела. Он сказал, что профессора пришлось госпитализировать, а поездку оформили на него и завтра он вылетает в Хитроу. Конечно, там, как обычно, дождь, но ему все равно, главное доклад. И что он еще должен подняться наверх, посмотреть кое-какие расчеты, которые профессор сделал в последние дни и из-за которых у него случился при-

ступ. Это открытие — спросил коллега. Нет, ответил он, но очень близко к истине. Но ты об этом не скажешь в докладе? Конечно, нет, но цифру я должен хорошо представлять.

Он стремительно поднялся и скрылся за дверью. Тут же выглянула горничная и плотно закрыла дверь, щелкнув замком. Теперь он там надолго, подумала Тень, может быть, только на рассвете выйдет, и я не успею за ним. Она насторожилась, напряглась, ждалась, почти превратилась в точку. В доме было тихо, но где-то что-то равномерно стучало, словно какой-то счетчик. Вдруг раздался его крик, и распахнулось окно на втором этаже. Он почти вывалился из окна и стал крутить головой во все стороны, как бы отыскивая что-то. Где, где — кричал он, куда оно делось?

Тут же, сидя на окне, он стал разговаривать с коллегой, называя его Юрочкой и, старался убедить его в том, что никто не хотел принимать за истину. Не стесняясь, он кричал на весь сад, что когда объект будет приближаться к другому источнику света, на мгновение он будет исчезать из жизни и первой исчезнет его тень, а потом уж все остальное. А затем начнется новая жизнь с новыми ее задачами. А если не двигаться в этой точке, то можно все переформатировать и все начать заново. Избежать ошибок, которые еще неясны, но неотвратимы. Сейчас я рассчитаю этот период. Он слез с окна, углубился в комнату, затем ему принесли кофе, Тень почувствовала запах его любимого напитка. Перед рассветом за ним приехала машина, и он сразу отправился в аэропорт, где, пройдя таможенный контроль, устроился в глубоком кожаном кресле и стал перечитывать свой доклад, время от времени взглядывая вокруг себя, словно что-то отыскивая. Тень, уяснив, что в Лондоне дожди и там ей делать пока нечего, так и осталась на скамейке в профессорском саду. У нее завелась любопытная соседка, садовая птица, которой до всего было дело, и она знала кучу интересных новостей. Обе они ждали.

2018 г.



Юрий МИХАЙЛИЧЕНКО

/ Барселона /

О МЕТАМОРФОЗАХ ЖИЗНИ ВО ВРЕМЕНИ¹

однажды с радостью принять свою ненужность
когда по кладбищу идёшь в сырую осень
и понимаешь в тишине крестов под небом
что через месяц о тебе совсем не спросят

что через год всего лишь память одиноких
когда-то близких и родных на полустанках
висеть на стенке фотографией затёртой
среди таких же заключённых ране в рамках

словам не веруя, закончится столетье
где ты как ветер, то бездумно, то бездомно
где, как и все, в порыве суетности вечной
оставишь что-то там незавершённым

Пряшев (Словакия)

ЕСЛИ ЗДЕСЬ — ЭТО ЗДЕСЬ

Е. Гончаровой

лишь кусок бытия на котором мы выстроим что-то
непонятных пропорций, с ненужным
количеством дней
мы приходим сюда, чтоб похожими стать на кого-то
приводя за собой в этот мир непонятных детей

¹ Стихи из книги «Юрьев день», Алетея (СПб.) 2020 г.

нам не страшно что мы ничего абсолютно не знаем
мы идём напролом, день за днём,
так и строятся дни
где-то там далеко, впереди что-то названо раем
он у каждого свой, как и суть пониманья любви

отрицая себя мы так часто похожи на воду
где свои берега и души недостроенный храм
умерев умереть, как из клеточки вдруг, на свободу
если здесь — это здесь, то по логике там — это там

мы живём наугад, мы лишь звенья эпох и империй
столько судеб и лет напролёт у закрытой двери
мы не знаем кто мы и поэтому искренне верим
в наше вечное я, где-то там, далеко от земли

ТАЛЛИН

С. Довлатову

от Союза до независимости
неба близость, привыкнуть хочется
старый город в сердцах бульжником
грусть эстонского одиночества

что-то странное в звуках медленных
мысли вечною перепискою
Таллин хмурым вдовцом из прошлого
мне в затылок заливом Финским

СЕСТРЕ

И. Б.

моя сестра вот-вот из ссылки
закинув лето на носилки
репейник августа на спину
весь дом в стиральную машину

руками дачные манатки
сентябрь пугалом на грядке
и чернозёмом вороньё
уже не трогает её

народ стекается в берлоги
где по асфальту ходят ноги
и в лабиринтах этажей
уют прогретых батарей

у города свои законы
свои слова, свои вороны
у города не ширь, а высь
у города не кис, а брысь

у города свои заботы
и оборот от оборотов
своя картошка в магазинах
свои дела, свои причины

что цены выросли конкретно
и телевизор пистолетом
пугает в духе староверов
измученных пенсионеров

пора уже забыть про лето
хоть и не лето было это
а что-то так, намёк на зелень
чтобы грачи к нам прилетели

13 сентября 2017

ПРОСТО МЕСТО

я в оглядочку смотрю
и безбожно водку пью
отчего-то в феврале
очень холодно в Москве

под ногами гололёд
кризис пенсии жуёт
кто поможет разобраться
как живым дойти до ЗАГСа

для кого-то дом и дети
для кого-то всё на свете
для меня же просто место
где живёт моя невеста

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Лейпциг /



ИГРЫ ДЕТЕЙ НА КРАЮ ХОЛОКОСТА

Три четверти века минуло с тех пор, как закончилась самая страшная война современности и провалилась иррациональная попытка уничтожения народа Библии, весьма рациональным способом превращенная нацистами в реальность и поставленная на поток. Конвейер смерти работал четко, с немецким «орднунгом», в течение нескольких лет. В газовых камерах и печах концлагерей Польши и Западной Европы, во рвах Восточной Европы, таких как Бабий Яр в Киеве и Понары под Вильнюсом, было ликвидировано шесть миллионов мужчин, женщин и детей, включая младенцев, в жилах которых текла древняя еврейская кровь. Это чудовищное преступление вошло в историю как Катастрофа еврейского народа, или Холокост. И провал бредовой сатанинской программы нацистов, ставшей законом «об окончательном решении еврейского вопроса», т.е. о тотальном уничтожении народа, сделал возможным через три года после капитуляции Германии осуществить давнюю идею сионизма — о возвращении в Сион, где через две тысячи лет было вновь создано еврейское государство.

Холокост как экзистенциальная реальность — это и сегодня для теологии, философии, литературы и искусства острая и болевая тема, требующая осмысления. Кинематограф вносит существенный вклад в осознание этой проблематики, эмоционально воздействуя на зрителя, подключая его к травмирующей психику реальности для сопереживания, которое может привести к катарсису.

Три фильма — два полнометражных и один короткометражный, созданные на протяжении десятилетия: с 1997-го по 2008 год, визуальным языком кинематографа показывают детское восприятие этой запредельной реальности. Три сюжета, три истории, и каждая из них потрясает талантливым и достоверным изображением детского непонимания этой иррациональной ситуации, к которой малыши прямо или косвенно оказываются причастны. Герои этих фильмов — ма-

ленькие мальчики (от четырех до восьми лет) воспринимают окружающую действительность как игру, потому что иначе она не вмещается в их детские души.

В каждом фильме это показано по-своему, но если рассматривать эти сюжеты как единое целое, то вместе они создают мегасюжет, объемное, голографическое изображение детского взгляда на Холокост.

Первым появился фильм «Жизнь прекрасна» (1997, Италия, режиссер и исполнитель роли отца Роберто Бенини), трагикомедия (!), в которой отец — еврей по имени Гвидо в концлагере внушает своему 4-летнему сыну Джозуе, что всё, что ребёнок видит вокруг, — это лишь игра, где есть жёсткие правила: нужно прятаться от всех людей в военной форме, нельзя плакать, жаловаться и просить есть, когда голоден. За соблюдение этих правил присуждаются очки, и если малыш наберет 1000 очков, то получит главный приз — настоящий танк. О таком мальчик не мог даже мечтать, поэтому очень старается этот приз выиграть. Несколько раз возникают очень напряженные моменты, но всё обходится благодаря стечению обстоятельств и молниеносной реакции отца. И уже в самом конце, перед освобождением лагеря, отец велит сыну спрятаться в будке и ждать сигнала, а сам пытается увидеть свою жену-итальянку, которая добровольно последовала за мужем и сыном в лагерь и находится в женской зоне. В этот момент его задерживает охранник и ведет на расстрел. И проходя мимо будки, где прячется сын и глядит в отверстие, отец, чтобы не испугать его, изображает веселье и бодро шагает к стене, которая уже не видна малышу, где и погибает от пули охранника. А малыш действительно видит настоящий танк и даже имеет возможность прокатиться на нем. Он получил свою награду и счастлив, тем более что мать находит его и сжимает в объятьях.

В основе сценария этого фильма, получившего несколько «Оскаров» и другие престижные кинопремии, — два документальных источника: книга Р.Р.Сальмони «Я победил Гитлера» (о том, как автор, прототип героя Р.Бенини, выжил в Освенциме) и история спасения 4-летнего Юзефа Янека Шляйфштайна в Бухенвальде, где он оказался со своим отцом в возрасте двух с половиной лет. Еще до лагеря годовалого ребенка целых полтора года прятали в подвале с кошкой, которая не подпускала к нему крыс. История с игрой тоже документальна. Когда отца отправляли в Бухенвальд, он забрал ребенка из подвала и, пообещав три кусочка сахара как награду за полное молчание, посадил в заплечный мешок. Таким образом Юзеф оказался на территории лагеря, что было категорически запрещено. Отец как-то смог внушить своему крошечному сыну, что это игра, по правилам которой нельзя попадаться на глаза охранникам, иначе его заберет злая колдунья, а если он будет слушаться, то в награду получит танк. В фильме усилена трагическая часть финала, потому что в Холо-

косте (редчайшее исключение!) выжила вся семья: к моменту освобождения лагеря уже четырехлетний малыш Юзеф и его отец — в Бухенвальде, а мать — в Дахау, куда она была переведена из Берген-Бельзена (где от голода и эпидемии в числе других узников погибли Анна Франк и ее сестра Марго). Правда, в Бухенвальде малыш чудом дважды избежал гибели, когда был обнаружен нацистами.

Для прояснения ситуации со спасением Юзефа в Бухенвальде следует сказать, что прятался там не он один, были спасены 18 маленьких детей и подростков, среди них Юзеф самый младший. Это стало возможным благодаря помощи заключенных немецких антифашистов, которые кормили и помогали прятать детей. И еще следует учитывать, что Бухенвальд был не лагерем уничтожения (в отличие от Освенцима и др.), а рабочим лагерем, где условия существования узников были легче для выживания. Хотя там тоже убивали, казнили людей, но не было бесперебойной работы газовых камер. Число спасенных в Бухенвальде детей, возможно, еще больше, но восемнадцать их на фотографии, сделанной сразу после освобождения концлагеря американцами, и Юзеф там стоит в самом центре. В 1947 году он был юным свидетелем обвинения на суде над охранниками Бухенвальда.

Второй по времени создания была короткометражная лента «Страна игрушек», (2007 год, Германия, режиссер Йохен Фрейданк, в 2009-м кинолента получила «Оскара» за лучший игровой короткометражный фильм). За 14 минут конспективно и лаконично показана история, которая могла бы произойти в Германии в 1942-м году, когда началась депортация немецких евреев в концлагеря. Идея этого сюжета возникла у режиссера фильма в тот момент, когда он не смог сказать своему маленькому сыну правду о том, что изображено на шокирующих документальных фотографиях.

В центре сюжета шестилетний немецкий мальчик Генрих, который дружит со своим сверстником и соседом, еврейским мальчиком Давидом. В квартире родителей Давида оба мальчика с удовольствием играют на рояле в четыре руки, и отец Давида говорит, что они делают успехи. Генрих упоминает своего отца, и очевидно, что тот на фронте, хотя об этом и не сказано прямо. Через несколько дней интеллигентную и ассимилированную еврейскую семью — Давида и его родителей — должны отправить в концлагерь. Показано, что другие соседи в доме — юдофобы. Но мать Генриха не антисемитка, и очевидно, что она симпатизирует родителям Давида. Чтобы не травмировать психику сына, она говорит ему, что его друг Давид с родителями уезжает в «страну игрушек». И Генрих решает тоже с ними поехать, он не хочет расставаться с другом и предвкушает захватывающие приключения в этой таинственной стране. Мать объясняет, что это невозможно, потому что эта страна очень далеко и там живут огромные и страшные игрушечные звери. Но малыш не отказывается

от своего плана, даже собирает чемоданчик и втайне от матери выбегает во двор, где уже стоит машина, в которую садятся Давид и его родители. Однако полицейские не позволяют Генриху ехать с другом. Он не сразу возвращается домой, и мать Генриха, думая, что он уехал с соседями, бросается на вокзал. Сначала ее принимают за еврейку и оскорбляют, но когда она показывает свой паспорт, отправляющие спецэшелон офицеры открывают уже закрытый на заставы вагон, где она видит соседей и Давида. Понимая, что рядом нет ее сына, она после некоторого колебания протягивает руки к Давиду, называя малыша Генрихом, и его родители, переглянувшись, отдают ей своего ребенка. Офицера, вероятно, что-то насторожило, и он внимательно рассматривает лицо ребенка, но не находит у него никаких явных семитских черт. И когда мать Генриха возвращается с Давидом в свое жилище, ее уже ждет вернувшийся домой сынишка. В финальной сцене мы не видим лиц, видны только руки двух пожилых мужчин, которые так же, как в детстве, играют в четыре руки, а на стене висят фотографии их родителей.

Третий фильм в этом ряду — «Мальчик в полосатой пижаме» (2008 год, Великобритания, режиссер Марк Херман, по одноименному роману Джона Бойна, получил несколько кинопремий, в том числе «приз зрительских симпатий»). Главный герой — восьмилетний немецкий мальчик Бруно, отец которого назначен начальником концлагеря, где содержатся евреи, и семья поселилась в доме недалеко от «места работы» отца. Ребенок не понимает, конечно, где он оказался и что происходит на самом деле. Он смотрит пропагандистский «документальный» фильм о том, как хорошо живется евреям в лагере, который похож на «ферму», где они после работы ходят в кафе, веселятся, а дети играют и горя не знают. Бруно во время прогулки подходит к огороженной колючей проволокой территории и думает, что эта та самая «ферма». По ту сторону проволоки он увидел мальчика, своего ровесника, познакомился с ним и вскоре подружился, хотя общаться им приходится только через проволоку. Мальчик этот, по имени Шмуэль, говорит Бруно, что он еврей и здесь находится со своим отцом. Бруно вспоминает пропагандистский фильм и делает вывод, что его новому другу-еврею неплохо живется на этой «ферме». Он думает, что это такая странная игра, где люди на «ферме» ходят в полосатых пижамах и с пришитыми к одежде номерами. Его новый друг в «полосатой пижаме» тоже не до конца понимает, куда он попал. Периодически из высокой трубы идет дым, и мальчики думают, что это сжигают старую одежду. У Шмуэля пропал отец, и он говорит об этом Бруно, когда тот в последний раз приходит к проволоке, чтобы попрощаться с другом, потому что должен уехать со своей семьей. Бруно хочет помочь другу найти его отца и просит принести такую же «полосатую пижаму», по его размеру, чтобы незаметно проникнуть на эту «ферму». Шмуэль приносит «пижаму», Бруно делает подкоп, переодевается, оставляя свою оде-

жду снаружи, и подлезает под проволоку. Мальчики бегут в барак, где их почти сразу вместе с другими узниками загоняют в газовую камеру, потому что как раз в этот момент в концлагере проводится «акция». В последних кадрах фильма начинаются поиски Бруно, находят его одежду и понимают, что ребенок каким-то образом проник на лагерную территорию. Его отец, начальник концлагеря, зовет сына, кричит: «Бруно, Бруно!», но на его лице читается страшная догадка, что в живых он своего сына уже не увидит.

Все три мастерски сделанных фильма — игровые (художественные). Их сюжеты, на документальной основе («Жизнь прекрасна») или вымышленные, но вполне возможные в мире сюрреализма («Страна игрушек» и «Мальчик в полосатой пижаме»), по сути, архетипичны. В этих кинолентах изображены разные грани и повороты одной темы, которую можно назвать «Игры детей на краю Холокоста». Интересно, что самая невероятная история, показанная в фильме «Жизнь прекрасна», основана на реальных событиях, а два придуманных сюжета воспринимаются как более жизненные и приближенные к реальности.

Короткометражный фильм «Страна игрушек» фактически не подвергался негативной критике. Немецкий взгляд на травмирующую проблематику Холокоста здесь ограничивается показом тревожного ожидания, беспокойством немецкой матери за судьбу своего маленького сына, но в финале благополучным исходом, благостной картиной спасения еврейского ребенка немецкой женщиной. Сюжет действительно очень трогательный, но это облегченное изображение фактически остающейся за кадром (если не считать показа спецэшелона для депортации евреев в концлагеря) черной тучи, полностью закрывшей небо в нацистской Германии и оккупированных ею странах и названной позднее Холокостом. Здесь это дано лишь как некий фон, напрямую не затрагивающий жизнь немцев в 1942 году, когда они еще надеялись на победу Третьего Рейха.

Оба полнометражных фильма не были восприняты однозначно положительно и подверглись критике за неадекватное, искаженное изображение Холокоста и за неправдоподобие деталей.

Фильм «Жизнь прекрасна» многих шокировал своим своеобразным юмором, который очевиден даже в трагической части, где действие происходит уже в лагере. Но мнения, что это неуместно и даже оскорбительно, поверхностны и не учитывают документальный источник сюжета — написанную в трагикомической манере книгу воспоминаний об Освенциме Р. Р. Сальмони «Я победил Гитлера». К тому же в фильме изображен не этот самый страшный лагерь — символ Холокоста, а скорее напоминающий Бухенвальд, где удалось спасти около двух десятков детей.

Киноленте «Мальчик в полосатой пижаме» некоторые критики приписали чуть ли не уравнивание жертв и палачей, потому что зрители могут сочувствовать семье нацистов, чей ребенок был по ошиб-

ке умерщвлен в газовой камере. Между тем в этом сюжете гораздо ярвственнее акцентируется неизбежность возмездия за преступления, и наглядно показано, что зло, тем более в таком масштабе, не может остаться безнаказанным, и в данном случае это наказание не отложенное, а непосредственное, наступающее злодея прямо в момент совершения своего адского, запредельного преступления. За массовые убийства виновник платит пока только одной жизнью, но это жизнь его ребенка. И страшный финал может вызвать сочувствие к злодею только как к продавшему свою душу расчеловеченному существу, внешне от человека не отличимому, но на самом деле ставшему зомби, выполняющим сатанинскую программу. В момент истины «банальность зла» перестает быть таковой, обнажаются нервы и чувства нациста, они у него, оказывается, есть. И когда злодей в финале выкрикивает имя своего сына, он как будто кричит: «Не-е-е-т!!!», а в ответ слышит: «Да-а-а!!!».

Критики также подчеркивали, что детей в таком лагере сразу убивали, и, кроме того, узники концлагеря не могли общаться с кем-то по ту сторону проволоки. Но такие приверженцы фактологии не учитывают, что это художественное произведение, со своими правилами и творческими задачами, где допускается игнорирование и даже искажение конкретных деталей для передачи авторской концепции и усиления целенаправленного воздействия на зрителя.

Для режиссеров этих кинолент Холокост является неким фоном, на котором происходит действие. Но в двух фильмах («Жизнь прекрасна» и «Мальчик в полосатой пижаме») показано то место, где совершается это злодеяние, и в одном («Страна игрушек») оно подразумевается. Это место — концлагерь, нечто столь страшное, что не входит до конца в сознание человека, тем более ребенка. Именно поэтому это неназываемое нечто становится «страной игрушек» и «фермой» для двух немецких мальчиков шести и восьми лет. «Страну игрушек» придумала мама, чтобы не называть малышу слово, обозначающее страшную реальность, а «ферму» вообразил себе сам ребенок при виде огороженного колючей проволокой пространства. Малыш, который прячется в концлагере, считая это игрой, еще не задумывается, где он находится, никак не обозначает это место, просто очень хочет выиграть и получить приз.

В сюжетах фильмов «Страна игрушек» и «Мальчик в полосатой пижаме» прослеживаются заслуживающие внимания параллели. В обеих кинолентах действуют два маленьких мальчика, один из них немец (главный герой), а другой — еврей, с которым немецкий мальчик дружит. Но финалы этих сюжетов разные, даже противоположные. Оба шестилетних мальчика в «Стране игрушек» были спасены, им удалось удержаться на краю Холокоста и прожить долгую жизнь. А мальчики в «полосатых пижамах» (именно из-за «пижамы», которую надел немецкий мальчик, он стал похож на еврейского ребенка, подлежащего ликвидации) — увы, они не удержались на краю Холокоста.

Интересно проследить, как повторяются во всех трех фильмах архетипы «отец» и «сын». Это отец и сын в киноленте «Жизнь прекрасна» (и в первоисточнике сюжета — истории о спасении отцом сына в Бухенвальде), это отец и сын в фильме «Мальчик в полосатой пижаме». И даже за кадром — отец и сын в «Стране игрушек», ведь идея сюжета, по словам режиссера, возникла у него во время общения со своим маленьким сыном. Отец, в норме, должен быть своему сыну опорой и защитой, оберегать его от гибели, от телесных и душевных травм. В фильме «Жизнь прекрасна» позитивная, оберегающая и спасающая роль отца показана особенно наглядно. Но в фильме «Мальчик в полосатой пижаме» отец не смог защитить своего сына, потому что гибель сына была карой, возмездием отцу за его преступления.

В итоге спасенных маленьких детей в этих фильмах всё же больше, чем погибших, жизнь со счетом 3:2 побеждает. И еще можно констатировать, что все маленькие герои в этих кинолентах — мальчики. Возможно, это травмирующее следствие «Дневника Анны Франк», ведь его автор — девочка, которой не удалось спастись. Оставим этот вопрос открытым.

Холокост, случившийся в середине XX века, наглядно показал, в какую бездонную адскую бездну может свалиться культурный и цивилизованный европейский народ, как быстро расчеловечиваются представители вида *Homo sapiens* — исполнители преступных приказов. Без глубокого осмысления этой экзистенциальной проблематики и извлечения горьких уроков у человечества нет достойного будущего.



Игорь САВКИН

/ Санкт-Петербург /

ТРОЙНАЯ ФОРМУЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Владимир Краснокутский. «Арзамасское общество
бездвестных людей». Алетейя (СПб.), 2020 г.



«Блажен незлобивый поэт...»

Н.А. Некрасов

«Тройная формула человеческого бытия: невоз-
вратимость, несбыточность, неизбежность...»

В.В. Набоков, «Дар» (1937)

Публикуемые в данной книге тексты собраны заботливыми руками близких покойного ученого, Владимира Самуиловича Краснокутского (1943–1980 гг.), жизнь которого прервалась трагически рано (научный руководитель диссертации Л.И. Матюшенко, защищена в МГУ 1974 г.; семинар профессора В.Н. Турбина (1967–1974 гг.), преподаватель русской литературы в МГУ, редактор издательства «Промсвещение» (1978–1980 гг.).

Хронологический, в основном, порядок следования публикуемых работ определен издателем по согласованию с наследниками. К сожалению, далеко не везде можно восстановить время завершения работы автором над рукописями.

Есть лишь один пример в истории русской литературы, когда ключевым персонажем романа становится не женская героиня, например, Зина, а непосредственно сама русская литература в многообразии своих жанров и действующих лиц. На 37-м году трагического Русского Века один из его очевидцев, Владимир Набоков, пишет роман «Дар», отсылающий читателя к реалиям русской литературы XIX века. Он был написан в ликующем Берлине, охваченном эйфорией и экзотическими переживаниями «триумфа воли». В этом последнем романе, написан-

ном на русском языке Владимир Набоков вывел в роковом 1937-м году тройную формулу человеческого бытия — невозвратимость, несбыточность, неизбежность.

Применительно к Владимиру Краснокутскому эту формулу можно толковать трояко:

— невозвратимость горячо любимой и тонко понимаемой пушкинской эпохи и Золотого века русской литературы, которые отдалялись дальше и дальше, включаясь в новые, всё более широкие исследовательские горизонты;

— несбыточность надежд нашего автора, собиравшегося свести в обозримом будущем свои статьи и исследования в крупную форму капитального труда о русской литературе, о переживании времени в русской литературе, включая современный ему этап. Владимир Краснокутский писал в одной из своих важнейших для понимания его исследовательской позиции работ: «С универсальностью художественного времени, его всесвязующей властью фактически сталкивался каждый исследователь поэтики литературы. Но анализ производился не с точки зрения самого времени, не в категориях времени, результаты выражались не через время; терялось миросозерцательное, конструктивно-композиционное, эстетическое его значение; главное же, пропадал эффект присутствия, художественного времени как будто не существовало».

Время как жанрово образующий фактор, оставалось в центре внимания Владимира Краснокутского практически на всех этапах формирования его исследовательского интереса. От авторов «круга Арзамаса» эпистолярных и мемуарных источников первой трети XIX века тема преемственности и преобразования времени последовательно прослеживается в произведениях И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого к нашим современникам последнего поколения советской литературы, которое застал и сделал объектом своих исследований Владимир Краснокутский — Фазиль Искандер, Константин Паустовский, Юрий Казаков, Василий Аксёнов, Александр Солженицын. Повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Краснокутский посвятил одну из последних своих работ, которой суждено было завершить ряд текстов, подготовленных к публикации.

— неизбежность, третий член формулы В. Набокова, воспринимается как неизбежность утраты. Семья понесла тяжёлую утрату, русский век Владимира Краснокутского оказался коротким, всего 37 лет. И всё же он очень много успел увидеть, прочувствовать и продумать, немалый труд мысли и наблюдений. Увы, не успел оформить, многое осталось в набросках. Филологии как священному символу Знания, он принёс в дар то, что имел — свой «чистый и крылатый дар». Как ответный дар — милосердное, необходимое и заслуженное воздаяние за труд мысли и стойкость следования за целью, — внимание обретенных читателей. Как известно, рукописи не горят, они просто тонут в реке времён. Владимиру Краснокутскому повезло: его семья бережно сохранила и спустя 40 лет с его смерти подготовила к изданию эту книгу как впечатляющий памятник стойкости человеческого духа.



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

НА ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА» ЗА 2019 ГОД В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»

Благодарю редколлегию журнала «Звезда» за вручение мне этой почетной награды. Она дорога помимо прочего тем, что связана с Петербургом — городом, где я родился, учился, работал, прожил более пятидесяти лет. Да и сейчас не чувствую себя в отъезде.

Дорога эта премия еще и тем, что вручена журналом, с которым очень многое связано. В эту редакцию я впервые пришел в 80-х годах. В «Звезде» состоялась моя первая стихотворная «толсто-журнальная» публикация — это был седьмой номер за 1992 год, т.е. без малого тридцать лет назад.

Получив сообщение о том, что стал лауреатом «Звезды», я еще раз пересмотрел стихотворные подборки журнала за прошлый год. Это в общей сложности более сорока подборок. И всё это очень достойные имена и замечательные стихи. Тем выше честь!

Хотел бы сказать о том, что есть для меня поэзия. У Олдоса Хаксли есть такая фраза: «А что, если наша Земля — ад какой-то другой планеты?» Так вот, существование на Земле поэзии является для меня доказательством того, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Место, где жива поэзия, не может быть адом.

Увы, сейчас под поэзией разные люди, имеющие отношение к литературному процессу, часто понимают диаметрально противоположные вещи. И вот уже текст, равный случайной записи в записной книжке, объявляется чуть ли не гениальным стихотворением. В связи с этим хотелось бы процитировать отрывок из письма Пушкина Булгарину (1 февраля 1824 г., Одесса. Речь идет о стихотворениях «Элегия» и «Нереида»):

«Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в «Поллярной звезде», отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда небольшая, но стихи не люди».

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин

Дизайн обложки *Н. Макаров*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Алетейя»,
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 86 А, оф. 536, 532

Подписано в печать 17.05.2020
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 22
Печать офсетная. Заказ 247

ISSN 16192966

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#88

www.kreschatik.kiev.ua
www.magazines.russ.ru/kreschatik

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Петербурге,
Иерусалиме, Нью-Йорке или Мюнхене, мы —
перенесенный
в ментальное пространство
проспект, как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то завязывались
великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

All rights reserved © Kreschatik

